Одесский альманах

№69

II / 2017

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

PLASKE
ПЛАСКЕ

Литературно-художественное издание серии «Одесская библиотека»
«Дерибасовская – Ришельевская». Альманах
№ 2 (69), 2017
Издается с 2000 г.

Учредитель и издатель: Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»
(свидетельство ДК № 3673 от 21.01.2010 г.)
Председатель редакционного совета: Иван Липтуга
Редактор: Феликс Кохрихт
Редакционная коллегия: Евгений Голубовский (заместитель редактора), Олег Губарь, Иван Липтуга
Технический редактор: Геннадий Танцюра
Верстка, корректура: Татьяна Коциевская

Свидетельство о государственной регистрации печатных средств массовой информации:
КВ № 19644-9444Р от 08.01.2013 г.

Адрес редакции: 65001 Украина, Одесса, ул. Ак. Заболотного, 12, а/я 299
Тел.: +380 (48) 7-385-385
books@plaske.ua
www.plaskepress.com

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «Плутон»
65023 Украина Одесса, ул. Нежинская, 56
Тел.: +38 (048) 700-42-42
Тираж 500 экз.
Заказ № _____

Літературно-художнє видання серії «Одеська бібліотека»
«Дерибасовская – Ришельевская». Альманах
№ 2 (69), 2017
Видається з 2000 р.

Засновник і видавець: Видавнича організація АТ «ПЛАСКЕ» (свідоцтво ДК № 3673 від 21.01.2010 р.)
Голова редакційної ради: Іван Ліптуга
Редактор: Фелікс Кохріхт
Редакційна колегія: Євген Голубовський (заступник редактора), Олег Губар, Іван Ліптуга
Технічний редактор: Геннадій Танцюра
Верстання, коректура: Тетяна Коцієвська

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації:
КВ № 19644-9444Р від 08.01.2013 р.

Адреса редакції: 65001 Україна, Одеса, вул. Ак. Заболотного, 12, а/с 299
Тел.: +380 (48) 7-385-385
books@plaske.ua
www.plaskepress.com

Надруковано з готового оригінал-макету у типографії «Плутон»
65023 Україна Одеса, вул. Ніженська, 56
Тел.: +38 (048) 700-42-42
Наклад 500 прим.
Замовлення № _____

© АО «ПЛАСКЕ», 2017
© «Дерибасовская – Ришельевская», 2017

От редакции

Традиционно уже многие годы мы выпускаем летний номер нашего альманаха к празднику литературы – 6 июня. Согласитесь, символично, что дни рождения Александра Пушкина и Константина Паустовского – на стыке весны и лета. С разрывом в век они воспели Одессу – молодую, полную надежд (глава в «Евгении Онегине») и прошедшую через суровые испытания («Время больших ожиданий»), увы, далеко не последние… Вот и в этом номере нашего альманаха статьи, посвященные им, соседствуют.

Шестого июня Александру Сергеевичу исполняется 218, а вот у Константина Георгиевича 31 мая пусть и не круглый, но юбилей, – 125 лет со дня рождения. Он будет широко отмечаться в нашем городе. Как всегда, к 31 мая будут вручены премии имени Паустовского за лучшие книги прошедшего года, в городе состоится фестиваль молодых литераторов, ряд событий готовится и на ежегодном международном празднике книги «Зеленая волна»

Период между выходами нашего альманаха – всего три месяца. Но какие насыщенные! В марте традиционный литературный вечер провел в Музкомедии Михаил Жванецкий, чьи новые эссе мы публикуем из номера в номер. И в этом альманахе читателей ждет очень одесский его текст. Недавней весной состоялись яркие события в культурной жизни города, среди которых – премьера спектакля для взрослых «Бумага» в кукольном театре, выставка произведений Давида Бурлюка в МСИО, фестиваль «Два дня и две ночи новой музыки».

Мы говорили о недалеком прошлом, но мы можем заглянуть и в недалекое будущее.

В июне пройдет уже ставший традиционным Международный фестиваль « Odessa classics», собирающий в наш город звезд мировой сцены.

Июль порадует нас масштабными событиями в различных областях искусства и культуры. Пройдет международный кинофестиваль, на котором нам обещают показать и фильм «Интонации Большой Одессы».

День рождения Исаака Бабеля даст старт двум событиям, как бы перетекающим одно в другое, ибо они связаны одной темой. Участвуя во флеш-мобе «Одесса читает. Одессу читают», одесситы, гости города, да и все мы вспомним произведения любимых авторов, создавших произведения о нашем городе, услышим эти отрывки, прочитанные на множестве языков мира. И в этот же день познакомимся с первыми лауреатами Международной одесской бабелевской премии… Начало этого действа – у здания Литературного музея, а завершение – у памятника автору «Одесских рассказов» на улице Жуковского.

Как тут не сказать, что в июле Одесский литературный музей начинает отмечать свое сорокалетие. Это будет не одномоментный, не однодневный праздник, а марафон событий. Музейная ночь, восьмой «Дом князя Гагарина».

И, наконец, улице Жуковского посвящен очередной «Одесский календарь (АО «ПЛАСКЕ» и Литмузей), который выйдет в сентябре, как и очередной номер нашего альманаха.

Высокий сезон культуры: фестивали, премьеры, конкурсы, наконец Международный литературный фестиваль – продлятся и в осенние месяцы, и соберут они не только ярких деятелей искусства, но и благодарных зрителей и слушателей. Вспомним слова Пушкина об Одессе: «Здесь долго ясны небеса». Это ведь не только о погоде.

Михаил Жванецкий

Не верим

И спрашивают нас – нам верить можно?
Мы говорим – нет.
Нам доверять можно?
Мы говорим – нет.
Хотите ли вы сами проверять себя?
Мы говорим – нет.
Хотите ли вы сами помогать себе?
Мы говорим – нет. Мы не доверяем себе.
Можно ли верить избранным вами?
Мы говорим – нет.
Можно ли доверять им вашу пищу и одежду?
Мы говорим – нет.
Пусть со стороны придут распределять вам?
Мы говорим – нет.
Пусть со стороны придут учить вас?
Мы говорим – нет.
Чего бы хотели вы?
Пусть скажут нам, чего мы хотим.
Пусть люди, которым мы не доверяем, объяснят и ведут нас.

Что мы делаем для того, чтобы у людей, которым мы не доверяем, было что-то? – Ничего.

Всем, кому должны, мы говорим – а вы не давайте нам.

Мы посредине сидим на пустыре.

Нас видно.

Михаил Жванецкий

Переполненная жизнь

Мой рецепт переполненной жизни: мускатное шампанское с хамсой и борщ в пять утра.

Днём – тульский пряник макаешь в бычки в томате.

Белый батон распускаешь вдоль.

Замороженное сливочное масло натираешь на тёрке.

Посыпаешь, мажешь вдоль батона.

Повидло – две столовых ложки на полбатона.

Разравниваешь ножом.

И с брынзой, и с колбасой – в любом порядке.

Либо наливаешь в чай наливку с ромом…

И с колбасой, с ветчиной, и с дыней, и с девушкой, и с детьми, и с котлетами на балконе или на пляже.

Ледяная кислая капусточка с горячим пюре – перемешать ***ш***щятельно…

И с водочкой…

А в водочке – капусточка…

Кислая, ледяная, прямо в рюмке…

И пиво…

Холодное, страстное в бокале без ручки…

Одним глотком…

И рак раскалённый, большой, военный в мундире с эполетами и шпагой – полковник…

Обжигаясь, его лапу сосёшь.

Лапу левую сосёшь, правую…

Ножки выпиваешь левые, правые…

Движением пилота открываешь фюзеляж, осматриваешься – чтоб в доме никого…

Телефон ногой в пол…

И приникаешь к его кабине…

Рак… Рак… Рак…

Пиво… Пиво… Стоп! Рак… Рак… Стоп.

Стоп, я сказал!

Пиво!.. Стоп! Хвост.

За крылышки, как юбочку раздел – и в тело.

То есть проник зубами… Стоп! Пиво!

А в тельце белое, нежное… Стоп. Пиво… Пиво… Впился!

Извините, выпил рака!

От всего торжественного парадного мундира остались только трусики, маечка!.. И усы…

Дальше – больше…

Стопочка… Двенадцать миллиметров водочки…

Постарайтесь поточнее…

Затем горячее пюре с капусткой, ложечку…

И в бой!

Второй, строевой, боевой и красный рак.

Левый сустав… Правый сустав…

Под одеждой покопался…

Нырнул и вынырнул счастливый…

Стоп! Звонок, звонок…

Не отвечать! Не открывать!

Не откликаться! Только задуматься…

Задумчивость счастливый миг слегка разгладит и удлинит.

Стоп!.. Двадцать крупных офицеров фронтовых раздел и съел.

И нет тебе прощения там, в воде у них.

Последний трудно шёл.

Проклятая пресыщенность – враг творчества и аппетита.

Она ужасна, если о ней узнает кто-то из советских.

Но, тс-с…

Ты понял, да…

Из раков осталось три…

Кого бы мне простить из них?..

Практически достойных нет…

Рак… Рак…

И пиво…

Рак, рак и пиво…

Двенадцать миллиметров водки…

Капусточка с пюре…

С олимпиадным рёвом завершаю дистанцию.

Сустав, сустав.

Фонарь пилота, фюзеляж.

Последний… Всё… Снаружи всё и всё внутри…

А дальше что?

А вот что…

Рак с пивом изнутри поёт: «Я в шоколад хочу».

Ишь, блондиночка…

Что ж, залить контрастом можно, что ж.

Глядя на биатлон, разламываешь плитку…

Плитку шоколада с холодным пивом…

И, глядя на их упорство, на борьбу до самого конца, ты жрёшь пюре с соленым огурцом.

И горький шоколад сомнений.

Ты на финише.

Остальные не пришли…

Вернее, ты не открыл…

Сидишь остекленевший.

И все, кто не был впущен, дождутся тебя завтра…

Впереди дикая ночь… Без сна…

Ночь сражений с внутренним огнем.

И пулеметным сном со вспышками.

Одна мечта – избавиться от той мечты как можно безболезненнее…

Что у нас в аптечке?

Да… Нет ничего печальнее судьбы деликатесов.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

История, краеведение

12 **Олег Губарь**
Путеводитель по пушкинской Одессе

40 **Андрей Добролюбский**
Гавани дрока и лилий

46 **Александр Дмитренко**
Городской голова Одессы

63 **Владимир Серебро**
Семейный архив

71 **Инна Арутюнова**
Двор на Большой Арнаутской, 61

Олег Губарь

Путеводитель по пушкинской Одессе*

Городской дом (бывший Кирьякова)

Выше мы говорили о том, что места № 23 и 24 изначально (1794) отвели Кирьякову, но мы не знаем наверняка, он ли их застраивал. Зато мы точно знаем, что он застроил два других места, № 25-26, на углу Ришельевской и Ланжероновской (ныне – территория сквера в самом начале четной стороны Ришельевской возле Оперного театра, то есть № 2, и дома № 13 по Ланжероновской улице), отведенные тогда же флота капитану 2-го ранга Бардаки (Бардака)[347]. Речь тут явно о капитан-лейтенанте Иоанне Григорьевиче Бардаки, который стал георгиевским кавалером уже в феврале 1792-го, а в 1798-м получил орден Св. Владимира 4-й степени за целый ряд успешных сражений с турецкими эскадрами, отличился при штурме Измаила. Впрочем, это вопрос частный, а Бардаки ни в каких известных мне и связанных с застройкой делах больше не упоминается, есть лишь информация о том, что сын его в 1809-м поступил в Одесскую коммерческую гимназию.[348] Возникает вопрос: поменялись ли они местами, застроил ли Кирьяков все четыре места? Пока неизвестно, но, похоже, Бардаки не застроился, ибо постоянно находился в морских походах, а затем был назначен капитаном порта в Севастополе. Что до Кирьякова, то он довольно рано застроил два места в смежности с Поджио, поскольку обстоятельства благоприятствовали.

Полицейской частью в новорожденной Одессе заведовал поручик итальянского происхождения Августин де Пачио-

* Продолжение. Начало в кн. 64, 66-68.

ли, которого чаще именуют плац-майором. 15 июля 1795 года он уже в чине капитана сдал свою должность назначенному накануне «для управления полицейской частью» градоначальнику секунд-майору *Григорию Степановичу Кирьякову*, командиру 4-го батальона Черноморского гренадерского корпуса. В официальных документах его также называют исполняющим обязанности военного коменданта: в этом отношении вообще наблюдаются некоторые противоречия. Ситуация в те годы не способствовала четко сформулированным функциональным обязанностям местных властных структур, они часто пересекались, выясняли отношения, тянули одеяло на себя. 26 декабря 1795 года Кирьякова уволили от должности по болезни. Обязанности градоначальника временно исполнял казначей Экспедиции строения города участник штурма Измаила секунд-майор Петр Федорович Небольсин, с предписанием по должности полиции относится к инженер-майору Федору Кайзеру, находившемуся в Одессе за военного коменданта.

В начале 1796-го открыл свою деятельность первый магистрат. После кончины императрицы развернулись серьезные пертурбации. По указу от 20 мая 1797 года на место полицмейстера в чине подполковника вернулся Кирьяков, а военным комендантом на будущее назначался шеф постоянно расквартированного в городе полка, в данном случае – Ладожского мушкетерского. 23 сентября были приведены к присяге члены нового, так называемого иностранного магистрата, причем в течение нескольких месяцев он функционировал параллельно с прежним, российским, и оба муниципалитета энергично выясняли отношения. В 1798-м Кирьякова в должности полицмейстера сменил надворный советник Николай Лер, а в 1799-м подполковник Степан Егорович Лесли.

У семи нянек дитя без глазу: в младенческие годы Одесса буквально купалась в беззаконии. Приведу для иллюстрации неаппетитные названия нескольких архивных дел второй половины 1790-х: «Прошение одесского жителя Берки Мошковича о грабеже и убийстве жены его офицерами береговой команды», «О привлечении к суду Ивана Константинова за изнасилование 9-летней девочки», «Об одесской мещанке Акулине Акимовой

и помещика Шарова подданной Дарье Дубьячиной, выдавших синюю бумажку за пятирублевую ассигнацию», «По сообщении одесского градоначальника Кирьякова о елисаветградском мещанине Федоре Колесникове, убившем жену свою Парасковию», «О смертоубийце Гавриле Маркитанте», «О защите еврею Рохлю Берковичеву и Вольфову от притеснений здешнего еврейского общества», «По прошению вдовствующей женщины Анастасьи Григорьевой о насильственном якобы на нее нападении одесской греческой церкви священником и иеромонахом и Иеремием Грамматикопуло и беззаконном блудодеянии; здесь же по представлению к Митрополиту об определении на место его, Грамматикопуло, священника» (если якобы, то почему священник смещен?) и т. д.[349]

О злоупотреблениях Кирьякова тоже немало писано. Приведу еще пару названий синхронных дел по этому поводу со ссылками. Сами дела не сохранились, однако названия более чем красноречивы. «О чинимых полицмейстером Кирьяковым с подчиненными ему полицейскими чинами и городского округа смотрителем Стреховым подведомственным сему магистрату людям разнообразных стеснениях. 22 октября – 2 ноября 1797 г.».[350] «Копия с указа губернского правления о споре между членами магистрата и полицмейстером Кирьяковым. 30 октября 1797 г.».[351] Говоря короче, управлял он жестко, властно, бесцеремонно, был хозяином положения, и, понятно, имел все возможности, обеспечивавшие успешное домостроительство, по крайней мере с лета 1795-го.

В 1802 году находившийся в чине коллежского советника Кирьяков за 14.500 рублей продал этот свой дом со службами на местах № 25-26 Департаменту внешней торговли для размещения в нем таможни. Однако уже «1803-го занят был оный одесским военным губернатором Дюком де-Ришелье» (это вовсе не означает, что тотчас туда перебрался; судя по документам, в первое время он жил в доме Поджио). По этой причине «Одесский строительный комитет нанял для присутствия таможни дом у действительного статского советника *князя Мещерского* за 1.200 рублей в год, и деньги платил из городских доходов; для таможенной же инвалидной команды и для пакгаузов под складку товаров нани-

мались от Департамента особо в том же князя Мещерского доме флигель и магазин с платежом в год по 2.100 рублей, что и составляло всего найма в год по 3.300 рублей».[352]

О доме Мещерского – разговор особый, и он еще состоится, а тут мы, хотя бы мимоходом, не можем не задаться вопросом: где же помещалась Одесская таможня ранее 1803 года? На этот счет имеются весьма надежные архивные данные. Правда, сюжет уводит нас от избранного маршрута, но недалеко, в соседний III квартал, ограниченный улицами Ришельевской, Ланжероновской, Итальянской (Пушкинской) и Дерибасовской, куда мы все равно скоро переместимся.

Относительно местоположения *первой стационарной таможни* никаких вопросов не возникает. Временная деревянная таможня в приморской зоне функционировала, по крайней мере, до июля 1799 года включительно.[353] Первая каменная находилась на углу нынешних улиц Ланжероновской и Пушкинской (№ 2), на месте будущего дома Григория Ивановича Маразли, отца Г.Г. Маразли, известного предпринимателя, питейного откупщика, что соответствует № 17-18 этого квартала. Таможня обозначена на утвержденном генплане города 1802-1803 гг. Недвижимость принадлежала семейству *барона фон Рейфенштейна* (*Рефенштейна*) и была «известна под названием *Старой таможни*». Почему возникла надобность в другом таможенном офисе, и был куплен дом Кирьякова? Потому, очевидно, что недоставало помещений – порт и город росли, росла и перевалка грузов. Дом барона продолжали арендовать для портовой таможни и после заключения контракта с князем Мещерским, по крайней мере до 24 августа 1807 года. Барон Георг Миллер фон Рефенштейн заключил с правительством контракт по налаживанию «близ Одессы овцеводства гишпанской породы».[354] 11 марта 1806-го барон взял у ОСК на год ссуду в 2.000 рублей – для увеличения построек на своих местах.[355]

Но вернемся к *дому Кирьякова*. Корпус на месте № 25 был одноэтажным – что видно как из документов, так и из графики военного инженера Ж.В. Гаюи 1819 года. Поскольку места для канцелярии недоставало, для Ришелье, как было сказано, арендовали дом Поджио. Затем Комитет перестроил для

размещения канцелярии военного губернатора находившийся во дворе, на смежном по будущей Ланжероновской улице месте № 26, магазин в двухэтажный флигель, и Дюк сумел перебраться в фасадный одноэтажный дом Кирьякова. Местоположение канцелярии Ришелье четко фиксируется в журналах заседаний Одесского строительного комитета. Скажем, в заседании от 22 сентября 1810 года речь идет о том, что Казенный дом военного губернатора нуждается в починке, причем как в самом корпусе, «так в флигелях, занимаемых канцеляриею в дворе». Архитектору Фраполли поручают освидетельствовать и составить смету.[356]

После отъезда Ришелье эти постройки использовались для размещения *Строительного комитета, Городской типографии, квартирования театральной дирекции, оркестра и значительной части оперной труппы*.[357] Все эти строения регулярно требовали ремонта, поглощали средства.[358] В конечном счете для военно-

Слева направо: дом Рено, арендованный для военного губернатора, коммерческое казино, овальная (биржевая) зала, 1-этажный флигель бывшего дома Кирьякова. Графика Ж.В. Гаюи, 1819 г.

го губернатора был нанят один из домов коммерции советника Рено, практически по другую сторону Ришельевской – второй от ее угла по Ланжероновской. В 1817-м бывший дом Кирьякова отдали под квартирование сказанному Рено, который собирался его купить. Было оговорено: если он купит по объявленной цене, денег за квартирование с него не возьмут.

И тут начались серьезные расчеты, во что суммарно обошлись казне особо и Строительному комитету особо покупка, ремонты, включая реконструкцию после землетрясения 1802 года, достройка этого комплекса сооружений. Итого Комитет задолжал казне 33.500 рублей, каковую оплату отсрочили. А вот Рено должен был выплатить в общей сложности, с учетом комитетских расходов и процентов, 55.176 руб. 66 и две трети копейки. Однако сделка так и не состоялась. Согласно архивным документам, по крайней мере в начале лета 1822-го Рено все еще занимал этот «ветхий казенный дом, где жить невозможно», а вскоре купил «Чудной дом» (см. выше). Комитет надеялся продать сию недвижимость, архитектору Фраполли велели составить смету на проведение «самого необходимого ремонта», а полиции – организовать оценку строениям, то есть пригласить присяжных оценщиков.[359] Насколько затянулись все эти процедуры, мы наверняка не знаем, а ремонты были: в частности, укреплялись подпорками покосившиеся дворовые постройки. По сообщению Смольянинова, этот дом разобрали 1 марта 1827 года.[360] На самом деле то была, конечно, не однодневная акция.

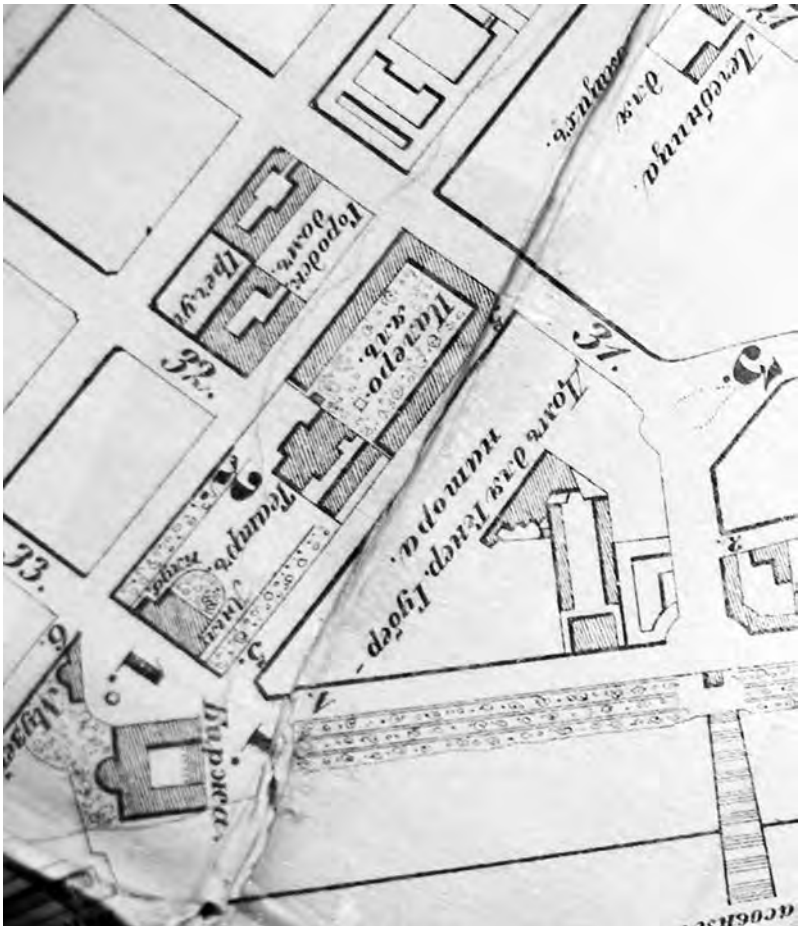
В 1826-м Воронцов согласовал с императором возможность постройки в Одессе своими силами четырех значимых объектов: 1) карантинного пакгауза, 2) здания присутственных мест, 3) дома для градоначальника и 4) соборной колокольни.[361] В октябре того же года состоялись торги, по итогам которых были заключены контракты по объектам 3 и 4. Присутственные места взялся строить подрядчик купец Бенвенуто Лати за 100.295 рублей, а дом для пребывания градоначальника – другой подрядчик-итальянец, купец Симон Томазини (ему подряд передал победивший на торгах надворный советник Карл Дитерихс), за 108.600 рублей.[362] При этом доверенное лицо подрядчика Томазини, причисляющийся в одесское купечество иностранец

Пьетро Фраполли, дал Строительному комитету подписку «не приступать к сломке со всеми службами состоящего на том месте (дома. – **О. Г.**), где предположено строить дом для господина одесского градоначальника и занимаемого теперь актерами, до первого числа марта месяца будущего 1827 года».[363]

И действительно, к сломке приступили не ранее начала марта, она продолжалась около трех недель, поэтапно. Мало того, за это время демонтировали только угловой одноэтажный дом. 23 числа прораб ОСК Кривичков рапортовал о том, сколько и каких материалов получено от разборки, затем решался вопрос об их транспортировке.[364] Ранее, 1 февраля 1827-го, правитель канцелярии градоначальника Павел Афанасьевич Шаржинский направил в Комитет запрос: предполагается ли к сломке большой флигель во дворе или при сооружении дома для градоначальника будет сохранен. Ему ответили, что «флигель может остаться не более как на год, а прочее всё сломают».[365]

Проблема заключалась в том, что двухэтажный дворовой флигель, где прежде помещалась канцелярия Ришелье, все еще занимала театральная дирекция, итальянская оперная труппа (уже в более полном составе, ибо от аренды частного дома Черновой отказались) и музыканты оркестра. Они же пользовались и дворовыми хозяйственными постройками. Это обстоятельство стесняло подрядчику фронт строительных работ, и он настаивал на демонтаже всех старых сооружений.[366] 17 ноября 1827-го директор театра титулярный советник Осип Рено, сын коммерции советника И.П. Рено, пишет в Комитет о том, что подрядчик требует очистить флигель, но дирекции и труппе некуда передислоцироваться, а потому он обратился за разъяснением к управляющему новороссийскими губерниями.[367] Из этой инстанции Строительному комитету предложили не ломать до весны старый флигель, а тем временем приискать для театральной дирекции и актеров подходящее помещение.[368]

Почему так важны все эти второстепенные, казалось бы, детали, вы сейчас поймете. Для того чтобы подобрать подходящее помещение, Комитет должен был знать, как дирекция, актеры, оркестр размещены в старом флигеле, о чем и спросили Осипа Рено.[369] Тот представил отчет настолько детальный, что дает пре-



Городской дом, занимающий половину квартала по Ланжероновской ул., на плане 1866 г.

красное впечатление о *внутреннем устройстве бывшей канцелярии Ришелье*. В нижнем этаже большого флигеля, торец коего лежал по красной линии нынешней улицы Ланжероновской, находились: комната театральной конторы, довольно просторный репетиционный зал с прихожей, две комнаты для чиновника при

дирекции, четыре комнаты, занимаемые музыкантами, да еще две кухни. Во втором этаже «комнат малых» – 12, пять кухонь. Коридоры в том и другом этаже. В малом флигеле, на внутреннем дворе: пять жилых комнат, две кухни, один очаг. Плюс конюшня на четыре лошади, «где ныне помещается такое количество театральных». Сарай для двух театральных экипажей. Восемь «складочных для топлива отделений с особыми входами».[370] Разумеется, было во дворе и «нужное место». Существовала и выложенная камнем подземная мина, каковая обрушилась в ходе строительства нового дома.

Придется опустить целый ряд любопытных подробностей, ибо изложение заняло бы слишком много места. Перехожу к финалу этого сюжета. 3 июля 1828 года Кривчиков рапортовал Комитету о том, что приступил «к разломке флигеля, занимаемого актерами, сего месяца 2-го числа (…) актеры же из оного флигеля переведены в Городской дом, занимаемый прежде г-м действительным статским советником Казначеевым».[371] Речь, понятно, идет о бывшем доме Феликса де Рибаса, примыкающем к Городскому саду.

Теперь мы отчетливо представляем, как выглядела и как была устроена эта казенная недвижимость в 1800-1820-х, какой видел ее Пушкин и его современники. А ведь Поэт жил напротив и буквально ежедневно проходил мимо. Вполне возможно, даже бывал в этом дворе.

Дом князя Волконского (Рено)

Собственно, не дом, а целый комплекс строений, занимавший половину всего III-го квартала Военного форштата, четыре места из восьми: № 15, 16, 19, 20. Это соответствует пятну застройки нынешними зданиями по Дерибасовской, № 10, Ришельевской, № 3, плюс по Лажероновской, № 9, и скверу по Ришельевской, № 1, возле Оперного театра. Весь комплекс – надежно атрибутированное и одно из наиболее значимых пушкинских мест в Одессе, отмеченное *арт-объектом* «*Тень Пушкина*», устроенным и открытым учредителями международного фестиваля «Пушкинская осень в Одессе» 26 сентября 2013 года.

В ходе первичной раздачи участков под застройку (1794) генерал-поручик князь *Григорий Семенович Волконский* получил места № 16 и 20, а № 15 и 19 отвели премьер-майору Осипову.[372] Однако Волконский, в отличие от большинства других синхронных застройщиков, обладал куда большими возможностями, ресурсами, а потому застроился одним из первых, причем освоил все четыре места.[373] В связи с новым назначением Волконский оставил Одессу в 1797-м, и эта его недвижимость использовалась как доходная. В июле 1799-го в доме останавливался и описал его племянник знаменитого российского литератора А.П. Сумарокова, Павел Сумароков. Он называет этот комплекс зданий и сооружений обширным обнесенным «со всех четырех сторон, как замок, каменными строениями», каковые «отдаются в наймы разным людям».[374] Описание вполне соответствует генплану 1802-1803 гг.

При каких обстоятельствах эта недвижимость перешла к Жану Рено? Нет ни малейших сомнений в том, что он купил ее у Волконского, о чем прямо говорит К.Н. Смольянинов.[375] Я нашел четкое подтверждение этому факту и в архивных документах (1806 г.), о чем скажу ниже. Но, похоже, купчая крепость со временем была утрачена. Такое случалось нередко, особенно во время катастрофической чумной эпидемии 1812-1813 гг. Поэтому много лет спустя Рено пришлось наново всё узаконивать. Сохранилось архивное дело за ноябрь-декабрь 1824 года о выдаче ему владельческих документов. При этом коммерции советник барон Рено, ссылаясь на свидетельства авторитетных старожилов, заявляет буквально следующее: «С начала заселения города Одессы занял я пустопорожние места, состоящие в 1-й части в III-м квартале под № 15, 16, 19 и 20-м, на которых на собственный капитал произвел постройку, знатную сумму составляющую».[376]

Это, конечно, не так, поскольку до середины 1870-х левая часть фасадных строений по Ришельевской представляла собой один из первичных полутораэтажных флигелей, построенных Волконским. В пушкинское время именно в этом строении помещалось коммерческое казино. Однако у нового владельца, действительно вложившего в капитальную реконструкцию всех четырех мест немалые средства, и в самом деле не было иного выхода

С права – дом компании Беллино-Фендерих, построенный на месте коммерческого казино, и дом Стифелей, перестроенный из дома Рено. Вторая половина 1870-х.

по легализации собственности. Подобным же образом, случалось, поступали и другие домовладельцы.

Строительный комитет ставить палки в колеса своему многолетнему казначею и крупному добросовестному кредитору не собирался. Рено многократно ссужал ОСК на покрытие бюджетного дефицита: скажем, осенью 1819-го – на колоссальную сумму, 140 тысяч рублей.[377] Он курировал сооружение Всехсвятской церкви на Старом кладбище[378], был директором Городского театра (см. ниже), много занимался устройством разных городских дел. Архитектор Боффо докладывал, что места «застроены по плану, Комитетом утвержденному»[379], Городовой магистрат сообщил, что данные строения многократно принимались в залог по разным предприятиям и подрядам.[380] О принятии этой недвижимости в залог гораздо ранее 1824-го имеются и другие документы.[381] Зафиксирована также и чуть более поздняя оценочная стоимость недвижимости и мест № 15-16: 128.090 рублей в сгораемых и 96.067 рублей в несгораемых материалах. Владельческие документы Рено, конечно, получил – 15 декабря 1824-го.[382]

Биржевый (Клубный) зал

Теперь перейдем непосредственно к составным частям всего комплекса принадлежавшей здесь Рено недвижимости. Как было сказано, в интересующее нас время левый полутораэтажный флигель, соответствующий территории нынешнего сквера по Ришельевской, № 1, использовался как коммерческое казино.

Иду гулять. Уж благосклонный
Открыт Casino; чашек звон
Там раздается; на балкон
Маркёр выходит полусонный
С метлой в руках, и у крыльца
Уже сошлися два купца.

К различным заведениям, связанным с этой недвижимостью, мы еще вернемся. Начнем же с так называемой Биржевой залы, встроенной Рено посередине квартала со стороны Ришельевской меж двумя первичными угловыми флигелями Волконского. Имеется довольно представительная иконография, но мы сосредоточимся на архивных документах. В фонде Одесского строительного комитета сохранилось дело «О построении биржевой залы г-ном коммерции советником Рено и о найме оной у него, Рено» от 17 декабря 1806-го. Кондиции, то есть условия, поставленные строителям и содержателям, крайне любопытны, ибо дают отчетливое представление о функциях этой институции, в том числе – в пушкинское время:

«1-е. *Биржевая зала* сделана будет по смете и расположению архитектора Фраполли и украшена приличным образом.

2-е. Содержать оную г-ну Рено десять лет, чрез которое время Комитет должен строить или нанимать другую.

3-е. Предоставить ему, г-ну Рено, право давать в ней обыкновенные *публичные балы*, с тем, чтобы кроме его никто более чрез все то время давать таковых не должен оных, выключая известных под именем балошов.

4-е. Объявления от правительств, *коммерческие ведомости* о прибытии и отбытии судов и описи их грузов должны быть

объявляемы только в биржевой зале, как и проводимы *публичные продажи* вещей или *аукционы*.

5-е. От Комитета должен получать содержатель за устроение и содержание залы в течение десяти год по тысяче рублей ежегодно, которые выдать по истечении каждой трети (года. – **О. Г.**).

6-е. Буде случится надобность содержателю, то Комитет обещает выдать взаимообразно семь тысяч рублей на три года за указанные проценты и под верный залог с платежом третьей части суммы ежегодно в возврат Комитету, равно ежели не отыщется в городе нужной для сего строения (…)

7-е. Комитет позволит ему одному содержать *буфет при Театре*.

8-е. Сказанной биржевой залы г. Рено отделит часть дому, *купленного от князя Волконского*».

Подписали: военный комендант Кобле, полковник Ферстер и другие члены Комитета.

Уже 31 декабря 1806-го Рено докладывает Комитету о том, что биржевая зала им совершенно окончена, и просит выдать ему в апреле 1807-го полагающиеся по контракту 500 рублей, отсчитывая начало эксплуатации с этого дня.[383] В журнале заседаний Строительного комитета от 20 декабря 1806-го записано, что Биржевая зала закончена, освидетельствована, и на основании заключенного контракта Рено просит выдать 500 рублей за первое полугодие.[384] То есть постройка, конечно, производилась ранее, по крайней мере весь строительный сезон 1806-го, а в это время шла его окончательная внутренняя отделка.

Самое для нас значимое: Биржевая зала использовалась по назначению *с 31 декабря 1806-го по 31 декабря 1824 года*, а стало быть, и во все время пребывания Пушкина в Одессе и на Юге. Нахожу необходимым подкрепить это заявление документально. Есть данные о выплате Рено в разные годы контрактной суммы.[385] Невозможность продления контракта связана с высочайше утвержденным положением от 3 марта 1824 года «О доходах и расходах города Одессы и о управлении оным».[386] Ссылаясь на это постановление, градоначальник граф А.Д. Гурьев 27 ноября 1824 года пишет в Строительный комитет: «…никакой суммы на биржевую залу не положено; к тому же и побудительных причин, по коим зала сия была нанимаема, в настоящее время более не существует, ибо

право на *публичные представления* исключительно предоставлено *содержателю театра*, по заключенному с ним самим Комитетом контракту, для объявления Коммерческих ведомостей о прибытии и отбытии судов и объявлений правительства устроились в городе разные места, где торговый класс людей ежедневно собирается, и сверх того те и другие *печатаются в издаваемой теперь в сем городе газете*; а публичные продажи вещей производятся в *лавке аукциониста*, то его сиятельство предлагает Комитету наем Биржевой залы прекратить». Поэтому следует рассчитаться с Рено, не медля, и сдать ему зал по описи, как следует. К слову, контрактная сумма в это время простиралась уже до 3.000 рублей в год.[387]

Любопытное уточнение, касающееся статус-кво в 1824 году. По сообщению гофмаклера Федора Андре, в тот год из-за упадка торговли биржевых собраний не было, однако в Биржевой зале беспрепятственно собирались купцы, проводились аукционы, проводились *собрания имеющих оседлость в Одессе дворян* и др.[388] Эдвард Мортон (1828 г.) пишет: «Шевалье (со временем барон) Рено (Rainaud) под обещанные ему льготы обязался построить огромное здание, называемое клубом, которое бы содержало, наряду с другими удобствами, большой салон, предназначенный для совершения биржевых сделок. Клуб в скором времени действительно был построен, однако упомянутый салон часто пустовал, поскольку торговцы предпочитали собираться в кафе, находящемся в другой части здания (то есть – в коммерческом казино. – **О. Г.**)».[389]

Заслуживает внимания пункт контракта о «коммерческих ведомостях» во взаимосвязи с замечанием Гурьева о публикации коммерческих новостей в местной газете («*Journal d'Odessa*»). До появления газет сказанные ведомости вовсе не были только вербальными: по сообщениям старожилов, их предтечей стали так называемые «*Биржевые листки*», то есть печатная продукция из типографии Россета.[390] Короче говоря, функции Биржевой залы были довольно многообразны, в том числе – в пушкинское время.

О проводившихся там светских мероприятиях – маскарадах, балах по подписке и проч. – у меня есть отдельная публикация.[391] Но едва ли кто знает о функционировавшем некоторое время в Биржевой зале так называемом *Малом театре*. Информацию о нем можно почерпнуть в рапорте директора Городского театра коммерции

советника Рено Строительному комитету, датированному первыми числами апреля 1821 года. Он докладывает, «что в 1809-м или 1810-м годах, с согласия бывшего военного губернатора дюка де Ришелье и здешней публики, был устроен в Биржевой зале *графом Растиньяком* (Шарль де Растиньяк – двоюродный брат Ришелье. – **О. Г.**) на собственный кошт малой театр, где, по желанию публики, давались любителями театра пиэсы. Для которого граф Растиньяк издержал на покупку нужных материалов, делание декораций, на гардероб и прочее около 2-х тыс. рублей. После того, по приказанию дюка де Ришелье, все те вещи из зала, как то весь дощатый мост, для театра сделанный, под оным козлами из кроков и прочим всем прибором, все декорации, передняя занавеса со всем прибором, – словом, все устроенные было Растиньяком вещи, отданы им для хранения в казенный одесский театр». В последнее время содержатели *Монтовани и Замбони* употребили эти вещи, принадлежащие Растиньяку, и тот требует удовлетворить его 800 рублями. Комитет ответил так: поскольку оное имущество по комитетским делам не значится, Рено должен требовать сатисфакции непосредственно от лиц, оное употребивших.[392]

Летом 1810-го Клубную залу и смежный кофейный дом неоднократно посещал князь И.М. Долгорукий. Он перечисляет ее достопримечательности: порядочную вместимость – до 600 человек, колоннаду, хоры, искусно расписанную галерею, упоминает гостиные покои, бильярды, «покои для карт и стола, тоже хорошо убранные». Хорошо отзывается о кофейном доме, куда приходил со дня приезда в Одессу, восторгается мороженым из абрикосов, говорит о том, что здесь тоже был бильярд.[393]

Дом военного губернатора

Теперь же нас будет интересовать другой объект из принадлежавших Рено на этом пятачке – *дом, нанятый у него для квартирования военного губернатора*, ныне – место в пределах застройки домом № 9 по улице Ланжероновской и частично – сквера по Ришельевской, № 1. Почему это важно? Потому что локализует местопребывание на определенном этапе высших администрато-

ров города и края. Новая резиденция была выбрана самим Ришелье, ибо бывший дом Кирьякова физически и морально устарел. Однако для передислокации в новый достойный офис необходимо было его оборудовать, достроить кухню и конюшню, о чем и шла речь на заседании Строительного комитета за десять дней до отъезда Дюка во Францию.[394] В марте 1815-го под надзором архитектора Фраполли конюшню построили.[395] В сентябре того же года он занимался «разными переделками» в том же здании.[396] Обитал ли тут в это время исполнявший обязанности градоначальника генерал-майор Ф.А. Кобле? Думаю, нет. Он владел очень хорошей и разной недвижимостью, получал немалые «квартирные»[397] и вряд ли проявил бы интерес к не обустроенному месту. Да и не был губернатором Кобле, а лишь градоначальником. О нем мы еще поговорим.

Так или иначе, этот дом обозначен как резиденция военного губернатора уже на городском плане 1814 года, и он реально был нанят. Трудно предполагать, что дом совсем не использовался при высокой арендной плате, но как именно, пока судить трудно. Могу сказать наверняка лишь то, что граф А.Ф. Ланжерон точно обосновался в полностью приспособленном для проживания и приемов здании. 22 августа 1818 года Рено отпустил «живописцу Пито на живописное украшение к приезду государя императора залы в доме, занимаемом его сиятельством, тысячу пятьсот рублей».[398] Визит в Одессу *императора Александра Павловича* в сопровождении ряда видных государственных деятелей – широко известное историческое событие. Местопребыванием их в эти дни и был дом военного губернатора.

Дом арендовался по 1822-й год включительно, о чем свидетельствует серия архивных документов.[399] Сообщение резиденции Ланжерона с так называемым Клубным двором, то есть двором, примыкающим к Биржевой зале, осуществлялось через специальные внутренние ворота[400] – чтобы его сиятельство не обходил дом по улице. В 1822-м году по словесному указанию Ланжерона «живописец Торичелли» (Джованни, отец известного архитектора) произвел ряд работ в этом доме: их перечень в архивном документе дает неплохое представление о количестве и назначении комплекса внутренних помещений. «Обтяжка»

колонн полотном в *большой зале*, там же – новый фриз, часть потолка, пьедестал печки, цоколь и «оттенка» по всей зале. Фриз в *большой гостиной*, роспись печи, части потолка, стены и цоколя. В *кабинете* окраска стены зеленою краскою, правка части потолка. В *столовой*: исправление части стены, фриза, цоколя. В *приемной* комнате: исправление печи, стены, фриза, цоколя. В *малой гостиной*: окраска стены зеленым цветом наново, исправление всего потолка, части фриза, около окошек и двери, переделка вновь цоколя. В *девичьей*: окраска стены желтым цветом. В *сенях, где парадная лестница*, исправление стены вновь, части потолка и карниза, окраска лестницы и печной стенки при оной. Торичелли работал с подмастерьем, возможно, с сыном.[401] Еще ранее, 24 января 1821 года, архитектор Фраполли докладывал о том, что в квартире военного губернатора «переделана из *старой библиотеки спальня* и из оной сделан ход в другую комнату». Эти помещения находились во втором этаже.[402]

Тот же 1822-й знаменует некоторые перемены в концепции аренды городом зданий и сооружений для особых нужд. В это время появляются доходные дома нового поколения, явно превосходящие патриархальные постройки, даже те, что из лучших. Мы уже знакомились с такими на маршруте по Херсонской улице – Кошелева, Гари, Инглези, Фундуклея. Последний арендовали для Воронцова, а первый – для градоначальника Гурьева, о чем уже было говорено. Теперь – относительно обстоятельств перемены местоположения резиденции градоначальника.

25 сентября 1822-го в заседании Строительного комитета обсуждался вопрос передислокации. Проанализировав ситуацию, заседатели пришли к выводу о том, что дом Кошелева во всех отношениях лучшее решение. Домовладелец предлагает значительные меблированные площади, отдельные помещения для канцелярии и проч., причем за меньшую цену. С другой стороны, казенный дом, приобретенный у де Рибаса, «тесен и неудобен». В итоге решили контракт с Рено после 1 января 1823 года не продлевать, заключить контракт с Кошелевым, казенную «мебель ту, которая есть в квартире графа Ланжерона», перенести в бывший дом де Рибаса, назначенный «для приезду генералитетов».[403]

Теперь – забавный эпизод. Общеизвестно, что *Зинаида Волконская* в 1819-м находилась в Одессе. Но мало кто знаком с ее акварелями, запечатлевшими город, и следующим ерническим текстом: «Пришла весна. Выставляют двойные рамы. Снег сходит с крыш. Граф (Ланжерон. – **О. Г.**) выходит из своего дома на улицу к экипажу, погружаясь башмаками в грязь. Он взбешен: его экипаж провалился в яму и не может из нее выбраться. И пока граф бурно выражает свое возмущение, его повар, также провалившийся в грязь, набивает ею полные сапоги. Графская карета не может выбраться до самого вечера, а я тайком наблюдаю эту сцену».[404] Оставляя пока без внимания хрестоматийную одесскую грязь, обратим внимание на другое обстоятельство. Волконская следит за событием из окна дома. Какого? Мы ведь не знаем, где она снимала апартаменты. Полагаю, из соседнего по Ланжероновской улице дома барона Рефенштейна, либо расположенного на противоположной стороны Итальянской дома помещика Бугаевского (см. ниже). Других наблюдательных пунктов поблизости не найти. В коммерческое казино светские дамы не хаживали. Обветшавший дом Кирьякова – худое жилье. Из дома Поджио

Справа: дома Мясникова (Посилина), Поджио (Кирико) и Городской.
Слева: коммерческое казино и овальная зала в доме Рено

и Биржевой залы эта улица не просматривается. Так что остаются только два варианта, из которых следует выбрать второй, поскольку это как раз отменный доходный дом, а постройки, принадлежавшие барону, имели специально назначение. Кстати, в переписке К.Н. Батюшкова есть упоминание о посещении резиденции Зинаиды Волконской: обитали они практически напротив друг друга, по обе стороны Театральной площади.

Что до скверного состояния проезжей части, оно стало притчей во языцех. Замостить улицы прочными изверженными породами не было возможности, производили отсыпки известнякового щебня, который быстро перемалывался колесами. Поэтому еще со времен Ришелье для перехода улиц местами устраивались мостики. Свою личную проблему выхода и проезда в непогоду Ланжерон решил, во-первых, поручив сделать проход в Клубный двор, – тогда появлялась возможность перейти на более ровную Ришельевскую улицу. Во-вторых, распорядился сделать переходы из некондиционного леса.[405]

Тут будет кстати помянуть кишиневского знакомца Пушкина *А.М. Худобашева*, о котором столь забавно пишет И.П. Липранди: «Третий субъект был армянин, коллежский советник Артемий Макарович Худобашев, бывший одесский почтмейстер, но за битву свою с козлом между театром и балконом, где находилось все семейство графа Ланжерона, оставил эту должность и перешел на службу в Кишинев. Это был человек лет за пятьдесят, чрезвычайно маленького роста, как-то переломленный набок, с необыкновенно огромным носом, гнусивший и бесщадно ломавший любимый им французский язык, страстный охотник шутить и с большой претензией на остроту и любезность. Не упускал кстати и некстати приговаривать: «Что за важность, и мой брат Александр Макарыч тоже автор», – и т. п. Пушкин с ним встречался во всех обществах и не иначе говорил с ним, как по-французски. Худобашев был его коньком; Александр Сергеевич при каждой встрече обнимался с ним и говорил, что когда бывает грустен, то ищет встретиться с Худобашевым, который всегда «отводит его душу»; Худобашев в «Черной шали» Пушкина принял на свой счет «армянина». Шутники подтвердили это, и он давал понимать, что он действительно кого-то отбил у Пушкина. Этот, узнав, не давал

ему покоя и, как только увидит Худобашева (что случалось очень часто), начинал читать «Черную шаль». Ссора и неудовольствие между ними обыкновенно оканчивались смехом и примирением, которое завершалось тем, что Пушкин бросал Худобашева на диван и садился на него верхом (один из любимых тогда приемов Пушкина с некоторыми и другими), приговаривая: «Не отбивай у меня гречанок!». Это нравилось Худобашеву, воображавшему, что он может быть соперником. Худобашев был вырезан на печати верхом на козле с надписью кругом «Еду не свищу, а наеду – не спущу». Я привез одну из трех печатей в Одессу Пушкину».

Появление коз и коров в самом центре города в принципе не было чем-то экстраординарным даже и несколькими десятилетиями позднее[406], ибо живность имелась во многих дворах. Более того, специально нанятые пастухи прогоняли стада по улицам на городской выгон. Комичной выглядела сама «коррида». Полагаю, впрочем, что перевод Худобашева в Кишинев имел куда более серьезные основания, о которых я не так давно сообщал в любопытном одесском сюжете в «Энциклопедии забытых одесситов».[407]

Клубная гостиница

Судьба правого углового флигеля бывшего дома Волконского, на углу Дерибасовской, складывалась примерно так же, как и левого, на углу Ланжероновской, но только до лета 1821 года. 8 июня этого года Одесский строительный комитет утвердил план и фасад этой части дома Рено[408], которая надстраивалась этажом для устройства отеля «для чистой публики». Из всего этого следует, что в 1821-м Пушкин не мог здесь останавливаться, впрочем, как и в гостинице Сикара, о чем мы еще будем говорить. Пребывание Поэта в Клубном доме относится уже к 1823-1824 гг. Успел ли Рено произвести работы в течение строительного сезона 1821 года? При его возможностях, убежден, да. Как свидетельствует практика, за один сезон возводились и большие доходные дома.

Мемуары, связанные с пребыванием Пушкина в Клубной гостинице, широко известны,[409] не вижу надобности в пространных цитатах. Резюмируя эту информацию, В.А. Чарнецкий пишет:

«В этой гостинице, в угловом номере 14 (угол Дерибасовской и Ришельевской. – **О. Г.**), жил А.С. Пушкин, останавливались писатель *П.П. Свиньин*, авторы известных мемуаров *Ф.Ф. Вигель, И.П. Липранди*».[410] Свиньин пишет (1825 г.): «Занял в клобе* № 14-й, имеющий балкон на Ришельевскую и де Рибасовскую улицы, я на первый раз удовольствовался наблюдением оттуда беспрерывного движения, продолжающегося на улицах до полуночи. Прекрасные кареты, коляски, кабриолеты, верховые, возы с товарами, разносчики, разноцветные, разнородные группы гуляющих по тротуарам сменяли попеременно сцены, являли благотворные следы торговли…».[411] В первый свой приезд в Одессу летом 1823-го Вигель обитал в смежном номере: «Я остановился в известнейшем отеле Рено, близ театра, перед которым горела блестящая иллюминация. Она была по случаю приезда графа Воронцова и должна была продолжаться три дня. Подмостки были сделаны, шкалики куплены, и хотя в это самое утро отправился он в Бессарабию, ее все-таки зажгли. Следовательно, как будто праздновали его отбытие (…). Рядом со мной, об стену, жил Пушкин, изгнанник-поэт».

А вот об истории помещавшейся в первом этаже отеля *ресторации Цезаря Людвиговича Отона* хотелось бы кое-что сказать. Выше упоминалось о том, что после приобретения Крамаревым двух домов Бейна они некоторое время сдавались в аренду под различные заведения. Скажем, в 1822-м и первой половине 1823 года знаменитый Отон содержал здесь *кухмистерский стол* и выражал желание завести *гостиницу*.[412] Почему не ресторацию? А потому, что содержание ресторацій в ту пору было признано ненужным и запрещено распоряжением градоначальника графа А.Д. Гурьева.[413] Вскоре, однако, Цезарь Людвигович перебазировался в дом Рено, где открыл ресторацию (которая некоторое время формально ресторацией не значилась) при существовавшей там гостинице, и, судя по всему, именно по причине начатой Крамаревым перестройки зданий. Очень может быть, Пушкин бывал у Отона в доме Крамарева еще до окончательного переезда в Одессу летом 1823-го, в ходе предыдущих вояжей из Кишинева.

* Лучшая гостиница в Одессе. За две комнаты платил я по 10 рублей в день.

Исследователей издавна удивляет одно неясное место из воспоминаний лицеиста Н.Г. Тройницкого: «Как раз против лицея, на Дерибасовской улице, стоял небольшой одноэтажный дом, на котором красовалась вывеска с надписью большими золотыми буквами: Cesar Automne restaurateur. Здесь был известный в то время ресторан, в котором Пушкин любил коротать свои невольные досуги».[414] Но в пору постоянного пребывания Пушкина в Одессе ресторация Отона функционировала при Клубной гостинице, причем опять-таки в формате кухмистерского стола. Ни о какой такой вывеске и речи идти не могло. Однако все становится на свои места, если понимать, что мемуарист повествует о ситуации чуть более, буквально на несколько месяцев, ранней. Конечно, ресторация Отона находилась тогда не прямо против лицея, строения которого заканчивались на траверзе Красного переулка, а несколько выше, ближе к углу Преображенской. Тем не менее это проясняет текст Тройницкого.

* * *

Что устрицы? пришли! О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,
Слегка обрызнутых лимоном.
Шум, споры – легкое вино
Из погребов принесено
На стол услужливым Отоном.

Кстати, из пушкинских черновиков видно, о каком именно вине здесь идет речь: «*Шабли, студеное вино, вино из погребов принесено на стол услужливым Отоном*».[415] Что до устриц, они, судя по всему, были сезонным или нерегулярно поставляемым продуктом. По крайней мере Долгорукий пишет: «Устриц не видал».[416] Правда, это было гораздо раньше, и спрос мог быть ниже.

Большинство сообщений современников об Отоне довольно широко растиражировано. «Самым дорогим рестораном в Одессе была Ришельевская гостиница, содержимая Отоном (Autonne), –

Городской театр и кофейня «Ришелье» (бывшее casino). Снимок 1860-х гг.

пишет Болеслав Маркевич (речь идет о времени, когда она переместилась из дома Рено на противоположную сторону Ришельевской улицы, в так называемый дом градоначальника, или Городской дом. – **О. Г.**). – В нем порция любого блюда на выбор стоила 15 копеек. «Отчего у вас дороже других?» – спрашиваешь почтенного, грузного, с правильными чертами старофранцузского лица, неторопливо-предупредительного, важно-любезного хозяина. «Oh, mon Dieu, monsieur, c'est pour n'avoir chez moi qu'une société choisie». «Monsieur Autonne, ведь вы воспеты Пушкиным», – говоришь ему опять как-то невольно льстиво. «J'ai entendu dire, en effet, – отвечает он с величавым видом министра, которому докладывают между прочим о хвалебной статье, напечатанной про него в какой-нибудь ничтожной газете, – que monsieur Pouchkine avait en la bonte de parler de moi dans ses vers. C'est tres aimable à lui de l'avoir fait». – «Он часто обедал у вас здесь?» – «Très souvent, oui, monsieur. Il préférait le Saint-Péray a toutes les autres marques

de champagne, et j'en ai toujours en d'excellent dans ma cave». И улыбнется при этом, точно орденом пожалует… Прелестнейший образчик француза старого закала был monsieur Autonne».[417]

Отон последовательно арендовал помещения в домах Крамарева, Рено, «городском доме», числился «торгующим в городе Одессе по 3-й гильдии купечества французско-подданным», владел лавками на Театральной площади (Пале-Рояль). По сообщению Л.А. Черейского, он умер 22 июня 1860 года, но это не соответствует действительности, ибо летом 1864 года ресторатор поместил в газете объявление о продаже «старого французского вина. Сын Отона, Людовик (Луи) Цезаревич, – известный одесский архитектор.[418]

Помимо гостиницы и ресторации Отона в интересующий нас период в этом комплексе домов Рено помещались: ресторация (формально – кухмистерский стол) сардинско-подданного *Филипа Бароли*, кофейня сардинско-подданного Луиджи Мортовудро,[419] казино иностранца *Ивана* (*Джованни*) *Ивановича*,[420] перешедшее к *Луиджи Лемме*,[421] который из иностранцев причислился в одесское 3-й гильдии купечество[422] и др. Клубную залу содержал бывший антрепренер итальянской оперы, одесский 3-й гильдии купец *Иван* (*Джованни*) *Монтовани*,[423] о котором еще поговорим. Важно, что при этой зале в 1824-м функционировала отдельная кофейня, в которой реализовывались высококачественные сладости из Италии.[424] Можно упомянуть *бильярды*, имевшиеся как в Клубной зале, так и в Казино: об этом говорит сам Пушкин – в отредактированном варианте «Путешествия Онегина» и в черновиках.

Тут, к слову, надо отметить одно любопытное обстоятельство. Дело в том, что в первые десятилетия существования Одессы не только Клубная зала, но и примыкающее к ней казино играли роль биржи, источника коммерческих новостей. Я упоминал «Биржевые листки», которые были первыми местными СМИ, явившимися задолго до первых газет. К сожалению, до нас они не дошли, но информация середины 1820-х иллюстрирует ситуацию довольно наглядно: содержатели залы и (или) казино, к примеру, тот же Лемме, заключали на этот счет контракты с городской типографией (бывшей Россета; ранее – с самим Россетом)

Вид на Городской театр и кофейню «Ришелье» (бывшее коммерческое казино). 1860-е гг.

на печатанье объявлений о прибытии в порт коммерческих судов и описей товарам, об условиях фрахта, аукционах и проч. Кроме того, печатались курсы валют, грузовые билеты, винные этикетки, табачные ярлыки, различные бланки, визитные карты, театральные афиши, программы учебных заведений, похвальные листы, прейскуранты отдельных магазинов, рестораций и др.[425]

Таким образом, мы можем утвердительно ответить на вопрос о наличии *карты блюд у Отона или Сикара* в пушкинское время, хотя физически мне они пока не встречались. Впрочем, мы можем видеть синхронные бланки, ярлыки, театральные афиши, товарные ярлыки и чеки лучших одесских магазинов первой половины 1820-х.

Теперь относительно *бани при Клубной гостинице*. В 1828-м «Одесский вестник» опубликовал следующее объявление: «Публичная баня в Клубной гостинице, заведение столь же приятное, сколько и полезное, открыта для публики. В ней можно будет принимать во всякое время от утра до вечера теплые и холод-

ные бани в пресной или морской воде, равно как и русские. Цена: 25 руб. за 12 бань, 13 руб. за 6, а 2 руб. 50 коп. за каждую баню».[426] Предположение о том, что ранее эта баня могла функционировать не как публичная, а лишь для нужд постояльцев, представляется маловероятным: при таком варианте стоимость разового посещения возросла бы до небес. Кроме того, в интересующую нас эпоху и ранее в городе существовало несколько вполне раскрученных бань, о чем можно узнать в одном из следующих разделов.

Примечания

[347] Записки Одесского общества истории и древностей. Т. III. – Одесса, 1853, с. 591.

[348] ГАОО, ф. 44, оп. 1, д. 15. – 71 л.

[349] Олег Губарь. Автографы Одессы. – Одесса: АО «ПЛАСКЕ», 2012, с. 34-35.

[350] ГАОО, ф. 17, оп. 1, д. 471. – 12 л.

[351] Там же, д. 473. – 10 л.

[352] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 287, л. 637-646.

[353] Первые книги Одессы. – Одесса: Optimum, 2011, с. 220.

[354] Там же, д. 258, л. 233; Там же, ф. 59, оп. 1 – 127, л. 142-143.

[355] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 20, л. 5, № 17.

[356] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 262, л. 118 об.

[357] Там же, д. 278, л. 508-510, 637-646.

[358] Там же, д. 262, л. 118 об.

[359] Там же, д. 281, л. 385-386.

[360] Смольянинов К.Н. История Одессы. – Одесса, 1853, с. 147, примечание 138.

[361] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 668, л. 3 – 3 об.

[362] Там же, л. 17, 19, 30-40, 42, 44-47 об.

[363] Там же, л. 21.

[364] Там же, л. 69, 70, 72, 73, 75.

[365] Там же, л. 66.

[366] Там же, л. 90.

[367] Там же, л. 142.

[368] Там же, л. 144-144 об.

[369] Там же, л. 155.

[370] Там же, л. 165, 166.

[371] Там же, л. 245.

[372] Записки Одесского общества истории и древностей. Т. III. – Одесса, 1853, с. 590.

[373] Олег Губарь. История градостроительства Одессы и функции Одесского строительного комитета. – Одесса, 2015, с. 17-19.

[374] Первые книги Одессы. – Одесса: Optimum, 2011, с. 212.

[375] Смольянинов К.Н. История Одессы. – Одесса, 1853, с. 151.

[376] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 434, л. 1, 2.

[377] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 276, л. 228-229.

[378] Первые кладбища Одессы. – Одесса, 2012, с. 12, 13, 15, 16, 199, 208, 209, 212, 217, 296, 378, 380, 440, 526, 527, 546.

[379] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 434, л. 3.

[380] Там же, л. 4 об.

[381] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 268, л. 147А – 148.

[382] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 663, л. 164-166.

[383] Там же, д. 22, л. 2, 7.

[384] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 258, л. 298.

[385] Там же, д. 259, л. 5; Там же, д. 266, л. 284; Там же, д. 276, л. 455; Там же, д. 281, л. 54 и др.

[386] Полное собрание законов Российской империи. Т. XXXIX – 1824, с. 192-201.

[387] ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 287, л. 399-400.

[388] Там же, д. 22, л. 68.

[389] Эдвард Мортон. Одесса как она есть. – Одесса: Optimum, 2012, с. 85.

[390] Олег Губарь. Энциклопедия забытых одесситов. – Одесса: Optimum, 2011, с. 83-109.

[391] Олег Губарь. Воронцов и Воронцова. – Одесса: Optimum, 2015, с. 87-189.

[392] ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 279, л. 250.

[393] И.М. Долгорукий. Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года. – М., 1870, с. 135, 152.

[394] ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 267, л. 182.

[395] Там же, д. 268, л. 141.

[396] Там же, д. 269, л. 306.

[397] Там же, д. 259, л. 7 и др.

[398] Там же, д. 274, л. 245.

[399] Там же, д. 276, л. 454; Там же, д. 281, л. 54 и др.

[400] Там же, д. 277, л. 119-121.

[401] Там же, д. 284, л. 573-576.

[402] Там же, д. 279, л. 25.

[403] Там же, д. 282, л. 332, 334.

[404] Наука и жизнь. – 1991, № 2, с. 72-73.

[405] ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 279, л. 22 об.

[406] Одесский вестник. – 1866, № 160.

[407] Олег Губарь. Энциклопедия забытых одесситов. – Одесса: Optimum, 2011, с. 11-24.

[408] ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 9, л. 4 об.

[409] Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина: 1799-1826 гг.

[410] В.А. Чарнецкий. Древних стен негласное звучанье. – Одесса: Друк, 2001, с. 28.

[411] П.П. Свиньин. Взгляд на Одессу. – Отечественные записки, 1830, январь, с. 9.

[412] ГАОО, ф. 4, оп. 1А, д. 9, л. 4.

[413] Там же, д. 132, л. 179, 185.

[414] Н.Г. Тройницкий. – Русская старина, 1887. Т. 54, с. 159.

[415] А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений. В 16 т. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1937-1959. Т. VI, с. 470.

[416] И.М. Долгорукий. Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года. – М., 1870, с. 165.

[417] Б.М. Маркевич. Полное собрание сочинений. Т. XI. – СПб., 1885, с. 388-389.

[418] Первые кладбища Одессы. – Одесса, 2012 , с. 527.

[419] ГАОО, ф. 4, оп. 1А, д. 9, л. 4.

[420] Там же, л. 24-25.

[421] Там же, д. 280, л. 29.

[422] Там же, д. 4, л. 3.

[423] Там же, д. 280, л. 29.

[424] Journal d'Odessa. – 1824, 23 août, № 68.

[425] ГАОО, ф. 4, оп. 3Б, д. 570, л. 32 об., 33, 44, 60, 67, 87, 89, 105, 122.

[426] Одесский вестник. – 1828, № 30.

Андрей Добролюбский

Гавани дрока и лилий

«…Различные пункты однообразного берега нашего обозначали по предметам, которые на каждом из них в особенности бросались в глаза… К таковым предметам могли послужить произведения царства растительного…»

Ф.К. Брун. Черноморье

Заслуга в открытии Джинестры принадлежит графу Яну Потоцкому, автору знаменитого романа «Рукопись, найденная в Сарагосе». Но граф Иван Осипович был не только прекрасным романистом, но, прежде всего, великолепным ученым – историком, географом, археологом, этнографом, почетным членом Императорской Академии наук. Изданная им в 1796 году в Вене «Записка о новом перипле Понта Евксинского…» содержала множество новых сведений по древней географии берегов Черного моря [1]. Они были почерпнуты автором из неизданных и редких картографических памятников, отысканных им в разных библиотеках Европы. В их числе были сведения и об итальянской якорной стоянке на нынешнем одесском побережье, На самых ранних из известных карт – Анонимном Морском атласе «Таммар Луксоро» (начало XIV в.), а также Морской карте Пьетро Весконте (1311 г.) – она обозначена как Zinestra и La Zinestra [5].

Граф Потоцкий был превосходным знатоком многих языков. Ему было известно, что по-итальянски эти слова ничего не обозначают. И он попытался объяснить их из совокупности историко-лингвистических и историко-географических соображений. На некоторых морских картах и атласах XIV-XV вв. реки, питаю-

щие нынешние одесские лиманы – Малый, Большой и Средний Куяльники, – изображены как *левые* притоки Днестра. В таком случае указанные названия якорной стоянки – Zinestra, La Zinestra, а также Çinestra, Sinestra, Lazinestra и т. п. – являются производными (или искаженными) от латинского слова «sinistra», что значит «*левая*» (рука, сторона – *лат.*).

Действительно, средневековые мореплаватели (а вслед за ними и картографы) были убеждены, что реки, впадающие в одесские лиманы (куда более полноводные, чем сегодня), являются притоками Днестра (или, точнее, рукавами, ответвлениями от его разветвленного и обширного устья. Поэтому они изображали Малый, Большой и Средний Куяльники соединенными в верхнем течении с Днестром. Подобные ошибки отнюдь не редкость – так, почти на всех таких картах Южный Буг и Днепр показаны соединенными в верхнем течении. Такие неточности вполне объяснимы – навигаторы ходили вдоль берегов и не проникали на материк далее устьев рек, лиманов и бухт.

Поэтому вслед за графом Потоцким О.И. Губарь также полагает, что этимология имени якорной стоянки на месте современной Одессы… для судов средневековых итальянских республик Генуи, Венеции, Анконы, Амальфи… связана с ошибочным представлением навигаторов и картографов, будто реки, питающие одесские лиманы, являются левыми рукавами Днестра. Само же имя «Джинестра» следует толковать как созвучное, искаженное название реки [2].

Поскольку «самым левым» притоком (рукавом) Днестра является Куяльницкий лиман, то якорная стоянка должна была находиться именно при его устье. И действительно, здесь, на территории грязелечебницы со стороны Жеваховой горы, были найдены средневековые якоря [3].

Однако Куяльницкий лиман является «левым», если смотреть на карту из Варшавы или Петербурга. Как это и делал Ян Потоцкий. Но если смотреть на него со стороны моря, глазами итальянских навигаторов, то он становится «правым». А «левым» оказывается Хаджибейский лиман. Поэтому Г. Кустова полагает, что якорная стоянка находилась в устье именно Хаджибейского лимана [4]. Кстати, и здесь еще в XIX в. были найдены средневековые якоря. С противоположной стороны Жеваховой горы.

Между тем на другой, несколько более поздней морской карте того же Пьетро Весконте (1318 г.) наша стоянка обозначена как Laginestra. На еще более поздних картах XV-XVI вв. она же фигурирует как La Ginestra. Это – Морские атласы Грациозо Бенинказа (1453, 1471 гг.), Морской атлас Грациозо Бенинказа (1480 г.), Морская карта Андреа Бенинказа (1490 г.), а также снова как Laginestra на Морской карте Диогу Хомема (1561 г.) [5]. Такое обозначение, да еще и с определенным артиклем женского рода – «La Ginestra» – однозначно переводится с итальянского как «дрок».

Именно на это обратил внимание профессор Новороссийского университета Ф.К. Брун. Он предположил, что «Джинестра» («Ginestra») происходит от genista, обозначавшего заросли дрока, которым обросли берега Куяльника (дрок похож на растение, из которого плели канаты и сети, – antirrinium genistafolium). Эти заросли, по его мнению, выделялись на побережье в районе Куяльника, и потому итальянская стоянка была названа Джинестрой. Равным образом, как и заросли лилий (тюльпанов или ирисов) в устье Тилигула дали имя соседней стоянке – Флорделис (Flordelise), или Флор-де-Лис (Flor de Lixe, Flor de Lisso, Flor Delixe и т. п.) [5]. Что переводится как «лилия». «…Имя flor de lis… которое с малыми вариантами встречается во всех картах, не требует объяснения… Название, данное этой местности, явно не могло иметь другого значения, кроме цветущих лилий» [6.80].

С этой точки зрения дрок и лилии должны были быть опознавательными, навигационно-ориентирующими признаками для мореходов, и под такими именами записаны в портоланах (*итал.* portolano – лоция; букв. – перечень, описание гаваней). Заросли дрока должны были «маркировать» Жевахову гору, а заросли лилий – устье Тилигула. И в самом деле, на всех атласах, картах и портоланах с начала XIV в. до начала XVII в. Синестра-Джинестра неизменно соседствует с Флорделисом – Флор-де-Лисом.

Впрочем, сам Ф.К. Брун не был столь уж тверд в своем «ботаническом» предположении. «В настоящее время, – пишет он, – эти цветы не растут сами по себе на северном берегу Черного моря, а потому едва ли входили в состав здешней флоры в то время, когда начали сюда приезжать итальянцы. Зато они не могли не встречать в нашем краю много других растений, и в том числе ирисы,

поелику они и ныне, при менее выгодных климатических условиях, в изобилии растут в наших степях. Подобно тому, как эти цветы (Schwert-lilie по-немецки) простым народом причисляются к лилиям, берег при устье Тилигульского лимана по растущим в этой местности ирисам вполне мог быть назван flor de lis несведущими в ботанике моряками Италии, если они, как должно думать, различные пункты однообразного берега нашего обозначали по предметам, которые на каждом из них в особенности бросались им в глаза. Что к таковым предметам могли послужить произведения царства растительного, служат доказательством названия, данные в разные времена многим другим местностям» [6.81].

При этом Ф.К. Брун не отрицает, «что другие посторонние обстоятельства могли послужить поводом к применению к лиманам Куяльникскому и Тилигульскому названий, из коих одно было прозвищем английских королей из дома Анжуйского, тогда как другое напоминает нам старинный французский герб… Но почему… слова, означающие этот герб, отмечены при устье Тилигула по-испански… не приставали ли тут какие-то странствующие Каталаны?» [6.82].

Комментируя эти высказывания, В.А. Оплачко поясняет, что ирисы и тюльпаны стали известны европейцам не ранее начала XVI в., а потому под названием «flor de lis» вряд ли могли быть навигационными ориентирами. Связи же цветков дрока с «прозвищем английских королей из дома Анжуйского», а лилий – со старинным французским гербом, он разъясняет следующим образом:

В Средние века цветки дрока (джинестра) и лилии (флор-делис) имели значение почти сакральных символов. Латинское название дрока – planta genista. Дрок был эмблемой в гербе нормандского графа Жоффруа Анжуйского (Красивого). Граф женился на дочери английского короля Генриха I Матильде. А их сын Генрих II унаследовал эмблему отца – ветку дрока – и в 1154 году стал основателем новой династии Плантагенетов (Plantagenets – *англ.*), которые правили Англией более 300 лет.

Что касается «цветка лилии», или «флёр-де-лис» (*фр.*: fleur de lys/lis), то хорошо известно, что он использовался во всех гербах Капетингов и Бурбонов – едва ли не со времен короля Хлодвига и вплоть до Французской революции 1789 г.

Однако этимология слова «флор-де-лис», считает В.А. Оплачко, не так понятна, как полагал Ф.К. Брун. По его мнению, этот термин может относиться к желтым ирисам (Iris pseudocorus), которые обычно растут в болотистых местах по всей Европе. Однако в старонемецком языке этот цветок назывался Liesblume. Французы же, заимствовав это название, дали ему имя flor-de-lis. В среднефранцузском слово «цветок» писалось именно так – flor, а не fleur, как в современном языке. А название «ирис» пришло гораздо позднее – в эпоху Возрождения [7].

Став устойчивым словосочетанием, flor-de-lis попало в качестве галлицизма в другие европейские языки, так по-испански следовало бы писать flor de lirio, а не de lis, в среднеанглийском ирис назывался flourdelis. Итальянцы также использовали это название, и ничего удивительного в том, что генуэзская стоянка в устье Тилигула названа ими «по-испански». Каталаны тут ни при чем…

Разница в написании имени «Джинестра» на различных атласах, картах, в лоциях и так называемых «словесных портоланах» XIV-XVII вв. (La Zinestra, Sinestra, Cinestra, La Ginestra, La Ginestra и т. д.) легко объяснима – все они являются вариантами слова Ginestra. Средневековые картографы использовали при создании своих карт в том числе и рассказы бывалых людей – купцов, путешественников и моряков. Поэтому записанные с их слов названия звучали порой с некоторыми отличиями – как услышал, так и написал (словесные портоланы). Географические названия непременно что-нибудь обозначают и, единожды названные, устойчиво сохраняются в топонимике [7].

Действительно, по сведениям А.Ю. Гордеева, Джинестра отмечена в 259 картах-портоланах из 299 известных на сегодняшний день, причем в 50 вариантах написания. А «Флорделис» – в 256 картах из тех же 299, в 84 вариантах. При этом «Флорделис» им уверенно размещается не в устье Тилигула, а в устье Большого Аджалыкского лимана, у нынешней Вапнярки или Новой Дофиновки, то есть совсем рядом с Куяльником, где располагалась Джинестра [8]. К тому же, на десяти картах XIV-XV вв. топоним ginestra (или zinestra) перепутан местами с топонимом «flor de lisso». Это, несомненно, свидетельствует об их былом близком соседстве.

Между тем И.К. Мельник имеет иное мнение – ему совершенно ясно, что наша Джинестра (*итал.* – метла), названа в честь города Ginestr в Тосканской области в Италии. Потому что там, как и на одесском побережье, буйно цветут травы, из которых делали метлы [9].

Можно видеть, что версий о происхождении названия Джинестры – «Одессы-Бабушки» (выражение О.И. Губаря) – нисколько не меньше, чем версий о происхождении имени самой Одессы.

Примечания

1. Потоцкий Я. Записка о новом перипле Понта Евксинского, составленная графом Иваном Потоцким // Археолого-нумизматический сборник. – СПб, 1850, с. 11-77.

2. Губарь О.И. Джинестра // Морская энциклопедия Одессы. – Одесса: Порты Украины, 2012, с. 163-164; Он же. «100 вопросов «за Одессу». – Одесса, 1994, с. 115-119; Он же. Что известно о средневековых предшественниках Одессы? // День, 29 августа 2008.

3. Мельник И.К. О якорях и не только… – Одесса: Феникс, 2016.

4. Кустова Г. Пешие заметки морского геолога. Часть 1 // Marine_geolog//http://marine-geolog.livejournal.com/

5. Фоменко И.К. Номенклатура географических названий Причерноморья по морским картам XIII-XVII вв. Таблица 1. – Цит. по: [7].

6. Брун Ф.К. Черноморье. Сборник исследований по исторической географии Южной России 1852-1877. Часть 1. – Одесса, 1879, с. 81-84.

7. Оплачко В.А. Об этимологии имени Джинестра // Порты Украины, № 02 (124), 2013. http://portsukraine.com/taxonomy/term/937

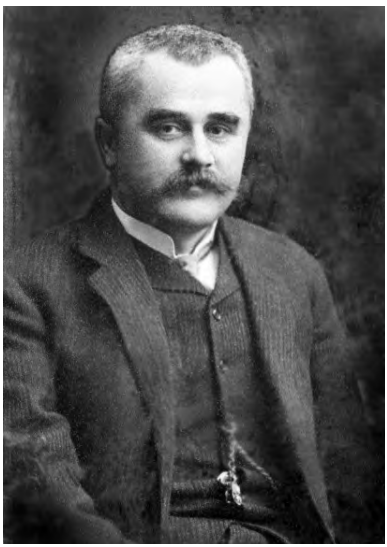
8. Гордеев А.Ю. Топонимия побережья Черного и Азовского морей на картах-портоланах XIV-XVII веков. – Academia.edu – Киев, 2014. – 480 с. – С. 225-249. https://ru.scribd.com/document/328985508/Toponimi-Crno-i-Azovsko-more-pdf#

9. Мельник И.К. Галерное прошлое одесских берегов // Моряк Украины. – 24 дек. 2015. http://moryakukrainy.livejournal.com/2844421.html

Александр Дмитренко

Городской голова Одессы

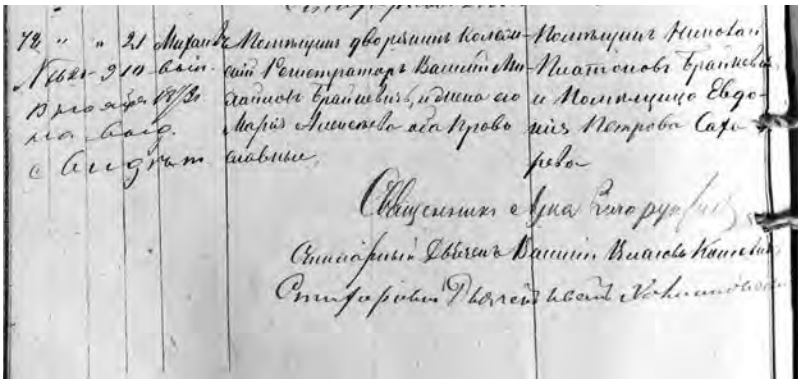
Часть I. Биографическая



Михаил Брайкевич (1873-1940)
Собр. С.З. Лущика, фотокопия С.В. Калмыкова

Фамилия Брайкевич в Одессе достаточно известная, в большей степени благодаря подаренной коллекции картин «мирискусников» нашему университету и позднее переданной художественному музею. (Здесь необходимо сразу оговориться: не установлено достоверно, подарена ли была коллекция. По воспоминаниям Евгения Голубовского, известный одесский краевед С.З. Лущик из переписки с наследниками Брайкевича выяснил, что коллекция картин была оставлена на хранение, а не подарена.) Менее известно, что он был дважды городским головой в «смутное время», еще меньше знают, что в его собственном доме по адресу Лидерсовский бульвар, 3, сейчас размещено Генеральное консульство Турецкой Республики.

Одесский период биографии Михаила Васильевича Брайкевича мало изучен, стоит только сказать, что во всех спра-



Фрагмент Метрической книги, данной из Херсонской духовной консистории в Варваринскую церковь Антонокодинцовки Одесского уезда для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1873 год. – ГАОО, ф. 37, оп. 3а, д. 297

вочниках, электронных ресурсах упоминается год рождения 1874 (главный хранитель ОХМ Л.А. Еремина после изучения переписки сотрудника музея Л.Н. Калмановской с наследниками Брайкевича в Лондоне указывала верный год рождения – 1873, но неправильный год смерти – 1942), а место рождения – Одесса.

После долгих и трудных поисков в Государственном архиве Одесской области найдены подтверждения этих биографических неточностей.

Михаил родился 17 ноября 1873 года в семье помещика, дворянина, коллежского регистратора Василия Михайловича Брайкевича и его жены Марии Алексеевны, оба православные, крещен 21 ноября, восприемники помещик Николай Платонович Брайкевич и помещица Евдокия Петровна Сахарова*.

Родился в поместье Василия Михайловича и девицы Надежды Михайловны Брайкевич в деревне Поповка**.

---

* См.: ГАОО, ф. 37, оп. 3а, д. 297, л. 899 об. Запись о рождении № 78.

** См.: ГАОО, ф. 249, оп. 1, д. 526 «О залоге имения землевладельцев Одесского уезда, коллежского регистратора Василия и девицы Надежды Михайловичей Брайкевич при д. Поповка (12.06.1873-26.03.1894)».

Для справки: Антоно-Кодинцево (с 1933 г. – пгт Коминтерновское Одесской области)*. Село образовано не ранее 1802 года, церковь построена в 1818 году**. Село Поповка (с 1940 г. – Калиновка Коминтерновского района Одесской области)***.

В 1892 году окончил с отличием 2-ю мужскую гимназию и уже в 23 года (1897) среди лучших выпускников Института Корпуса инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге с правом на чин коллежского секретаря.****

Михаил Брайкевич женился 8 сентября 1899 года на дочери главы крупной инженерной фирмы А.А. Бунге Софье Андреевне (1881-1975).

С. Сорин, портрет Софьи Андреевны Брайкевич, урожд. Бунге (1881-1975), жены одесского коллекционера М.В. Брайкевича
1914. б./паст., акв. 46×51. ОХМ

Эти два факта стали определяющими в выборе профессиональной деятельности: инженер по образованию, работающий в фирме промышленников Сергея Палашковского и Андрея Бунге – главных подрядчиков строительства портов и железнодорожных путей.

Масон, член Кадетской партии народной свободы, с 1914 года – вице-президент Одесского отделения Императорского русского технического общества, Одесского военно-промышленного комитета, с марта по август 1917

* См.: История городов и сел Украинской ССР. Одесская область. – К., 1978, с. 532.

** См.: Гавриил А.Х. и Т. Хронологико-историческое описание церквей губернии Херсонской // Записки Императорского Одесского общества истории и древностей. – О., 1848, т. 2, с. 192.

*** См.: История городов и сел Украинской ССР. Одесская область. – К., 1978, с. 561.

**** См.: Список окончивших курс в Институте инженеров путей сообщения императора Александра I за сто лет 1810-1910. – С. 136.

ВЫБОРНЫЙ ЛИСТЪ

лицамъ, баллотированнымъ въ Одесскіе Городскіе Головы

въ Собраніи Городской Думы 17/4 декабря 1918 г.

№ по порядку	Фамилія и имя	Избирательныхъ	Неизбирательныхъ
1	Брайкевичъ, Михаилъ Вонифатьевичъ	46 (сорокъ шесть)	13 (тринадцать)

Подлинное за подписью Предсѣдателя Гор. Думы, присутствовавшихъ гласныхъ и скрѣпью Секретаря Гор. Думы.
Съ подлиннымъ вѣрно:
Секретарь Гор. Думы М. Гладковский

Фото из архива: ГАОО, ф. 16, оп. 94, д. 147, л. 2

года[*****] и с декабря 1918[******] по март 1919 года – городской голова, в октябре 1917 года назначен товарищем министра торговли и промышленности Временного правительства, один из инициаторов открытия в Одессе в 1918 году политехнического института.

Первое упоминание о прадеде Михаила Иване Дмитриевиче Брайкевиче встречается в списке землевладельцев Екатеринославского наместничества 1792 года.

[*****] См.: Виктор Файтельберг-Бланк, Виктор Савченко. Одесса в эпоху войн и революций (1914-1920).

[******] См.: ГАОО, ф. 16, оп. 94, д. 147, л. 1, 2. Письмо канцелярии Одесской городской думы в Одесскую городскую управу от 20.12.1918 № 1628; Выборный лист лицам, баллотированным в одесские городские головы в собрании Городской думы 17/4 декабря 1918 г.

По условиям Ясского мирного договора, заключенного 29 декабря 1791 года (09.01.1792) между Империею всероссийскою и Портою Оттоманскою и положившему конец русско-турецкой войне (1787-1791), земли между Бугом и Днестром отошли к России. Эти земли начали быстро заселяться.

В ведомости уезда за 1792 год под № 4 (под номерами дач по планам № 79 и 80) есть запись: «Назначено поручику Ивану Брайкевичу по 1500 десятин удобной земли и по 100 неудобной»*. И. Брайкевич то время был еще поручиком и дослужился до звания секунд-майора.

В архивах Херсонской и Одесской области найдены сведения о собственности майора Ивана Дмитриевича Брайкевича: с 1796 года – Скелеватка, с 1806 года – Поповка, с 1811 года – Бабиновка.

С тех пор семейство Брайкевич разрасталось, в «Алфавитном списке помещиков, упоминаемых в ревизской сказке жителей Одесского уезда за 1858 год» упоминаются дети Ивана Дмитриевича и его законной супруги Марии: Дмитрий (владелец хутора Ивановка), Надежда (Богдановка), Любовь (Богдановка), Мария (Марьяновка), Платон (Платоновка).** С таким же отчеством встречается еще Брайкевичи – Константин (1814-1887), отставной подполковник, и Василий – отец нашего героя.

О дяде Михаила Васильевича – Брайкевиче Дмитрии Ивановиче (1801-1846) – стоит сказать несколько слов: родился в деревне Скелеватке Александрийского уезда Херсонской губ. 10 июня 1801 года крещен в Крыловской (Александрийской) Успенской церкви.*** Выпускник филологического факультета Харьковского университета. Поступил юнкером в конную артиллерию, с 1830 года, выйдя в отставку, женился и проживал в деревне Ивановка Одесского уезда, где и умер. Известен как писатель: в 1836 году вышла оригинальная комедия в 5-ти действиях «Цапцарапкин, или Интересная публикация»; в 1842 году вышла другая пьеса:

* См.: Ведомости четырех уездов, составляющих новоприобретенную область от Порты Оттоманской и присоединенную к Екатеринославскому наместничеству 1792 года // Записки Императорского Одесского общества истории и древностей. – О., 1875, т. 9, с. 330.

** См.: ГАХО, ф. 22, оп. 1, д. 98.

*** См.: ГАОО, ф. 37, оп. 3, д. 82, л. 876.

«Добавление к дворянским выборам, комедия-водевиль в одном действии, сочиненная автором Цапцарапкина. Одесса», автор оперетки «Уланский анекдот», печатался в журнале К.Ф. Рылеева «Северная звезда».

Надежда Михайловна Брайкевич, по всей вероятности, родная сестра отца, а значит, тетя Михаила Васильевича, родилась в д. Поповка Одесского уезда в середине 50-х годов XIX века в семье дворянина и председателя Одесской земской управы. Упоминается в «Справочной книге Черноморской губернии на 1899 год». Окончила одесскую гимназию, а в 1879 году – женские медицинские курсы при Николаевском военном госпитале Санкт-Петербурга, получив звание женщины-врача. Там же она вышла замуж за студента-юриста А.С. Семяновского, которого в том же году за участие в народовольческом движении арестовали и выслали в Вятскую губернию. Долгое время служила земским врачом в Моршанском уезде Тамбовской губернии, а в первой половине 1890-х годов – в д. Анатольевка Одесского уезда. С середины 1890-х гг. работала сначала вольнопрактикующим врачом, исполняла обязанности фельдшерицы-акушерки в Новороссийской городской больнице. С 1900 года и до 1914 года значилась в официальных списках уже полноправным врачом и по совместительству – врачом Новороссийской женской прогимназии. После чего вернулась в Одесский уезд.[****]

Но место рождения Михаила Васильевича Брайкевича подсказали сведения о его (как выяснилось позднее) родном брате Александре.

В метрической книге за 1876 год в Варваринской церкви Антоно-Кодинцевки Одесского уезда Херсонской губернии найдена запись под № 27 о том, что 1 апреля 1876 года родился и 17 апреля крещен сын Александр, родителями которого указаны коллежский регистратор Василий Михайлович Брайкевич и его жена Мария Алексеевна, оба православные.[*****]

[****] См.: Шило С. Врачебная помощь в Новороссийске в начале XX века // novorosforum.ru/threads/vrachebnaja-pomosch-v-novorossijske-v-nachale-xx-veka.5466/

[*****] См.: ГАОО, ф. 37, оп. 6, д. 73.

В течение трех лет А.В. Брайкевич обучался в 1-й Одесской прогимназии, затем пять лет в Херсонской гимназии и два года в 8-й гимназии С.-Петербурга. Аттестат зрелости выдан 31 мая 1896 года.

27 августа 1896 года он подал прошение о зачислении его на юридический факультет С.-Петербургского университета, при этом его документы были переправлены из Горного института, куда он, вероятно, первоначально собирался поступать. Летом 1897 года он вновь решил перевестись в другое учебное заведение: сначала в Институт путей сообщения, затем в Технологический институт, однако в результате остался на юридическом факультете. В свидетельстве из Одесского уездного управления, выданном 24 декабря 1896 года «живущему в с. Беляевке» А.В. Брайкевичу, говорится, что мать его (судя по всему, уже овдовевшая) служит в Беляевке земской учительницей. В С.-Петербурге ему жилось нелегко, о чем свидетельствует и частая смена жилья (девять адресов за неполных полтора года – с сентября 1896 г. по январь 1898 г.). 16 марта 1898 г. А.В. Брайкевич умер в Градской Обуховской больнице*.

Есть информация, что Брайкевич с семьей в 1919 году переехал в Батуми, а через год эмигрировал в Англию. Уезжая из Одессы, Михаил Васильевич оставил коллекцию картин Новороссийскому университету.

В этой связи интересны воспоминания известного советского коллекционера и искусствоведа Ильи Зильберштейна. Началом его коллекции стали 2 рисунка Бориса Григорьева, купленные за 10 руб. на выставке коллекции М.В. Брайкевича, которая проходила в актовом зале Одесского университета, перед тем как коллекция была передана в Одесский художественный музей.

«…И вот наступил этот день. И именно тогда, в 1922 году, незабываемые впечатления от выставки наложили печать на дальнейшую судьбу Ильи, именно тогда наметилась программа всей его жизни. Что же он увидал на выставке?

* См.: http://annensky.lib.ru/books/book35.htm#ОТ_СОСТАВИТЕЛЯ2; От составителя ко II тому «И.Ф. Анненский. Письма». [Русский эпистолярный архив. Вып. I, т. I, II]. – Серия «Иннокентий Федорович Анненский: Материалы и исследования» / Под редакцией А.И. Червякова. Вып. VIII, IX). – Том II: 1906-1909. – С.-П.: Изд. дом «Галина скрипсит», изд. им. Н.И. Новикова, 2009.

Картины на мифологические сюжеты «Похищение Европы» и «Одиссей и Навсикая», рисунки к сборнику «Басни Крылова» – художника Валентина Серова;

романтические «Петербургские виды», иллюстрации к «Белым ночам» Достоевского, карикатуры – Мстислава Добужинского;

несколько небольших картин из крестьянского и купеческого быта серии «Ярмарка» и «Праздник в деревне» – Бориса Кустодиева;

оригинальные рисунки декораций и балетных костюмов для балетов «Тамара», «Синий бог», «Послеполуденный отдых фавна» – Льва Бакста;

стиль прошедших эпох в графике из «Версальской серии» и в иллюстрациях к «Медному всаднику» Пушкина – Александра Бенуа…».[**]

Для справки: Илья Самойлович Зильберштейн (28 марта 1905, Одесса – 22 мая 1988, Москва) – советский литературный критик, литературовед, искусствовед, коллекционер, доктор искусствоведения.

Один из основателей и редактор сборников «Литературное наследство». Более двадцати тысяч исторических документов по истории русской культуры И.С. Зильберштейном были возвращены из-за границы и из частных собраний в государственные фонды и архивы СССР. Основатель Музея личных коллекций в Москве (открыт 24 января 1994 года).

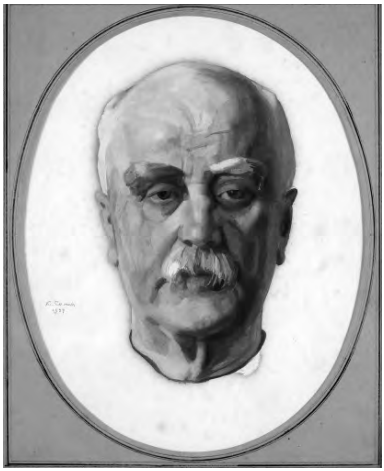
В Лондоне Брайкевич в 1920 году организовал и руководил Русским экономическим обществом, был членом Российского торгово-промышленного союза в Париже, редактором и издателем журнала «Русский экономист», автором многих статей на политические и экономические темы. Поселившись в пригороде Лондона Голден-Грин, начал собирать новую коллекцию картин «мирискусников».

В среде художников пользовался заслуженным авторитетом и уважением, друг М. Добужинского, С. Рахманинова[***] и М. Врубеля, воспоминания о нем оставили А. Бенуа и Н. Рерих,[****] поддерживал

[**] См.: http://www.andersval.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=2937&Itemid=186&view=article.

[***] См.: Добужинский М.В. Воспоминания / Вступ. ст. и примеч. Г.И. Чугунова. – М., 1987, с. 283, 442.

[****] См.: Николай Рерих. Листы дневника. Т. 2, 1940. «Обитель света». Встречи.



К. Сомов. Портрет одесского коллекционера Михаила Васильевича Брайкевича (1873-1940)
1937. К./темп. 35,5×28,5. ОХМ

Л. Бакста и Б. Григорьева. По завещанию скульптора Б. Эдуардса (1860-1924), умершего на Мальте, доверенным лицом по распоряжению художественными произведениями и деньгами для установки памятника или достойной могильной плиты был Михаил Брайкевич.

О дружбе с К. Сомовым следует сказать отдельно, их дружба началась еще до начала первой мировой войны и продлилась до конца жизни.

Интересную характеристику М. Брайкевичу дает К. Сомов (1869-1939). Из письма Анне Андреевне Сомовой, в замужестве Михайловой (1873-1945), сестре К. Сомова от 18 ноября 1929 года:

«…мой дикий поклонник Михаил Васильевич [Брайкевич]… Такое поклонение, как у него ко мне, поистине трогательно и меня очень поднимает. Он сказал такую фразу: «Все мои свободные деньги – ваши!» Но он зарабатывает с трудом и в поте лица. Трогательно еще, что и жена его, как он говорит, не обращает внимания на деньги, не буржуазна и не препятствует ему тратиться на коллекционирование…»

Константин Андреевич Сомов и умер на руках своего верного друга. Брайкевич стал душеприказчиком Сомова и оплатил бессрочное пользование землей для могилы К. Сомова на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в 30 км от Парижа.

Не прошло и года как 12 февраля 1940 года в возрасте 66 лет умер Михаил Васильевич Брайкевич.

В семье Михаила и Софьи Брайкевич было трое детей – сын Михаил (1904-1992) и две дочери: Ксения (1903-1980-е), в замужестве Филдинг-Кларк, и Татьяна (1906-1965), в замужестве Соболева.

Михаил стал инженером-гидравликом. В Одессе он окончил реальное училище, диплом о высшем образовании получил уже в Лондоне в 1923 году. До 1958 года работал на заводе специалистом по гидравлическим турбинам. Умер в 1992 году в возрасте 88 лет.

К. Сомов, портрет Татьяны Михайловны Брайкевич, в замужестве Соболевой (1906-1965)
1931. Х./м. 46×38. ОХМ

Ксения Михайловна участвовала в Русском студенческом христианском движении и возглавляла его лондонский кружок, а затем стала секретарем Содружества святого мученика Албания и преподобного Сергия, основанного в 1928 году и существующего по сей день. Ее муж англиканский священник Оливер Филдинг Кларк (1898-1987) был одним из основателей содружества и переводчиком книг Бердяева.*

По завещанию Брайкевича его коллекция, собранная в Англии, была передана музею Ашмолиан (Ashmolean) в Оксфорде, в 1950 году там состоялась большая выставка.

В архиве музея Ашмолиан сохранились многочисленные письма Татьяны Брайкевич к хранителям и директору. Вначале семья мецената передала коллекцию в лондонскую галерею Тейт, однако в завещании Михаила Васильевича было четко указано, что условием передачи может служить только постоянная экспозиция работ. Они все должны были висеть на стенах.

Галерея Тейт, один из богатейших музеев Европы, не смогла выполнить главное пожелание Брайкевича.

Итак, ныне в собрании Ашмолиана хранятся такие шедевры из коллекции Брайкевича, как, например, серовские портреты графини Варвары Мусиной-Пушкиной и Елены Ивановны Рерих.

* См.: http://zarubezhje.narod.ru/av/b_072.htm.

А как не упомянуть многочисленные театральные эскизы Бакста или такие его «жемчужины», как зарисовка танцующей Айседоры Дункан и портрет примы-балерины Императорских театров Вирджинии Зуччи? Есть также «Осень» Левитана и целая серия театральных эскизов Александра Николаевича Бенуа. Еще в собрании Ашмолеана хранится повторный вариант знаменитой картины великого энциклопедиста и создателя «Мира искусства», запечатлевшей его представление о «Бедном, бедном Павле» – Павле I, принимающем парад у Михайловского замка. Бенуа написал это полотно в 1939 году специально для Брайкевича через тридцать два года после создания основной картины, хранящейся ныне в Русском музее.*

С 1962 года сотрудница Одесского художественного музея Лидия Калмановская (1918-1999) вела переписку с семьей М.В. Брайкевича – женой Софьей Андреевной, а позднее с детьми Татьяной, Ксенией и Михаилом. Последнее письмо пришло уже от Ирины Петровны Брайкевич – жены сына Михаила.

Дважды, в 1976 и 1984 годах, Одесский художественный музей получил подарки от семьи Брайкевич: произведения К. Сомова, Г. Лукомского и М. Добужинского.

В 2011 году в Одессе впервые побывали внучки городского головы Мэри Хилл и Софи Роубак.**

Сегодня в Одесском художественном музее можно не только посмотреть на картины из коллекции М.В. Брайкевича, но увидеть и лица членов его семьи, запечатленных в портретах известными художниками: П. Волокидин, «Портрет вице-президента Одесского общества изящных искусств Михаила Васильевича Брайкевича». 1918. Х./м. 100×90. Ж-68; К. Сомов, «Портрет Татьяны Михайловны Брайкевич, в замужестве Соболевой (1906-1965)». 1931. Х./м. 46×38 (овал). Ж-2106; К. Сомов, «Портрет одесского коллекционера Михаила Васильевича Брайкевича (1873-1940).

* См.: Леонидов В. Коллекция русского искусства в Оксфорде – http://www.kultura-portal.ru/tree_new/cultpaper/article.jsp?number=524&rubric_id=1000037&crubric_id=1000038&pub_id=561899; http://russkie.org/index.php?module=fullitem&id=6905.

** См.: Жакова Т. Увозим из Одессы массу солнечных впечатлений // Вечерняя Одесса. – 8 окт. 2011, № 150-151 (9478-9479).

1937. К./темп. 35,5×28,5. Г-2572. Дар К.М. Филдинг-Кларк (Брайкевич). Лондон, 1976; С. Сорин, портрет Софьи Андреевны Брайкевич, урожд. Бунге (1881-1975), жены одесского коллекционера М.В. Брайкевича. 1914. Б./паст., акв. 46×51. Г-49.***

Часть II. Серебряная медаль лучшему выпускнику художественного училища Одесского общества изящных искусств

В 1908 году Михаил Васильевич Брайкевич избран вице-президентом Одесского общества изящных искусств.****

Через 2 года общество закончило строительство нового здания художественного училища (архитекторы: подрядчик П.У. Клейн и наблюдатель Я.М. Пономаренко), истратив 75.410 руб. 34 коп. Недостающую сумму – 3000 руб. – пожертвовал М. Брайкевич, и 554 руб. взяли из казны училища.*****

В том же году Михаил Васильевич пожертвовал 5000 руб. и позднее еще 235 рублей для учреждения при училище стипендии его имени.******

Ввиду истечения в апреле 1911 года срока полномочий членов совета общества, на общем собрании М. Брайкевич был вновь избран вице-президентом и почетным членом общества.*******

В поощрение полезной деятельности отставного коллежского секретаря Михаила Брайкевича в качестве вице-президента

*** См.: Калмановская Л.Н., Гурова Л.Н. Одесский художественный музей. Живопись XVI – начала XX веков. Каталог. – О., 1997, с. 36, 133, 134.

**** См.: ОННБ, отдел искусств: Отчет Одесского общества изящных искусств за 1908 год. – О, 1909, с. 12.

***** См.: ОННБ, отдел искусств: Отчет о деятельности Одесского общества изящных искусств за 1909-1912 гг. // Отчет Одесского общества изящных искусств за 1909, 1910, 1911 и 1912 гг. – О., 1913, с. 45.

****** См.: ОННБ, отдел искусств: Отчет о деятельности Одесского общества изящных искусств за 1909-1912 гг. // Отчет Одесского общества изящных искусств за 1909, 1910, 1911 и 1912 гг. – О., 1913, с. 37.

******* См.: ОННБ, отдел искусств: Отчет о деятельности Одесского общества изящных искусств за 1909-1912 гг. // Отчет Одесского общества изящных искусств за 1909, 1910, 1911 и 1912 гг. – О., 1913, с. 46.

Дом М.В. Брайкевича. Фото С.В. Калмыкова

Одесского общества изящных искусств 6 мая 1911 года государь император по ходатайству президента Академии художеств великой княгини Марии Павловны высочайше соизволил пожаловать орден Св. Станислава 3-й степени.*

В 1914 году избран новый состав совета, в котором Брайкевич остался вице-президентом.**

Председательствовал в 1915 году (9 февраля, 11 августа, 3 ноября), в 1916 году (8 февраля, 5 мая, 24 августа). В 1917 году (27 марта, 16 августа). В 1918 (15/28 февраля, 12/25 июля, 16/29 июля, 21 июля/3 августа, 13/26 сентября, 20 сентября/5 октября, 10/23 декабря – уже не было). 8/21 января 1919 года общее собрание общества не посетил.

* См.: ГАОО, ф. 367, оп. 1, д. 22, л. 8. Письмо в Одесское общество изящных искусств от канцелярии Императорской Академии художеств от 7 мая 1911 года № 1872.

** См.: ГАОО, ф. 367, оп. 1, д. 24, л. 1. Протокол общего собрания членов Одесского общества изящных искусств от 19 ноября 1914 года.

Находясь в Ейске на строительстве железной дороги,*** 14 ноября 1910 года вице-президент Одесского общества изящных искусств М. Брайкевич пишет два письма: одним за № К271 обращается в Одесское общество изящных искусств с предложением учредить ежегодную выдачу серебряной медали «…наиболее талантливому из оканчивающих наше художественное училище учеников. Решение, кому именно выдать эту медаль, предоставляется совместному заседанию совета общества и педагогического совета училища. Лицо, получившее медаль, должно получить процентные деньги за год с вносимого мною теперь неприкосновенного капитала». С этим письмом М. Брайкевич отправил переводной билет Азовско-Донского банка № 1666130 на сумму 5000 руб. с поручением на эти деньги купить облигации Городского кредитного общества и таким образом создать неприкосновенный капитал общества.****

*** В 1908 году акционерное общество Ейской железной дороги приступило к постройке 142-километровой магистрали, которая должна была обеспечить подвоз зерна в Ейский порт. Торжественное открытие дороги состоялось 11 июля 1911 г.

**** См.: ГАОО, ф. 367, оп. 1, д. 22, л. 20. Письмо инженера М.В. Брайкевича в Одесское общество изящных искусств от 14.11.1910 № К271.

Во втором письме, за № К273, директору имени великого князя Владимира Александровича художественного училища Общества изящных искусств в Одессе Александру Андреевичу Попову М. Брайкевич сообщает:

«…выработайте эскизик медали маленькой примерно с полтинник размером (приблизительный диаметр 26-27 мм, вес 10 г. – **Прим. авт.**). На ней должно быть написано на одной стороне «От Одесского общества изящных искусств достойнейшему», на другой «Окончившему Х имени ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА художественное училище Одесского общества изящных искусств ……» (место для фамилии ученика). Закажу эти медали лет на 25. И в этом году выдадим первую.

Я не желаю, чтобы получаемые при медали деньги (по моему соображению, около 230-240 р.) имели благотворительный характер, т. е. хочу, чтобы их получал просто талантливейший. Если это будет небогатый человек, каких у нас громадное большинство, то они могут служить ему подспорьем в первый год жизни в Петербурге в Академии, ибо первый год в чужом городе особенно

трудно. Если бы на редкость ученик оказался со средствами, может истратить на какую-нибудь полезную ему поездку…»*

Директор училища выразил признательность и благодарность от себя лично и от педагогического совета училища и обратился за разъяснениями:

«…имея в виду выслать Вам в самом непродолжительном времени эскиз медали, которую предполагается ежегодно выдавать лучшему ученику этого училища, позволю себе обратиться к Вам с просьбой разъяснить, как поступить при этом ввиду существования в училище двух отделений: живописно-скульптурного и архитектурного, выдавать ли ее [медаль] поочередно, т. е. один год способнейшему ученику живописно-скульптурного отделения, а в следующем году такому же ученику архитектурного отделения или, быть может, Вы найдете более удобным выдавать ежегодно по одной медали способнейшему ученику того и другого отделения.

Быть может, в таком случае можно было бы разделить между двумя учениками и стипендию; если же талантливым окажется один ученик, то он получает кроме медали стипендию полностью».**

М. Брайкевич все же настоял на своей точке зрения – чтобы медаль была одна и выдавалась наиболее талантливому ученику, вне зависимости от того, окончил он живописно-скульптурное или архитектурное отделение.***

30 мая 1912 года окончивший архитектурное отделение училища Александр Удаленков получил стипендию в размере 200 руб.**** Это первая документально подтвержденная премия Брайкевича.

---

* См.: ГАОО, ф. 367, оп. 1, д. 22, л. 11. Письмо инженера М.В. Брайкевича директору Художественного училища Общества изящных искусств в Одессе А.А. Попову от 14.11.1910 № К273.

** См.: ГАОО, ф. 367, оп. 1, д. 22, л. 3. Письмо директора Художественного училища Общества изящных искусств в Одессе А.А. Попова М.В. Брайкевичу от 03.12.1910.

*** См.: ГАОО, ф. 367, оп. 1, д. 22, л. 10. Письмо инженера М.В. Брайкевича директору Художественного училища Общества изящных искусств в Одессе А.А. Попову № И17.

**** См.: ОННБ, отдел искусств: Отчет о деятельности Одесского общества изящных искусств за 1909-1912 гг. // Отчет Одесского общества изящных искусств за 1909, 1910, 1911 и 1912 гг. – О., 1913, с. 38.

Для справки: Удаленков Александр Петрович (1/14.04.1887-14.02.1975). Родился в дер. Вепря Кашинского уезда Тверской губернии. В 1895 году переехал в С.-Петербург. В 1898-1909 – типографский рабочий в Экспедиции заготовления государственных бумаг. С 1907 года – гравер. В 1908 году окончил рисовальную школу Императорского общества поощрения художеств, в 1912 году – Одесское художественное училище. В 1917 – Петроградскую Академию художеств. Штатный архитектор Императорской Академии наук. С 01.06.1932 – действительный член Академии истории материальной культуры (Институт археологии АН СССР). В 1935-1949 гг. – профессор Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта. В 1945-1948 гг. руководил археологическими работами по восстановлению церквей Новгорода. С 27.06.1949 года – епархиальный архитектор, сотрудник ГИОПа, руководитель архитектурной мастерской. Арестован 01.12.1949. Осужден на 25 лет. После апелляции срок сокращен до 10 лет. В 1956 году освобожден. Проживал в Крыму, скончался в Ленинграде.*

С середины 1920-х годов руководил ЛО Центральных научно-реставрационных мастерских. Реставрировал храмы в Москве, Ферапонтово, Старой Ладоге, Новгороде, в Александро-Невской лавре. С 1945 года возглавлял архитектурную мастерскую при Управлении по делам архитектуры Ленгорисполкома.**

По неизвестным причинам премия состоялась, а медаль так и не была изготовлена. Нет ее следов ни в архивах, ни в музеях, ни в частных коллекциях.

* См.: ЦГА СПб, ф. 9324, оп. 2, д. 38, л. 112.

** См.: Охрана памятников Санкт-Петербурга / Сост. Ю.Ю. Бахарева. – СПб., 2008.

Владимир Серебро

Семейный архив

Наша семья имеет глубокие одесские корни. А ее дом – точнее, квартира или дача – соответствовал понятию «открытый дом» в сугубо российском культурном смысле. Понятие это включает все тонкости душевного состояния людей, в нем живших: их ум, образование, профессиональная деятельность и любовь к людскому общению. Двери дома – в городской квартире и на даче – всегда были широко раскрыты для многих, не только одесситов, но и гостей из других больших и малых городов, разбросанных по всей территории государства. Гости бывали часто, были они людьми различных возрастов, профессий, знаний, званий и квалификаций, и даже вероисповеданий. Существовала ли между ними некоторая общность? Несомненно. Я бы ее назвал – истинная интеллигентность. (Таковая, по моему мнению, меньше всего зависит от образования.) Имена многих побывавших в нашем открытом доме были в свое время известны не только одесситам, но, пожалуй, и всей стране. Некоторые из этих имен стали достоянием государственного уровня. Общение со многими было многолетним, не только личным, но и эпистолярным. Могу с уверенностью сказать, что гости любили наш дом. Им приятно было находиться в сердечной атмосфере, которая создавалась родителями моей жены Лили Беленькой. Были они людьми незаурядными и дореволюционного воспитания. Обстановка в их доме была уютной: старинная мебель, масса книг, картины и фотографии на стенах и немного предметов антиквариата. Более подробные сведения о доме читатель может найти в моих мемуарах, опубликованных в 2005-2015 годах. Здесь же я вынужден кратко повториться только для того, чтобы читатель понял, в каких условиях

архив рождался и почему он мог оказаться (и оказался!) внушительным. И чтобы подчеркнуть, что в нем отразились все особенности быта семьи и ее психологического климата.

При наших с женой сборах в эмиграцию – а было это после смерти ее родителей – сохранность архива и, естественно, его перевозка в другую страну оказались довольно сложной проблемой. К счастью, ее решением оказался багаж, отправленный морем через Израиль. Когда пишутся эти строки, архив сосредоточен в квартире, где протекала наша, а теперь только моя одинокая, к моему несчастью, эмигрантская жизнь. Основная часть родительского бумажно-документального архива хранится в большом комоде, одна из половин которого – это полки, другая – выдвижные ящики. Многие предметы архивного характера (документы поздних лет, книги, антикварные вещицы, картины) нашли приют в шкафах, на письменных столах и в них, на декоративных полках и на стенах.

Начну с комода. Документы поколения дедушек-бабушек наиболее старые. Меня когда-то давно поразили врачебные дипломы Швейцарского и Дерптского университетов. Их существование объясняется просто: в царской России евреям трудно было получить медицинское образование. А поразили они меня размером и живописностью оформления. Современный человек может воспринять их как театральную афишу… Родительские же подобные документы – это скромные коричневые книжицы: свидетельства о высшем образовании, о научных степенях и званиях. Что касается аналогичных документов последующих поколений, то они, документы, пребывают пока в ящиках письменных столов и на книжных полках. Но, видимо, когда-то переместятся в комод.

Почетное место в комоде занимают две большие коробки, в основном с рукописями Лилиных родителей: одна – отца, другая – матери. Рукописи эти – мемуарные записки. Часть из них – те, которые относятся к периоду первой мировой войны и первым послереволюционным годам, мне удалось опубликовать в начале нынешнего века. Отцовские тексты увидели свет под званием «Окаянные дни глазами доктора» (М.С. Беленький), а материнские – «Дом на Черноморской» (Л.Я. Ландесман-Беленькая). Тексты эти интересны не только историческими фактами,

но и изящным литературным стилем. Здесь я должен объясниться. Название первому очерку я придумал под влиянием, конечно, «Окаянных дней» великого Бунина. Оба текста сближают время, место и чувства…

В моей книге «Истории одесского открытого дома» есть очерки о моих и Лилиных родителях. При написании двух последних – «Хозяин открытого дома» и «Хозяйка открытого дома» – точнее, их первых страниц (периода до моего рождения), я пользовался упомянутыми выше мемуарными рукописями. Если судьба будет ко мне милостива, постараюсь подготовить к печати новые разделы родительских мемуаров. Но более надеюсь на молодые поколения…

Коснувшись выше изящества литературных текстов, не могу не рассказать, что одна из папок архива – это номера литературно-художественного и научного рукописного альманаха, который братья Беленькие издавали в молодые годы. Кстати, у Моисея Самойловича было шесть братьев. Все они – люди незаурядные. Судьба трех из них оказалась трагической, но это тема для отдельного и долгого разговора. Вернусь к альманаху. На одном номере стоит дата 1909 год, на другом – 1911 год, на третьем – 1912 год. В них стихи, проза и, действительно, научные статьи. Одна, например, называется так: «Об употреблении пневматических шин для аэропланных колес системы Парсеваль». В ней приведены математические формулы и соответствующие вычисления. Все тексты альманахов написаны великолепным каллиграфическим почерком. Многие иллюстрированы рисунками, в некоторых заметно влияние модернизма и пуантилизма.

Один из ящиков «архивного» комода заполнен альбомами с рисунками Моисея Самойловича. Дело в том, что он, врач, прекрасно владел карандашом и пером. Его рисунки настолько хороши, что при подготовке к эмиграции пришлось съездить в столицу за разрешением министерства культуры на их вывоз за границу. В альбомах много зарисовок бытовых сцен, пейзажей и портретов, сделанных в Одессе, Берлине, Западной Украине, Ташкенте и на многих курортах, где он побывал как консультант. Курортолог он был весьма известный. С некоторыми рисунками М. С. читатель может познакомиться по моим воспоминаниям.

Здесь же я не могу удержаться от соблазна рассказать о судьбе одного из них – наброска рисунка И. Бабеля, сделанного в нашей одесской квартире в 1936 году. Его копию я переслал внуку писателя Андрею Малаеву-Бабелю. В ответ получил следующее: «Спасибо Вам огромное за рисунок. Он очень живой, в нем хорошо схвачено «бабелевское». Кроме того, со стороны Вашего тестя это был мужественный поступок – сохранить этот набросок».

И. Бабель. Одесса, 1936 г. Рис. М.С. Беленького

Тем, кто знает историю жизни и смерти писателя, последняя фраза говорит об очень многом…

Значительное место в архивном комоде занимают фотографии. Их великое множество. Они берут свое начало с конца XIX века и охватывают времена пяти поколений. Кроме того, много подаренных друзьями и гостями нашего дома. Фотографии хранятся в альбомах, многочисленных папках, пакетах и конвертах. Приведение их в порядок – это трудоемкая и длительная работа. Но она необходима. Ведь наша фототека представляют не только семейный, но и историко-этнографический интерес. В фотографическом изобилии есть и один упорядоченный и красиво оформленный раздел – это история Лиленьки, дочери М. С., от рождения до полного взросления. Фотографии эти размещены в нескольких альбомах в строго хронологическом порядке. Под каждой – короткий текст или слово. Все они и их размещение в альбомах – дело рук отца, который увлекся фотографическим искусством еще в те стародавние времена, когда оно только зарождалось.

Но на одной фотографии из семейного архива остановлюсь особо. Сразу скажу, почему. Это портретный большого формата снимок великой актрисы А.А. Яблочкиной. На паспартỳ она

написала: «Превосходному доктору и интереснейшему собеседнику глубокоуважаемому Моисею Самойловичу Беленькому с большой сердечной признательности и сердечной благодарности и глубокой благодарности на память от его пациентки А. Яблочкиной».

С завалом фотографий нашего архива соперничает множество писем. Это результаты многолетней переписки с родственниками, друзьями, коллегами, знакомыми, учителями и учениками. Некоторые из них написаны красивым почерком, но многие – трудно читаемыми буквами и сползающими строчками. Это письма людей в возрасте: Е.П. Пешковой, Т.В. Ивановой, А.Я. Бруштейн, Т.В. Шишмаревой, И.Л. Андроникова и др. На некоторых известных авторах писем, как и на героях фотографий, я еще остановлюсь. Здесь же назову только одного из них – это Патриарх всея Руси Алексий I. Писем несколько. Из них видно, что отношения между пациентом и врачом были сердечные. Удивляться нечему: оба участвовали в первой мировой войне в офицерских званиях, оба в свое время получили соответствующее образование и воспитание. Оба охотно, даже с удовольствием погружались в исторические и культурные события. При общении нередко переходили на французский и немецкий языки.

Все разговоры о хранении фотографий и писем имеют смысл, если они выражают мысли и чувства людей родных и не родных, но более или менее значительных и, конечно же, известных. Первые, понятно, вне конкуренции. А вот остальные… Поименно называть всех не буду. Итак: актеры московского Малого театра 30-х годов (А. Яблочкина, чета Рыжовых, В.В. Массалитинова, В.Н. Пашенная и др.), 2-го МХАТа (И.Н. Берсенев, С.В. Гиацинтова, С.Г. Бирман и др.), К.В. Пугачева, гуманитарии (А.А. Ахматова, И.Э. Бабель, акад. В.М. Жирмунский, семья Всеволода Иванова, А.Я. Бруштейн, Н.Я. Мандельштам, С.И. Липкин, С.Я. Боровой и др.), врачи (акад. В.П. Филатов, А.М. Сигал, Б.Е. Франкенберг, Р.О. Файтельберг), технари (член-корр. А.Н. Вейник, Б.А. Минкус, В.М. Шестопал), крупный военачальник и государственный деятель С.А. Ковпак. Список этот хочу завершить банальным утверждением: людская память не безупречна, особенно в преклонном возрасте…

В этом месте я решил перейти на скользкую тропу и включить в семейный архив и домашнюю библиотеку, и даже некоторые вещицы, мелкие по размерам, но оказавшие на многих членов семьи значительное психологическое и даже творческое влияние. Много раз приходилось слышать: книги в семьях хранят тепло рук предков. Но дело не только в этом. Наша домашняя библиотека хранит знания, вкусы, квалификацию, стили поведения и даже авторитет членов семьи. Если угодно, и ее историю. В одних книгах упоминаются родные имена, в других – наших друзей и знакомых, в третьих события, оказавшие на семью заметное влияние. На книжных страницах я часто встречаюсь с людьми разной степени близости – от шапочной до родственной. На наших книжных полках много ценных книг и альбомов по искусству. Один из них называется «Дрезденская галерея». Этот альбом – мой свадебный подарок жене, который я преподнес 6 марта 1955 года, то есть в день нашего бракосочетания. Разве он не предмет для семейного архива? А книги и оттиски статей, написанных родственниками ушедших поколений? Как относиться к книгам, на которых авторские дарственные надписи? К архивной ценности я бы отнес и около полутора десятков книжных публикаций, в которых фигурируют и члены нашей семьи. В качестве примера приведу описание Паустовским санатория доктора Ландесмана. А как поступить с более чем четырьмя десятками моих статей сугубо мемуарного характера? Еще дальше отступлю от порога скромности: что делать с моими научными публикациями – пятью книгами и двумя сотнями научных статей (чтива для последующих поколений, конечно, скучного, но все таки…)?

А.А. Ахматова. Ташкент, 1943 г.
Рис. М.С. Беленького

Овдовев, я начал запойно читать и перечитывать книги из домашней библиотеки. Это мой способ борьбы с тоской. Во многих из них я встречал на страничных полях карандашные пометки, замечания, уточнения, сделанные Лиленькой. Нередко я натыкался и на вставленные между страницами рукописные листочки с ее же развернутыми мыслями о прочитанном. Вид родного почерка и глубина ее погружения в тексты меня потрясали и потрясают. Сохранились также толстые тетради и блокноты с ее объемными текстами о книгах и с планами по ознакомлению с новыми. Разве все это не важная часть (возможно, и самая важная часть!) семейного архива?

К жемчужинам семейного архива я бы причислил и шкаф, заполненный старинными книгами. Их букинистическая ценность несомненна. В качестве подтверждения приведу примеры. «Сто басен на английском, французском и немецком языках» с иллюстрациями ручной раскраски. Книга издана в Берлине, судя по ее бумаге, в конце XVIII – начале XIX века. На книге есть владетельская подпись 1842 года. Издание «Театр Коцебу», язык немецкий, шрифт готический, шесть томов, годы изданий 1801-1815. Книга «Прогулки художника по Рейну», язык французский, издана в Париже, иллюстрации Тернера и Стенфилда. Книга «Чувственное путешествие Стерна во Францию» с посвящением Державину, опубликована в Москве в 1803 году. Из более поздних изданий можно назвать полное собрание сочинений Пушкина в 10-ти томах издательства Брокгауза и Ефрона (1911 г.), Лермонтова в одном томе издательства Ф. Павленкова (1910 г.) и Гоголя в одном томе объемом 976 страниц издательства Товарищества М.О. Вольф. Такие книги в руках – это прикосновение к святому.

Теперь о том, что выше я назвал вещицами. В качестве соответствующих примеров назову старинные серебряные чернильные приборы и мелкую пластику из бронзы и чугуна, стоявшие на письменных столах в нашей одесской квартире. Среди этих вещиц две бронзовые фигурки – рыцаря и мушкетера – особенно примечательные. По воспоминаниям М. С., они были изготовлены то ли одесским ювелиром Рухумовским, то ли его учениками. Да, да, это именно тот Рухумовский, который изготовил золотую фантастически красивую копию короны скифского царя. Плод труда этого замечательного мастера выглядел столь великолепно,

Дом в районе хутора Рено, в котором останавливался Николай I в 1828 г. Рис. М.С. Беленького. 1923 г.

что тиара была продана Лувру как оригинал и, естественно, за большие деньги. В свое время это событие было мировой сенсацией. Что же касается вещиц из чугуна, то они – произведения известного Каслинского завода. В список памятных «вещиц» я бы добавил и трость Е.П. Блаватской, серебряный подстаканник И.А. Рыжова, картину Р.Д. Нейдинг «Букет сирени», гравюры Т.В. Шишмаревой, К.К. Ковтурмана и А.Б. Постеля, ну и, конечно же, графику самого М. С. – портреты, пейзажи и бытовые сценки. И список этот можно продолжать и продолжать…

Итак, семейный архив – это не только старые документы, письма и фотографии, но и многое другое, что хранит и передает семейный климат, что провоцирует душевный отклик. Он ствол, к которому прививалась побеги людского развития. Он, конечно, не хранитель тайн мироздания, но крупица человеческого опыта и морали.

Проблема семейного архива не столько материальная, сколько моральная и даже духовная. Ее решение облегчает или даже открывает путь к родным и любимым душам, парящим над нашим миром. Семейный архив – нравственный фундамент наследства. О, как бы хотелось, чтобы уважение к такому архиву стало нормой человеческого бытия. Очень надеюсь… Я оптимист, к тому же доверчивый. Отталкиваясь от известной русской фигуры речи, могу сказать: чем больше того, за что я ратую, тем меньше людей, не помнящих родства. И чем крепче семейные традиции, тем долговечнее и устойчивее семьи.

Ну а что же касается качественных тонкостей, то они связаны с вкусовыми оценками… Многообразие таковых неисчерпаемо.

Инна Арутюнова

Двор на Большой Арнаутской, 61

Если вы считаете, что язык Бабеля и его дворы были только на Молдаванке, вы глубоко ошибаетесь. Их можно было встретить и в самом центре Одессы, на углу Большой Арнаутской и Ришельевской.

…Двор в доме по № 61 на Б. Арнаутской (тогда Чкалова) в конце 1960-х – начале 70-х гг. Это был небольшой двор, где слева стояли одноэтажные домики с палисадниками, а справа – 2-этажные дома. Здесь жила моя сокурсница и сотрудница по университету (мы учились на вечернем отделении) Милочка Кацук. Я не изменяю в своем рассказе имена и фамилии – хочется, чтобы они остались в памяти. Милочка – красивая девушка с зелеными глазами, высокой грудью и тонкой талией – могла считаться эталоном красоты 60-70-х гг. Ко всему она была очень умна, предприимчива, в то же время сдержанна. Я никогда не слыхала, чтобы она на кого-нибудь повышала голос. Милочка была чистокровной украинкой (если, конечно, кто-нибудь может быть в этом уверен в отношении себя после тех перипетий: переселения народов и войн в Средние и ближние века), но это не мешало ей отлично знать украинский, русский и идиш. Кто из нас, живших в первую половину XX века в одесском дворе, не знал сколько-нибудь идиш? А одесский акцент был неистребим.

И вот Милочка, окончившая университет с красным дипломом, могла, к примеру, сказать так: «Бабушка, я иду с Инной немножко в кино». Она жила с бабушкой и котом Фридоном, подобранным ею умирающим на улице и получившим кличку в честь одного из героев «Витязя в тигровой шкуре» Ш. Руставели. Любовь к грузинской литературе закончилась для Милочки

замужеством за замминистра мелиорации Грузии. Кот в благодарность за спасение освободил двор от крыс, в отличие от других котов – бездельников, которые с крысами дружили. Мила, возвращаясь с работы домой, находила в палисаднике трупы крыс, сложенные в образцовом порядке: головы в одну сторону, хвосты – в противоположную. Кот сидел рядом с ними с видом действительно грузинского рыцаря-победителя. Убирать трупы приглашали соседа, которому все это скоро надоело, и он решил выдать Милу замуж за меховщика. Однажды он появился с довольно молодым мужчиной и, представляя его Миле, сказал ему: «Смотри, какая девушка. А сколько в ее палисаднике меха! Ты сшей ей шубу, и вы будете счастливы 120 лет».

Но другие соседи были очень довольны подвигами Фридона и носили ему угощение. Милочка реагировала так: «Фридончик, пройди к мадам Шор, мадам Цубенко и т. д. и поблагодари их за угощение».

Двор был дружный. Во дворе хозяйки чистили рыбу, готовили обед, красили волосы, делали педикюр (не сорить же, в самом деле, дома), обсуждали все новости и друг друга, правда, всегда без злости и зависти. Когда кто-то что-то готовил, то всегда угощали соседей. Сколько мне пришлось, помогая Миле, делать огромных тазов оливье, так как в любой момент кто-нибудь из соседей мог зайти, и не предложить угоститься было не в правилах этого двора. Кстати, если хозяин был дома, то все двери в теплое время года были нараспашку. Конечно, не обходилось без ссор, но это были ссоры без той страшной агрессии, с которой мы сталкиваемся теперь.

К примеру, я чуть не стала врагом двора, когда не смогла сдержаться от смеха, когда Люся, обожавшая Моцарта и не признававшая газовых плит, так как считала газ вредным, готовила обед на примусе, напевая и накачивая его под 40-й концерт Моцарта: «Та-та, та-та, татата». И вот мы с Милой слышим громкий плач Люси. Весь двор моментально выскочил из своих квартир. Люся, громко всхлипывая, поведала: «Я имела плащ «болонья», я его постирала и повесила на веровка, но его украли». Все как могли утешали Люсю. В это время во двор вошла мадам Иголкина. Они с Люсей не разговаривали лет 10. Но когда у человека горе,

то не до взаимных обид. (Это же Одесса!) «Люсенька, дорогая, что случилось? Я была у своих внуков, чтоб они были здоровы, сволочи, как они плохо кушают! И я ничего еще не знаю». «Ах, Фрумочка, – говорит сквозь слезы Люся, – у меня был плащ «болонья». Если бы я видела его на асфальт, я бы его в жизни не подняла. Но он был мой, и я его постирала, повесила на веровка, и его украли» (я сохранила текст так, как они его произносили).

«Теперь всё, – сказала маленькая толстая, похожая на колобок Фрума. – Я теперь дома и наведу порадок. Это все из-за кафе напротив. Они там едят мороженое, пьют шампанское, а к нам идут писать». В это время во двор зашел импозантный мужчина средних лет. Увидев Милу, он превратился в мартовского кота, глаза заблестели. Фрума подкатилась к нему, как колобок: «Молодой человек, вы к кому?». «А вам какое дело!» – огрызнулся он, плотоядно поглядывая на Милу и пытаясь произвести на нее впечатление.

«Молодой человек! – снова к нему обратилась Фрума. – Я вам как родная мать говорю: если вы хотите писать, то это не здесь». Никто, кроме меня, не оценил комичности ситуации, поэтому на меня смотрели волком.

У Фрумы Иголкиной были дочь и сын. Сын был влюблен в Милу, и весь двор был «за свадьбу». Сын работал поваром в ресторане «Театральный» и носил Миле курицу и почему-то чай.

Вспомнился мне такой случай. Мы сидели с Милой на тахте и готовились к экзамену. Входная дверь, как полагается, была открыта. Вдруг входят мама и дочь Иголкины. И «ни тебе здрасьте» – продолжают начатый между собой диалог, не обращая на нас никакого внимания:

– Так Мила идет с ним к Шойхетам?

– Я уверена.

– А что она наденет?

И, не обращая на нас никакого внимания, Иголкины открыли шкаф и стали перебирать Милины платья. Наконец после довольно продолжительного осмотра и обсуждения остановились на каком-то платье, сунули его нам под нос и удалились. Я спросила Милу, знала ли она об этом приглашении, на что Мила ответила, что первый раз об этом слышит.

Во дворе жила еще одна забавная пара – Наумчик и Ида. Они всегда улыбались, были ко всем доброжелательны. Наумчик имел привычку ходить летом по двору в трусах и петь неаполитанские песни. Иногда к нему присоединялась жена, и они напоминали мне двух счастливых птиц, поющих от радости жизни. Как-то услыхала в открытое окно их разговор:

– Я уже накрыла на стол, Наумчик. Поставь посередине бутылка лимонад.

– Зачем? У нас уже стоят водка и вино.

– Ах, чтоб было красиво!

Еще во дворе жила Риточка Ованесян с 5-летним сыном Артурчиком, «вождем краснокожих». И вот такая картина: Артурчик привязал к тушке курицы веревку и носится с ней по двору. С дальнего противоположного окна раздается голос: «Риточка, ты была на Привозе. Какие там сегодня цены? Почем ты брала курицу?». Рита подробно рассказывает о ценах и, в свою очередь, спрашивает: «Откуда вы знаете, что я купила курицу?» – «Ах, твой Артурчик уже час таскает ее на поводке по всему двору, а за ним все наши кошки».

Не так давно я побывала в этом дворе. На воротах кодовый замок, но я проникла во двор, который уже не то, все перестроено. Иголкины, Люся и Наумчик уехали: кто в Америку, кто в Израиль. Моих старых знакомых уже тоже нет: кто уехал, кто приехал. Я сама себе напомнила последние кадры кинофильма «Покровские ворота», где герой стоит у своего бывшего разбитого дома. У меня та же ностальгия. Я все пишу об уходящей Одессе. А как быть с уходящим духом Одессы?

Одесский календарь

76 Александр Бирштейн
Прогулка по улице детства

Александр Бирштейн

Прогулка по улице детства

Из рассказов старожилов

Улица Жуковского… В «девичестве» Почтовая. С волнением приступаю к рассказу о ней. Дело в том, что на этой улице я родился и прожил более двух десятков первых своих лет. Происходило это в доме № 7, о котором написано несколько сотен – да-да! – рассказов. Но об этом доме потом. А пока…

Как я уже сказал, раньше улица называлась Почтовой. Интересно, что народное это название появилось раньше официального. Дело в том, что на месте бывшего дома № 33 в 1816 году была открыта почтовая контора. Хотя официальным началом почтового сообщения в Одессе следует, наверное, считать 1803 год, когда в Петербурге специально для первого градоначальника Одессы герцога Армана де Ришелье была составлена инструкция по проведению почтовых операций. Однако почтовая связь осуществлялась здесь и раньше. К слову, наиболее ранним из известных нам почтовых отправлений является письмо, адресованное в Тираспольский уездный суд, находившийся в то время, в 1798 году, в Одессе, формально принадлежавшей Тираспольскому уезду Херсонской губернии.

В 1823 году на углу нынешних улиц Жуковского и Екатерининской построили здание почты, ставшее центром почтового сообщения всей губернии. Главпочтамтом, по-нашему. Отсюда и пошло первое название улицы.

Что же касается ее переименования, то оно было реализацией специального постановления Городской думы от 29 января 1902 года, приуроченного к 50-летию со дня кончины выдающегося российского поэта Василия Андреевича Жуковского (1783-1852).

Кстати, во времена, предшествовавшие мощению улицы, она в народе носила название Болотной, так как была одной из самых грязных в городе.

Улица начинается на замыкающей ее Канатной и заканчивается пересечением с Преображенской. Первые ее номера, от Канатной до моста, связаны с именем купца Якова Новикова, имевшего там шесть собственных домов. Там же находились и домовладения графини Сабанской, и титулярной советницы Ковалевской. Впрочем, те здания давно перестроены, а «магазины» канатчика Новикова стали жилыми домами. В прежнем виде частично сохранились только строения под номерами 2 и 7. То же происходило и вдоль всей улицы.

Я буду рассказывать вам лишь о тех домах, где жили люди, сыгравшие значительную роль в истории города, страны, а иногда – и мира.

Таким был, например, дом Абазинского, № 4, построенный в 1881 году архитектором А.Э. Шейнсом. Впрочем, в парадной слева при входе во двор указана другая дата – 1865 год. Примерно такого же возраста и флигель во втором дворе, выходящий окнами на нынешнюю улицу Бунина. Еще одно разночтение имеется и с определением прежних владельцев дома, ибо некоторые справочники указывают на Х.И. Мировского и М.М. Магнера.

Сюда с улицы Еврейской, 1, переехала однажды семья Жаботинских – мать Ева Марковна и дети, Тереза и Владимир. Тереза (Тамара) впоследствии стала учредителем частной женской гимназии, а ее брат Владимир (Зеев) Жаботинский – писателем, журналистом, поэтом, переводчиком, а главное – лидером правого сионизма, основателем и идеологом движения сионистов-ревизионистов, создателем Еврейского легиона… В некоторых источниках указано, что Жаботинский жил тут с женой Анной и сыном, но я остаюсь при своем мнении и информации.

Владимир (Зеэв-Вольф, Вольф Евнович) Жаботинский родился в Одессе 18 октября 1880 года (12 хешвана 5641 года) в ассимилированной еврейской семье. Отец Евно (Евгений Григорьевич) Жаботинский, служащий Российского общества мореходства и торговли, занимавшегося закупкой и продажей пшеницы, был выходцем из Никополя; мать Хава (Эвва, Ева

Марковна) Зак (1835-1926) происходила из Бердичева, правнучка Маггида – из Дубно.

В. Жаботинский с 16 лет начал публиковаться в крупнейшей в России провинциальной газете «Одесский листок», сотрудничал и в других изданиях, даже столичных. Был он другом детства и юности другого нашего земляка – Корнея Чуковского, публикации первой статьи которого активно способствовал. «Он ввел меня в литературу», – говорил о Жаботинском Чуковский.

Именно Жаботинский выдвинул идею, что сионистам следует однозначно принять сторону Антанты и сформировать в составе ее сил еврейскую армию, которая бы приняла участие в освобождении Палестины, а затем стала костяком организации там еврейского государства. Находясь в Египте, он совместно с Иосифом Трумпельдором сформировал в составе британской армии Еврейский легион. Эти события Жаботинский впоследствии описал в книге «Слово о полку» (1928 год). Кроме того, он резко отрицательно относился к активному участию евреев в Февральской и Октябрьской революциях.

Пик литературного творчества Жаботинского, чей литературный талант отмечали Горький и Куприн, пришелся на период между первой и второй мировыми войнами. Тогда им были опубликованы романы «Самсон Назорей» (1926) и «Пятеро» (1936), мемуары «Повесть моих дней» (на иврите, русск. перевод 1985) и «Слово о полку» (1928).

Автобиографический роман «Пятеро» (1936), изображающий трагическую судьбу еврейской семьи, ассимилировавшейся в Одессе в 1905 году, – одно из лучших прозаических произведений 1930-х годов.

В доме № 5, построенном в 1934 году для моряков торгового флота, жила поэтесса Вера Инбер. Она была двоюродной племянницей Льва Троцкого и все дни после его изгнания была постоянно готова к самому худшему. Инбер писала правильные стихи, голосовала за кого надо и… все равно боялась. Вера Инбер написала много книг, но в памяти потомков чаще всего всплывает своей песенкой «Девушка из Нагасаки».

А 5-й и 7-й дома все еще спорят о том, в каком из них жил знаменитый Лева Задов (Лев Николаевич Зиньковский), про-

тотип одного из заметных персонажей романа-трилогии А.Н. Толстого «Хождение по мукам», имя которого обросло домыслами и легендами.

П. Аршинов: «Начальник армейской контрразведки, а впоследствии – комендант особого кавалерийского полка. Рабочий. До революции пробыл свыше 10 лет на каторге (!) по политическому делу. Один из активнейших деятелей революционного повстанчества».

Алексей Толстой: «Имя Левки Задова знали на Юге все не меньше, чем самого батьки Махно. Левка был палач, человек такой удивительной жестокости, что Махно будто бы даже не раз пытался зарубить его, но прощал за преданность…».

На самом деле Алексей Толстой, пользуясь как художник правом вымысла, своего Леву Задова, конечно, выдумал. Выдумал от внешности героя до его биографии.

Доподлинно известно, что Л. Зиньковский не был одесситом, как писал о нем А.Н. Толстой. Он родился в 1893 году в еврейской земледельческой колонии Веселая в семье крестьянина. В 1900 году семья переехала в Юзовку, где ее глава занялся извозом. Таким образом, Алексей Толстой, в общем-то, был прав, когда писал, что Левка Задов – сын биндюжника, но только не с Пересыпи, а из Юзовки. Лева Задов, если принять во внимание его природные способности, вполне мог бы окончить с золотой медалью реальное училище (как придумал А. Толстой), если бы он туда поступил. Но Левку отдали в хедер. В русской школе он вообще не учился. Трудно представить себе, как мог начальник контрразведки махновского корпуса, а впоследствии полковник госбезопасности НКВД, составлять деловые бумаги.

Впрочем, до этого еще далеко. Служба в Красной Армии, служба у Махно, бегство за Днестр, возвращение, служба в органах НКВД… Богатая биография, правда? Не без оснований говорили, что Лева Задов, вернувшийся в СССР в 1924 году, купил себе жизнь и высокую должность, выдав чекистам места расположения кладов Махно. Но сколько веревочке ни виться…

Его арестовали 3 сентября 1937 года. Обвинили в связях с иностранными разведками, прежде всего с румынской. Ну и расстреляли, конечно.

Впрочем, № 7 вполне может забыть об этой одиозной личности, ибо в этом доме родился… я! Шутка, конечно.

Дом был известен и другими подробностями личной истории. Своими банями, например, просуществовавшими более ста лет. В советское время последняя баня существовала под гордым номером один и была весьма посещаема жителями окрестных улиц. В этом же доме до 1956 года была винарка, а напротив будка, где торговали пивом. Можете себе представить, как весело тут было, допустим, по субботам. Разумеется, после бани…

Собственно, они неразделимы – дом и мост, одно из первых капитальных сооружений в Одессе, которое в начале 1820-х годов соединило оба склона Карантинной балки и тем самым обеспечило надежное транспортное сообщение между отдельными участками Почтовой улицы. До того обозы, направлявшиеся в гавань, вынуждены были спускаться на дно балки. Маршрут был настолько опасным, что на ночь въезд в Карантинную балку с обеих сторон Почтовой перегораживался цепью. Поэтому сначала через овраг был перекинут деревянный мост. Но он не отвечал облику Почтовой улицы, и вскоре был построен каменный, в основном на средства Якова Новикова.

За мостом ныне появились две высотки – монстры, которые, как по мне, улицу не украшают.

На углу Жуковской и Польской мне нравится бывшее здание бывшей Одесской конторы Российского государственного банка, построенное в 1880-1881 гг. архитектором В.Ф. Маасом.

Членом учетного комитета банка от купечества был и Василий Сильвестрович Кандинский, потомственный почетный гражданин города, отец выдающегося русского живописца, графика и теоретика изобразительного искусства, основоположника абстракционизма Василия Васильевича Кандинского.

Позднее тут располагались казармы пограничников, потом – морская прокуратура. Сейчас офисы, офисы, офисы…

Интересен и дом № 13. Прежде всего – владельцем. Первоначально это был склад Л. Герри, возведенный в 1845 году по проекту архитектора И.О. Даллаква и впоследствии перестроенный под доходный дом, владельцем которого стало семейство Анатра. Этот дом принадлежал семейству Анатра вплоть до революционных лет.

Семейство Анатра владело несколькими доходными домами, банками, входило в различные общества и правления других банков, занималось реализацией автомобилей и постройкой самолетов… Существовал Торговый дом «Братья Анатра», занимавшийся пароходным и транспортным бизнесом. Это семейство заслуживает отдельного рассказа.

Пристальное внимание привлекает дом на Жуковского, 18, – здание бывшей Бродской синагоги. Ее история связана с еврейскими переселенцами из Австрии и Германии, которые начали заселять Одессу с 1820-х гг. Их называли «бродскими» евреями по имени города Броды в Галиции (сейчас это Западная Украина). Здание построено в 1863 г. по проекту зодчего И.Н. Колловича. Это первая на юге империи хоральная синагога, в которой богослужение проводилось с музыкальным сопровождением. Хоральные синагоги имели помпезные формы, величественные силуэты, оригинальные купола; они стремились отразить в архитектурных формах пафос древнейшей еврейской святыни – Иерусалимского Храма, одновременно придавая зданию более светский, европейский характер. В этих синагогах была прекрасная акустика. В Бродской синагоге пел непревзойденный П. Миньковский, а регентом был всемирно известный композитор Д. Новаковский.

Бродская синагога стала первым реформистским храмом в Российской империи. Она навсегда запечатлена в рассказах Бабеля.

С 1925 г. в здании синагоги содержится областной архив. Здание находится в аварийном состоянии, и его долго и нудно с 2011 года передавали одесской еврейской общине. Наконец недавно принято решение переселить архив аж в Александровку (село, известное лишь своей психушкой), что вызвало возмущение и специалистов, и просто жителей.

Далее стоит обратить внимание на дом № 22, где жил Исаак Бабель, наверное, самый известный из одесской плеяды писателей. Он создал величайшее, на мой взгляд, произведение – «Конармия». Но большинство читателей ценит его за цикл «Одесских рассказов».

Окна бывшей квартиры Бабеля выходят на дом № 24 – здание школы № 117. А перед школой на небольшой площадке

установлен памятник Бабелю, так ориентированный, что кажется, будто Бабель неотрывно и близоруко смотрит на свое бывшее жилье.

Памятник был открыт 4 сентября 2011 г. Идея его создания вызрела к 2007 году. Ее автор – вице-президент Всемирного клуба одесситов В. Хаит. Средства собирались по всему миру – среди бывших одесситов и просто неравнодушных любителей литературы. Победителем конкурса на лучший проект памятника стал московский скульптор Г. Франгулян, автор установленного на Арбате в Москве памятника Б. Окуджаве.

А напротив, на нечетной стороне улицы, красуется под номером 21 дом Шполянского, построенный в середине позапрошлого столетия. В начале прошлого века здесь проживала известная в городе личность – присяжный поверенный Осип Яковлевич Пергамент, юрист, общественный деятель и писатель. В 1894 году он выдержал перед юридической государственной комиссией серьезный экзамен и вступил в адвокатуру. Вскоре выдвинулся как уголовный защитник; в годы освободительного движения выступал в самых крупных политических процессах. Был депутатом Государственной думы. 6 мая 1909 года в петербургских газетах появилось сообщение: «Вчера в 7 часов вечера, умер член Государственной думы, присяжный поверенный округа С.-Петербургской судебной палаты Осип Яковлевич Пергамент. Смерть эта неожиданная и преждевременная – ему не было сорока лет – несомненно, стоит в непосредственной связи с привлечением его к следствию по делу о бегстве Ольги Штейн, защитником которой он состоял в последний раз, когда разбиралось ее дело… Какая причина этой странной смерти – говорят разно. Иные приписывают ее самоубийству, а именно отравлению, имевшему место еще в пятницу. Яд покойный, как говорят, носил всегда при себе. Другие – нервному потрясению, происшедшему от неожиданно полученного известия, подействовавшего на него угнетающим образом и приведшего к разрыву сердца».

Кто же такая Ольга Штейн, преждевременно сведшая в могилу О.Я. Пергамента? Ольга Григорьевна (Зельдовна) Штейн (урожденная Сегалович) – известная мошенница начала прошлого века. Она провернула не одну громкую аферу, но 13 авгус-

та 1906 года Ольга Григорьевна выйти сухой из воды не смогла, была арестована и препровождена в дом предварительного заключения. Обвинительный акт содержал солидный список ее преступлений. По данным судебных протоколов, только свидетелей и потерпевших набралось более ста двадцати человек. Ее жертвами были весьма состоятельные и даже богатые люди. Не брезговала Ольга и ограблением бедняков, доверивших ей последние сбережения.

Генеральша поняла, что ее ждет суровое наказание. Вот тут и подвернулся Осип Яковлевич Пергамент, посоветовавший Ольге Григорьевне бежать за границу, что она и сделала. Полиция долго не могла напасть на след аферистки, хотя тайно вскрывались все письма ближайшего ее окружения. Наконец сыщики обратили внимание на письмо из Нью-Йорка депутату О.Я. Пергаменту от некоей Амалии Шульц, которая просила выслать по указанному адресу некую сумму денег. Письмо было внимательно изучено. Почерк сличили с имеющимися образцами. Сомнений не оставалось: письмо писала Штейн. Аферистка была арестована американской полицией 25 февраля 1908 года в одной из гостиниц Нью-Йорка. Штейн доставили в Испанию, а затем переправили в Петербург.

Судебный процесс по ее делу возобновился 4 декабря 1908 года. Вот тут и всплыло имя Осипа Яковлевича Пергамента, уличенного в подготовке побега О.Г. Штейн. Его собрались арестовать…

Хоть это, в общем-то, не по теме, но, наверное, стоит рассказать о дальнейшей судьбе аферистки. Пергамент умер, а Ольгу Григорьевну Штейн приговорили всего лишь к 16 месяцам тюрьмы. Освободившись и сменив очередного супруга, Ольга взялась за старое. В 1915 году новоявленную баронессу фон дер Остен-Сакен вновь усадили на скамью подсудимых. От пяти лет тюрьмы ее спасла революция.

Но и при новом режиме ловкая мошенница не изменяла старым привычкам.

В 1920 году она «кинула» простого советского гражданина Ашарда – увела его драгоценности, пообещав взамен мануфактуру, крупу и сахар. Приговор гласил: пожизненные общественно-

принудительные работы. Мотая срок в Костроме, Ольга, разменявшая пятый десяток, соблазнила начальника колонии Кротова и бежала с ним в Москву. Здесь она вновь раскатывала на собственноручно угнанных авто и собирала пожертвования в пользу голодающих и инвалидов войны. Но в 1923 году Кротов, прикрывая Ольгу, погиб в перестрелке с УГРО. Схваченная мошенница позже обвинила его в изнасиловании, избиении, запугивании и использовании себя в неправедных делах.

И баронессу отдали на поруки родственникам. Любое доброе деяние наказуемо – вскоре легкомысленная родня лишилась всей своей наличности и в 1924 году Штейн приговорили к 12 месяцам лишения свободы условно. Это последняя официальная дата в ее уголовном деле. Мадам навсегда исчезла из поля зрения правоохранительных органов. Говорят, что вышла замуж за инвалида-красноармейца и до конца своих дней торговала квашеной капустой на Сенном рынке. Но это уже из области домыслов…

Следует сказать, что по сведениям А. Дроздовского и Е. Красновой, г-н Пергамент жил вовсе на Пушкинской, 72, в собственном доме.

А мы пойдем дальше. Недалеко. До перекрестка улиц Жуковского и Екатерининской. В 25-м номере, вернее, в специально выстроенном по проекту архитекторов Ф. Бунша и Ф. Фраполли доме, что стоял на этом месте, и располагалась первая одесская почта. Ныне там расположен Укртелеком.

Напротив, по четной стороне под номером 26, находится бывший торговый дом Кроне, построенный в 1902 году архитектором Ландесманом.

Дом 28 построен в 1841 году архитектором Л.В. Комбиаджо. Обращают на себя внимание барельефы на его стенах, символизирующие промышленность и сельское хозяйство.

Интересен и дом № 27, где с 1887 по 1913 годы проживал известный ученый-библиограф Михаил Федорович Комаров, в семье которого часто останавливалась Леся Украинка.

О выдающемся украинском библиографе, писателе, этнографе Михаиле Комарове стоит рассказать отдельно. Комаров – первый библиограф произведений Т. Шевченко. Его квартира стала местом встреч украинской интеллигенции. Тут бывали Михаил

Грушевский, Мария Заньковецкая, Михаил Коцюбинский, Иван Карпенко-Карый, Иван Нечуй-Левицкий, Иван Франко и, как уже говорилось, Леся Украинка. М. Комаров был одним из инициаторов создания «Просвиты».

На углу улицы Жуковского и Александровского проспекта, на месте дома протоиерея Покровской церкви и шахматного клуба расположился высотный дом, далее – здание гимназии № 1, бывшей школы 119.

Сама 119-я школа нынче принимает только младшеклассников и находится в доме напротив, в 39-м номере. Здание очень милое, построенное в 1836 году по проекту архитектора Боффо.

По этому адресу раньше функционировала женская гимназия О.Г. Шольп, где училась Вера Инбер. Математику в гимназии преподавал, кстати, Борис Федорович Цомакион. Он родился в Одессе 9 октября 1879 года, окончил одесскую 4-ю гимназию и отделение математических наук физико-математического факультета Новороссийского университета. Участник русско-японской и первой мировой войны, вышедший в отставку в чине прапорщика, он посвятил свою жизнь педагогике – преподавал в гимназиях математику и космографию. В 1920 году его в первый раз задерживала ЧК, но отпустила как нужного высшей школе специалиста. Повторно Цомакиона арестовали 24 января 1931 года – тут уж постаралась ОГПУ по Одесской области. Но и это дело было прекращено в связи с недоказанностью обвинения. Позже Цомакион стал профессором, членом-корреспондентом Академии наук УССР, заведующим кафедрой Одесского института связи. Он проживал на улице Баранова, когда в 1938 году был в третий раз арестован и на сей раз отправлен в ссылку, в Красноярский край на 5 лет. После ареста Цомакиона его жена, народная артистка Ольга Благовидова, публично, через прессу, отказалась от него. Тогда же был арестован и в 1939 году расстрелян брат Бориса Федоровича, прекрасный художник, профессор медицины Георгий Федорович Цомакион.

В 1943 году ссылка окончилась. Борис Федорович поселился в Красноярске и стал профессором местного педагогического института. За несколько дней до намеченного возвращения в Одессу он скончался. Случилось это в 1956 году.

Интересен и № 38 – Дворец культуры имени Леси Украинки. Он был возведен в 1954-55 гг. на месте разрушенного в войну Епархиального дома с церковью и дома Духовной семинарии (архитектор В.А. Маас).

Семинария носила название одесской и существовала на этом углу до 1903 года, когда получила новое пристанище на Канатной. Преподавал здесь дядя Валентина Катаева и Евгения Петрова Николай Васильевич Катаев. В годы войны в подвале этого дома работала подпольная радиостанция.

И, наконец, дом № 43, построенный в 1845 году архитектором И.О. Даллаква. Принадлежал он некому В. Левторопуло. А в 1911 году некоему Розенблату. А интересен тем, что тут в семье логопеда Копа в 1901-1903 гг. квартировал В. Жаботинский, о котором мы уже вспоминали.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Проза

87 **Сергей Рядченко**
Безумцы

128 **Ольга Яблонская**
Легенды и сказания о бабе Дине

134 **Елена Андрейчикова**
Чужие

164 **Ефим Гаммер**
Нобелевка

169 **Анна Коренева**
40 квадратов свободы, или Завтра будет новый день

172 **Игорь Паночишен**
Миниатюры

174 **Сергей Кравцов, Екатерина Бойчук**
Отмычка Соломона

Сергей Рядченко

Безумцы

(Опыт постижения)

Спор зашел о добре и зле.

На шестнадцатом этаже в общежитии на Галушкина.

Чтоб не просто так водку жрать.

А намедни генсек преставился, уж второй за пятнадцать месяцев. Так что было о чем послушать. И других, и себя любимых. Ну, февраль он вообще такой, склонен вьюгами за окном придавать уюты застольям. Слово зá слово, челом пó столу, и извлекся вдруг этот опус из стола одного из нас. Жил в столе, никого не трогал. Ну а тут ко двору пришелся. И сыскалась воля собрания его слушать много часов под закуску и смачность курева. Дело давнее, а запомнился.

В том рассказе, простом как жопа, проходила людская жизнь обитателей Солнцедара. Проходила весьма подробно, потому как иначе как же. Пробуждались все солнцедарцы ни свет ни заря по гудку для всех с Комбината. Это Он гудел для побудки, потому гудел полчаса. На будильник не надо тратиться. После этого со столбов из динамиков всем зарядка. Выходи, не ленись, на улицу и со всеми тут приседай, прогибайся и бей поклоны, и на месте дружно беги, а потом перейди на шаг, а потом к процедурам водным. Процедура на всех одна и простая, как кодекс жизни: сигануть со всеми в речушку, именуемую Широкой, переплыть туда и обратно в толкотне и общем азарте, можешь вплавь, а можешь пешком, лишь бы вымокнуть, как другие, разотрись и бегом домой. Быстрый завтрак и на работу. Вот как раз и гудок опять. И когда он, второй, умолкнет, все уже по своим местам. Тунеядцев нет в Солнцедаре: дети в школе с учителями, а при школе и детский сад под надзором Клавдии Львовны, у которой не забалуешь, и кует она

кадры школе, ну а школа дальше кует; остальные на Комбинате. Комбинат всем как мать родная, даже лучше, если подумать, если вдуматься и не ныть. Ну а ныть тут и не получится, ну а ныть тут попросту некогда, да и нечего, если вдуматься, если вдуматься и не ныть. Не сыскать в Солнцедаре нытика, и откуда ему тут взяться: из динамиков со столбов целый день в подспорье трудам, во славу их, раздаются марши и песни, и один марш другого бравурнее, а все песни – энтузиастов; и несутся слова их бодрые, и несутся медные звуки над домами и головами, над собаками и над птицами, над лесами и над полями, и над плесом речки Широкая, проникают в сердца и головы, и бушует в сердцах-головах восторг. И работа, конечно, спорится, и никто ни о чем не спорит, а о чем тут, скажите, спорить, если спорится все само.

В Солнцедаре транспорта нету. Потому что тут все удобно. Все тут близко. Все под рукой. Ну вот разве кинотеатр на отшибе в лесу построен, так не просто ж, а для здоровья. В выходные туда верст двадцать, но зато без гака, все честно. Ну а в будни туда не ходят, в будни сам он себе закрыт.

В Солнцедаре есть зоопарк. Но зверей в зоопарке нету. Но зато на клетках таблички, буквы крупные, шрифт понятный. Много тут диковинок всяких. Скот Ватусси. Конь Ворошилова. Патагонская Мара. Вомбат Батяня. Приходи, читай и дивись хоть до самого до закрытия. А зверей обещают к маю.

В Солнцедаре нет магазинов. И они тебе ни к чему. Потому что любой твой спрос Комбинат удовлетворяет адекватно твоим трудам и трудам твоего семейства – от продуктов до ширпотреба, от колбас до садовых соток, но числом не более трех, от фарфоровых пастушков со свирельками и пастушками, от носков с чулками, трусов и бюстгальтеров всех размеров, включая пятый, до консервов в томатном соусе и, конечно, печень трески, и бельдюга, и простипома. С дефицитом любым покончено. Мебель, правда, однотипична, но зато вместительна, и не сдвинуть, воротившись вечером с Комбината, ее двигать ни времени нет, ни сил, куда раз поставили шкаф с комодом, там они и стоят незыблемо до победы светлого завтра, а пока оно за горами, в Солнцедаре у каждой семьи в тех шкафах по скелету, а то и больше, и бывает, что выпадают, и тогда их кидают в речку, и Широкая их выносит в океан, поминай как

звали, и в семье в этот вечер праздник до утра под покровом ночи, свечи жгут и дымят кадилом, а наутро опять гудок. Тут нам сноска дана к скелету: Every family has a skeleton in the cupboard. И поскольку сноска на чужестранном, то для нас тут к ней перевод в духе жителей Солнцедара, что, мол, так, читатель, у всякой избушки, не взыщи, свои погремушки, а читатель себе и рад, с дорогой душой не взыскует, а взыскал бы, так был не рад бы.

В Солнцедаре одна газета, называется «Солнцедар». Ее каждый день доставляют и запихивают вам в ящик и при этом стучат вам в дверь. В Солнцедаре есть почтальон, почтальоном он тут в охотку, потому как давно немолод, а сидеть на печке не хочет. Все зовут его дядя Вова, он себя под Ленина мыслит, носит кепку, усы с бородкой, а под кепкой лыс как колено, а в глазах прищур с добротой; с толстой сумкой он на ремне, башмаки для него бесплатно, и еще Комбинат ему выдал лично плащ-палатку для непогоды, а еще ему разрешают на больших торжествах народных, что проходят два раза в год, подниматься к нам на трибуну и толкать по бумажке речь о победе добра над злом; и ему кричат: «Дядя Вова! Так им! Врежь им! Давай, дядя Вова! Покажи им кузькину мать!» – от чего дядя Вова плачет и поет «Интернационал». Дяде Вове живется сладко, умирать ему нет причин. А в газете, что он разносит, все, что нужно для солнцедарца. Там на первых трех полосах повторение – мать учения: куда движемся и зачем, каковы великие цели, кто вожди нам и их предтечи, изучай их чистые помыслы и деяния без изъянов, без сомнений и отступлений, а бесстрашно, только вперед, изучай и запоминай, назубок выучивай, падла, и хоти на них походить, возжелай от них одобрения, одобрения даждь нам днесь, а не то собьешься с пути, подведешь друзей и товарищей, захандришь и, конечно, сгинешь, так что, видишь, нету причин не читать тут каждое слово, а как раз же наоборот, мотивирован ты, товарищ, мотивирован на всю голову, чтобы каждое и прочесть да и слиться с ним в обалдении от грядущего благоденствия в благодарности нам за все; а не то, а не то, а не то, а не то… Ты учи, а мы завтра спросим.

На четвертой там полосе были юмор, не хуже этого, полуновости и кроссворд. И в обеденный перерыв на родном своем Комбинате солнцедарцы кроссворд решали, разбиваясь на сотни

групп, и тут страсти у них бурлили, сублимируя все на свете, тут немало вскричалось эврик, но ни разу у них не вышло дорешать кроссворд до конца; оставались пустые клетки, и из них сюда к солнцедарцам пустота иная сквозила, от нее холодком из склепа проступала жуткая тайна бытия их и мироздания, до которой не дотянуться, от которой не увернуться. И они спешили к работе, чтоб уйти в нее с головой, в упоении, и забыться. А назавтра новый кроссворд. Солнцедарцам живется плотно, в будоражном шаманском ритме, под невидимый гулкий бубен, коллективно и трансцендентно. У них нет причин умирать.

В Солнцедаре кладбища нету. Потому тут не умирают. Хоть философы жарко спорят, где тут следствие, где причина. В Солнцедаре не умирают, потому что погоста нет? Или тута его и нет, потому что не умирают? Вот, поди ж, где яйцо, где курица? Там первичность на свет явления под вопросом вечным стоит. Ну а тут вот никто не мре, и поди отыщи причину. Мне все видится много проще с высоты моего обзора, и дебаты умных философов для меня-то как раз не сто́ят как раз выеденного яйца. Не пришлось каламбур избегнуть, без яйца обойтись не вышло. Мне, Директору Комбината, знатоку своих человеков, обитателей Солнцедара, просто ясно как Божий день, что причина одна и только, поелику некуда в землю тут, потому они и не мрут. Ну мы ж знаем, чего тут мямлить, что живая в нас с вами клетка, в миллиардных своих когортах составляя нам организм, знать не знает, слыхом не слышала, про конец, так скажем, стези у жизни. Ей такое и невдомек. Она знает только про жизнь, про деленье и размноженье, про любовь и преумноженье, и готова жить бесконечно. Для того она и живет. И жила бы себе и дальше, если б ум ее не замучивал, мол, пора, дорогая, и честь знать, мол, пора уже закругляться, папа ж с мамой уже того, и друзья их тоже с соседями, и все прежние мудрецы, где? ан нет, покати шаром, и Сократ с Платоном, и Будда, вот и нам уже час поспел. Вот такой он, братцы, зануда, этот самый ум человеков, этот самый их ум ума. Уболтает кого угодно. Занудит любого до смерти. И не денешься ж никуда. Ну, кто как, а мы денемся, раз смекнули. Из-под ига ума надо выползти, надо выбраться из-под ига, надо вырваться и воспрять! Вот в чем фокус весь, дорогие. И живи тогда, сколько хочешь. Заодно со своими клетками и на радость себе и им же.

Я живу уже лет семьсот, точной цифры не назову, чтоб не сглазили, дорогие. Любо нам так жить-поживать и добра себе наживать, мне и двум моим паладинам, что при мне тут из века в век. Нынче Половец в референтах, а Хазар моим первым замом; ну а прежде звались по-всякому, столько всякого тут прошло. Любо хаживать нам в державных, приносить державе ясак, в переносном, конечно, смысле; по привычке любой доход между нами ясак зовется с уважением к временам, нами прожитым, в Лету канувшим. Да, по сердцу нам поживать, и пока что не надоело, и не ведома нам усталость.

На том месте, где Солнцедар, при Иване Четвертом Васильевиче оборудовали острог и назвали его Ясацким. А река была широка, в половодье до горизонта заливала весь левый берег. Замирили мы остяков, хантов, кетов, югов, селькупов, и пошла к нам рекой пушнина. Царь Иван был зело доволен. А потом на Москве затеялась смута. Мы, державы оплот, как могли твердились, воевали и торговали, положили уйму туземцев, устоял Ясацкий острог. Прилетели к нам анунаки – вам подробности ни к чему, – научили нас уму-разуму, показали нам, где копать, и нашли золотую жилу, наше первое золотишко, разработали всю как есть. Добывали и колчедан под надзором у анунаков, молибденовый и магнитный, пестро-медный и мышьяковый – чисто невидаль по тем временам. Анунаки премного довольны нами, а остяки, завидев, падали ниц. На Москве сел царь Михаил Романов, и заглохла смута там наконец; анунаки тогда откланялись, а туземцы свели с нами дружбу заново, и острог разросся в селение и назвался Царемихайловск. А потом сменил сто имен. Петроводском сначала был и довырос до городишка, Александровском-на-Широкой, Николаевском-на-Широкой, а потом Николаевоалександровск, вырос в город он настоящий, а потом уже Каганович, и потом надолго Лавроберийск. При Хрущеве стал Солнцедаром и уже имен не менял. Но еще при Лавроберийске нам велели, мне с паладинами, возвести тут наш Комбинат. Ну и мы уже приложились. Не пропала наука даром от забытых тут анунаков, кто их помнил, давно в земле; поколений сменилось много. Нам такое, понятно, на руку. И вошли мы к власть предержащим в небывалый прежде фавор.

Навели мы с Хазаром с Половцем в Солнцедаре новый порядок. Старых жителей разогнали по Норильскам и Колымам, а сюда заказали новых по анкетам славным с Лубянки, самых лучших из самых лучших, молодых, здоровых, голодных, и они сюда скоро прибыли по путевкам от Комсомола, да отсюда уже не убыли, аж пока Комбинат не встал; провели тут годков пятнадцать, поженились, поразвелись и опять все переженились, нарожали кучу детишек, поседели да полысели, у кого-то и зубы выпали, ну а кое-кто и преставился, отошел в мир иной от трудов завзятых, переполнившись вдохновением возведения новой жизни; но не все ж Богу душу отдали, уцелел вполне каждый третий и вполне себе жив-здоров. Возвели Комбинат на славу. Прежде мир таких не знавал. Не узнал и на этот раз. Солнцедар со всех карт исчез. Стал особым он и секретным. Стал он ящиком номерным. Он теперь Солнцедар-700. И зажил небывалой жизнью. И строителей распустили, всех – семейных, вдовцов и вдовушек, и детишек всех, кто не помер, – распихали по стройкам века, по Амуро-Байкалам, Саянам с Шушенском, по Востокам Дальним и по Монголиям, или просто пораспихали, СССР держава бескрайняя, а почтовый ящик за номером заселили новым составом по анкетам с той же Лубянки, контингентом, что любо-дорого, для того, чтоб наш Комбинат заработал на полном цикле, овладел бы мощой проектной и работал отныне впредь, эту мощность превозмогая.

В Солнцедаре много поэтов, живописцев, зодчих, ваятелей, много плотников и сапожников, и часо́вых дел мастеров, с часовы́ми не надо путать, те повсюду тут на дверях; математиков в Солнцедаре тоже столько, что знать не надо; много химиков органических, ну а также неорганических, много физиков-теоретиков и, конечно, не меньше практиков, тех, что ставят эксперименты и умеют чинить утюг; астрофизиков с телескопами и механиков, тех, что с квантами, с ними возятся не навозятся, и грозят нам антимирами, и грозятся все объяснить; и немало других механиков, те умеют взять в руки вещь и заставить ее работать; много физиков твердых тел, много физиков жидких тел, и еще есть физики плазмы, потому шаровые молнии в Солнцедаре дело обычное, так и шастают, не зевай; инженеров у нас

не счесть, инженер тут на инженере, много главных, но есть и просто, на любые случаи жизни.

В Солнцедаре-700 военные у Директора в подчинении; каждый знает, что надо делать, и в дому с женой, и с песней в строю, и на Полигоне, только формы нигде не носят, а одеты в комбинезоны, на нагрудном кармане звание ниткой вышито цвета хаки очень мелкой арабской вязью, чтоб с орбиты, случись, со спутника, ни в бинокль из кустов, ни в лупу, разобрать враги б не сумели. В Солнцедаре много разведчиков, только все они контрразведчики, бдят всегда, никогда не спят, и комар чужой не летает. Пограничники тоже тут, контрразведчикам в усиление, все с собаками и в секретах; до того с ландшафтом сливаются, что, бывает, на них наступишь, потому, чтоб без канители, солнцедарцы и солнцедарки завсегда при исправных ксивах и с кусочком всегда колбаски, и проверка долго не занимает. Все ать-два! Все тикает как часы.

Но при всем при этом, сукины дети, эти новые солнцедарцы, попервах все ж как мухи мерли от избытка о них заботы, от накала тех вдохновений, что дарил им радостный труд. И с Лубянки нам слали новых, но и те за теми туда же. Надоела такая мне канитель, и Хазару с Половцем тоже. Сколько ж можно анкеты перелопачивать, выбирать сюда нам достойных. Никаких достойных не хватит. Вот тогда я и срыл им кладбище. Разрослось уже дальше некуда. Но бульдозеров у меня! Разровняли все любо-дорого, будто не было ничего, с глаз долой и из сердца вон, и из памяти тоже прочь. И разбили парк там, побольше, чем в тех Европах. И построили зоопарк там и стадион. Для лапты всем и для здоровья. Ну и всё, как рукой сняло. Прекратили враз мои солнцедарцы покидать сей мир в угоду иному. Канитель с анкетами в Лету канула. Заработали с новым энтузиазмом. Испытатель только разбился в праздник на открытии парка со стадионом. Мы ему обелиск поставили и зажгли там огонь ему, и горит он с тех пор тихонечко, много газу не потребляет, сорок лет уже вот горит. А вы скажете, как же так, ведь огонь положено неизвестным и к тому же в могилах братских, ну а тут же совсем не так? Вам отвечу, как понимаю. А кто правила задает? Тут такие, как я скажу. Но идейку вы мне подкинули. Надо будет сменить табличку на другую, вот на та-

кую: «Неизвестному испытателю». Хорошо, душевно получится. И забудут скоро, как звали. Тут давно летает другой…

На шестнадцатом этаже в общежитии на Галушкина у собрания вздох восторга. Тут и «Боинг» корейский вспомнился, сбитый за год над Сахалином, и уж к месту или не к месту, в нем погибший Ларри Макдональд, демократ, в президенты метивший, ненавидевший коммунизм. Шумно выпили. Покивали. С пониманием обо всем.

– Это в точку, старик! Что дальше? Что еще ты там напридумал?

…Комбинат на то он и Комбинат, чтоб служить сразу многим целям. Производит он транспаранты для по всей стране демонстраций на Седьмое и Первомай. Пишет лозунги по сто метров на трепещущих кумачах для по всей стране стадионов и для всяких спартакиад, и для всяких чемпионатов, и для всяких Игр Доброй Воли; для Недоброй Воли не пишет, но напишет, если прикажут. Комбинат производит портреты без изъянов и искажений, много разных таких портретов, идеальных и одномерных, для ЦК и Политбюро. И еще Комбинат штампует живописнейшие полотна по размеру три на четыре, семь на восемь и восемь на́ семь, на которых огромный Вождь в ключевых моментах победы большевизма над меньшевизмом, пролетариев над буржуем, Революции над людьми. И полотна эти красуются на вокзалах в огромных залах, по фойе, в буфетах кинотеатров, по курортам и санаториям, лагерям и пансионатам, по домам культуры от Балтики и до Тихого.

Комбинат производит скульптуру, и статуйную в полный рост, и упрямо-белыми бюстами. Бюсты самых разных размеров: от такого, что в рюкзаке довезешь в любой стройотряд, хоть в тайгу, хоть на полюсе, хоть в пустыне, чтобы в красном ему уголке белеть, помогать в трудах вам и душу греть, да с таким взойдешь и на Эверест, если партия скажет «Надо!», до таких размеров, что и «КамАЗ» может сразу с таким не справиться, скажут «Надо!», так сразу справится. А скульптуры в пальто и кепках, а другие без кепки и без пальто, а рука протянута к коммунизму, указует нам верный путь, и захочешь, а не заблудишься. Комбинат производит в бронзе, в чугуне, в граните и в мраморе, в серебрине

и с позолотой, великанами их возводит и обычными в три аршина, и скульптуры эти повсюду, в городах и весях, на полустанках, на больших и маленьких площадях, на пригорках при деревеньках, да в степях по старым курганам, на вокзалах в огромных залах, в институтах по вестибюлям и в гостиницах при фойе, и в буфетах кинотеатров, по курортам и санаториям, по колониям исправительным, в лагерях и пансионатах, по домам культуры и отдыха от Балтийского и до Тихого.

Много зело довольны нами старцы древние из Кремля.

Мы, конечно, делаем бомбу. А художества наши славные, транспаранты, статуи, бюсты, лозунги, и еще в продукции нашей ширпотреб и всякая утварь, сапоги из кирзы и хромовой кожи, мясорубки и сковородки, дуршлаги и картофелечистки, это прежде всего затем, чтобы тайну блюсти военную стратегического значения. В Комбинате двадцать два цеха. Девятнадцать для маскировки. А вот в трех, под землю запрятанных, день и ночь мы делаем бомбу и носители к ней мы делаем для доставки по назначению. Мы такую делаем бомбу, чтобы ею как шандарахнуть, и второй раз уже не надо. Мы зовем ее «Солнцедар»…

– Ну, старик! – хохочет собрание. – Положил на обе лопатки. Солнцедар это просто *бомба*! Тут Малыш с Толстяком в сторонке покурят.* «Ярче тысячи солнц» сюда же!

Все ж читали Роберта Юнга?

…В Солнцедаре есть строгий юноша по фамилии Одинцов. Николай Одинцов. Встречайте! Образец он для подражания. Ворошиловский он стрелок, альпинист, комсомолец, физик, шахматист и парашютист, капитан чемпионов наших по великой игре в лапту; а в лапте, как сказал Куприн, ни лентяям, ни трусам в ней места нет. Одинцов ученик Абалкина; не Абалкина от Стругацких, – и не путайте с Абалаковым, от которого нам рюкзак, – а Абалкина во плоти, легендарного и державного, о котором никто не слыхивал, кроме тех, кто по долгу службы, но они никому

* «Little Boy» («Малыш») – бомба, сброшенная 6 августа 1945 года на Хиросиму. «Fat Man» («Толстяк») – бомба, сброшенная 9 августа 1945 года на Нагасаки.

не скажут, по подписке о том, что если, то расстрел, а потом тюрьма. Вот такой у нас Одинцов. Самого Абалкина видел.

Строгий юноша посещает каждый вечер библиотеку и читает там до закрытия, и пометки в блокнот заносит: переписывает цитаты, чтобы вызубрить без огрехов, и свои к ним соображения, чтобы тоже не позабыть. А в работе на Комбинате строгий юноша тоже в первых; глубоко под землей с коллегами, всех собой воодушевляя, в свете ламп среди проводов, чертежей, и собранных, и разобранных, агрегатов и механизмов, прилагает он все усилия, от гудка до гудка, до донышка, все умения, знания, навыки, чтобы вынуть из ноосферы, из неяви выудить в явь, пользы максимум нашей бомбе, чтобы сделать бомбу такой, каких прежде никто не делал, а вот мы возьмем да и сделаем, будем первыми с нашей бомбой для победы Добра над Злом.

Одинцова все уважают, под землей, на земле и в небе, где бывает он с парашютом, на вершинах, куда восходит, на собраниях комсомольцев; и в застольях он тамада.

И вот надо ж тому случиться в отработанном обиходе, чтобы в тихой библиотеке, среди книжек под потолок, аж под самые своды гулкие, где задумчивость да покой, и душа стремится к высокому, а ум следом за нею в мудрость, Одинцов повстречал любовь, да такую, что гаснут свечи, ни тебе продохнуть, ни крякнуть; роковой такую зовут. Вот вы спросите, как же так? Почему такую, а не иную, раз такой он весь из себя? Вам отвечу, как понимаю. У судьбы для нас много каверз, всяких штучек нам против шерсти, а порядок наш образцовый, тот, что мы с Хазаром и Половцем навели в своем Солнцедаре всем на зависть – он всем на зависть! Вот и тщатся его порушить, облапошить нас, понимаешь, да стреножить, да указать нам на место, что поскромнее, чтобы впредь мы не заносились, прекратили б воображать о себе чего им не надо, а смирились бы с тем, что надо, им так надо, а нам терпи. На таких, спрошу, нарвались ли? Так отвечу – не на таких! Мы тут сами кого тут хошь! Нам к их козням не привыкать, тех, кто прячется за судьбою. Фатум фатуму глаз не выклюет. Вам сейчас не понять такого. Потому изъяснюсь попроще: как напасть на нас взобралась, так и слезет, вариантов нету. Все ж ну точно как у Роома, по сценарию Юрий-Карлыча; вот Олеша уж

напридумывал. А расхлебывать Одинцову. Да и прочим, кого касается. Хоть семьсот лет живи, хоть тыщу, а все без толку, если что. Приступай, понимаешь, заново и руби с плеча до седла.

Одинцова любовь звали Машенькой, так она ему назвалась при знакомстве в библиотеке. Так она ему и сказала:

– Машенька.

– А меня Николаем, – ответил он.

Ну и кто тут с кем познакомился? Вот, выходит, не он с ней, а с ним она. Приглянулся ей строгий юноша, покорил ее мраморно-римским видом и футболкой, шнурованной на груди. Для начала Машенька Николая старше лет так на девятнадцать. А еще для начала замужем. За Директором Комбината. Вот кто Машеньке тут супруг и кому она тут супруга. Так беги скорей, Коленька, пока цел. Но любовь, как мы знаем, зла, и препоны, что ей чинят, отметает с пути бездумно, как бульдозер косым ножом. До поры, как знаем, до времени. А потом трава не расти.

Проводил он ее домой. В первый вечер и проводил. В наш с ней дом из слоновой кости; а на самом деле из мрамора наш Дворец, из стекла и стали, а на входе львы по бокам. И она его пригласила заглянуть к ней на кофеек. Ну а Коля не стал раздумывать и проследовал во Дворец.

У Директора Комбината в Кабинете сто телефонов, и бывает, что все звонят, а бывает, что ни один, тишина тогда перед бурей. Вот сейчас один затрезвонил, и Директору сообщают, что в дому у них гость непрошеный, а вернее, Марья Степановна привела с собой незнакомца и в гостиной с ним кофий пьют. Личность быстро установили: Одинцов Николай Гаврилович, замконструктора генерального, физик-ядерщик, комсомолец, золотой значок ГТО. Как прикажете поступить? И Директор привычно шутит:

– Так убейте сукина сына!

И ребята смеются весело на другом конце этой линии; юмор им такой по нутру.

– Доложите, когда убудет.

«Есть!» сказали. И доложили: ровно в двадцать один ноль-ноль. Это в рамках, пускай себе. Засиделась Машка без дела. Не рожает никто давненько. В Солнцедаре один роддом, он за номером «единица», потому что ну не второй же. Тут супруга Ди-

ректора главврачом, гинекологом, акушеркой; в персонале две медсестры, санитарка и часовой, тот сменяется по часам. И одна в роддоме палата, все уютно, на восемь коек. Не бывало тесно и прежде, а теперь так и вовсе пусто. Перестали пока рожать. Социологи и психологи с докторами и особистами из Москвы над этим работают; обещают, что в скором времени разъяснят нам такую недолгу. А пока что Мария Степановна заскучала тихенько, стало быть. И Директор по-здравому рассудил, что такое в рамках вполне приличия, что беседа супруги с его работником в неурочный вечерний час никому не сделает плохо, а всем сделает хорошо. Да к тому же все под контролем. Да к тому же не до того. Бомбу надо! А прочее глупости.

Но опять в его Кабинете телефон из Дворца трезвонит, и опять уже поздний вечер, и опять Одинцов в дому; угощается он в гостиной и беседует с нашей Машей; и на этот раз он откланялся уже в двадцать один ноль-пять. Но опять же все это в рамках. И опять же все под контролем. Нет причин ерундой страдать. Надо бомбу, бомбу давай!

И Директор с Хазаром и Половцем дают бомбу как только могут. Остальные как получается. День и ночь работа кипит.

Каждый вечер теперь в Кабинете у Директора Комбината телефон из Дворца трезвонит, как по новому расписанию. Зачастил Николай Одинцов во Дворец к супруге Директора; каждый вечер он с ней проводит за беседой в большой гостиной и гуляет с ней у фонтана в освещении фонарей, и сидят они на веранде, выходящей в цветущий сад, наблюдают Луну и звезды, и стихи Николай читает, и не все про ударный труд, попадаются и другие, про родство одиноких душ и про тайну предназначенья; Одинцов покидает Машу, к ней склонившись, целует руку, из Дворца меж львов по ступеням сходит, всякий раз на пять минут позже, чем простились они вчера.

И доклад Директору точен: нынче двадцать один вот десять, завтра двадцать один пятнадцать, а назавтра и двадцать, и двадцать пять, вот уже в половину лишь смог откланяться строгий юноша, а потом точный час расставаний с Машей продвигаться стал к десяти, и за каждый вечер по пять минут в шесть присестов туда добрался.

– Он ушел в двадцать два ноль-ноль, – в этот вечер звучит из трубки.

– Хорошо, спасибо. А протокол? Изменений не наблюдаем?

– Никак нет, товарищ Директор! Кофе, фрукты, беседа о Древнем Риме.

– А вчера о чем?

– И вчера о нем же.

– А бывает, чтоб не о нем?

– Разрешите, мигом справлюсь в журнале.

– Да не надо, майор. Отбой.

И Директор с Хазаром с Половцем, освежив себя коньяком и отринув второстепенное, воротились к первостепенному: вдохновлять ночной персонал на праведные труды во имя победы Добра над Злом, ибо сроки перед Сражением, Окончательным и Решительным, не на жизнь, а насмерть, истекают уже не по дням, а, смотрите вот, по часам, уложиться в них надо, чего б ни стоило. Уложиться надо, кровь из носу. Даешь бомбу, ребята! Бомбу даешь!

Говорит Одинцову Директор утром:

– Как тебя там, не обижают у меня в дому, Николай Гаврилович, наша общая, брат, знакомая? Это, Коля, моя супруга. Знал? Не знал? Ну теперь вот знаешь. Ты держись, брат. Не пристает?

Одинцов Николай краснеет и бормочет «ну что вы, право!», ну и дальше скороговоркой он про то, что свели их книги там, где тишь да покой с порядком, это значит в библиотеке, Николая с Марьей Степановной, совершенно, знайте, случайно, и возник меж них разговор про Розеттский, случайно, камень, про Египет с Наполеоном, про династию Птолемеев и того из них Птолемея, что был Пятым и Епифаном, и про то, как смог Шампольон разгадать вековую загадку, и пошло одно за другое, и беседуют до сих пор, знаний много, времени мало, каждый вечер ведут беседы о высоком и о прекрасном, находя в том пищу уму и сердцу. Вот такая вот диспозиция, и другого тут ничего.

Говорит Одинцову Директор:

– Диспозиция хоть куда! Ты же, Коля, тоже Машку пойми. Извелась без дела в роддоме. Не рожает нынче народ. Ты беседуй уж с ней на совесть. Не отлынивай, раз уж зван.

Одинцов его заверяет, что: как можно? почтет за честь.

Одинцову Директор дает совет:

– Приоткрою тебе, Николай Гаврилыч, небольшой семейный секретец. Только ты уж меня не сдай. Тут такое, видишь ли, дело. Как, бывает, найдет на Машку, она балуется стишками. Да, представь, стишата строчит. Чушь собачья, ты мне поверь. Хоть и в рифму, а чушь собачья. Не открылась еще тебе? Вот, как, значит, дойдет до этого, ты смотри уж, брат, ты не дрогни. ГТО пусть тебе поможет. Альпинизм и парашютизм. Надо выстоять, Коля, надо! А потом еще похвалить. И смотри, Николай, без фальши. Пусть у Машеньки будет праздник. Как у нас с тобой каждый день. Так у нас же с тобою бомба! А у Машки ж что? Шаром покати. Так что, Коленька, будь готов!

Одинцов отвечает:

– Всегда готов!

И стремглав под землю, и за работу.

Говорит Директор Хазару с Половцем:

– Строгий юноша с душой нежной.

И еще он им говорит:

– Я его подкузьмил, видали? Невдомек ему даже, на что нарвался. Как обрушит ему на голову Машка кашу из дохлых рифм, то как ветром юношу сдует. Будь он строгий или не строгий. Это выше сил человеческих. Только Машка его и видела. Вот такая нам диспозиция. Так и что же это выходит? Что я все же приревновал? Свою Марью к молокососу? Хоть семьсот лет живи, хоть сколько. Не пристало мужам достойным. Вы за мною не повторяйте. По рюмахе и за работу. Хазар! Половец! Разом вздрогнем! Даешь бомбу! Бомбу даешь!

И давали мы, и давали. Все неважное в тень ушло; по углам заныкалось да под плинтусы.

У Директора в Кабинете телефон из Дворца звонит каждый вечер по расписанию, каждый раз на пять минут позже. И сказали в трубку в какой-то вечер:

– Он ушел в двадцать три ноль-ноль.

– Изменения в протоколе?

– Никак нет, товарищ Директор! Только он говорит все больше, а она все больше молчит.

– О чем речь?

– О каком-то Дзене.

– Что за Дзен?

– Уже выясняем. Доложить, как только?

– Завтра доложишь. Отбой, майор.

Заглянув на часок-другой наконец к себе во Дворец, говорит супруге Директор:

– Ты читаешь ему стихи?

– Кому?

– Одинцову, милая. Одинцову.

– Ах, ему? Читаю. А что, нельзя?

– И он все еще терпит их? И он все еще в гости ходит?

– А чего ему не ходить? И чего их ему терпеть? Ему нравится. Он к ним чуток. Он и сам их сотнями наизусть. Вот заслушаться. Ты б послушал.

– Ты читаешь свои стихи?

– Ах, об этом ты? Вот в чем дело. Нет, конечно. Читаю Фета. А свои, ну я же не дура. Он просил, но я отказала. Да к тому же я их сожгла.

– Даже так? Когда же?

– Да прошлым летом.

– А зачем же?

– Да ни зачем. Вот не думала огорчить тебя. Как раз думала, будешь рад.

Незатейливым таким образом план Директора провалился, и стихами Марьи Степановны не повергли строгого юношу. А от Фета вреда ему никакого. Ну и как теперь с этим быть?

У Директора в Кабинете на Совете Троих Старейшин у Хазара есть предложение:

– Надо яйца ему отрезать. И сказать всем, что так и было.

А Директор он в суть глядит:

– Хорошо бы, да не годится. Без яиц какая же бомба? Без его у него яиц мы, глядишь, не поспеем к сроку.

Есть и Половцу что сказать:

– А в шуты его! А, товарищи? Совершенно официально. Комсомольское поручение. Обязать по общественной линии. Кажен вечер после работы во Дворец, как штык, не балуй, и лекторий там

вынь-положь по тематике утвержденной. И поэзию декламируй. И пляши там под балалайку, если Марье будет угодно. Вот тогда он враз и скукожится. Я нам дело тут говорю. Испокон веков обязаловка истребляет нам все, что хошь.

Вот и Половец, а случается, что подгонит совсем неглупое, потому что родился же не вчера.

И наутро строгого юношу по Директора директиве и наказу от Комсомола наделяют особым статусом, назначают лейблектором во Дворец. И теперь уже не отвертишься, а пожалуй как на работу, и прощай романтика с грезами, а все чаянья брысь в отчаянья. Но на то он и строгий юноша, что не дрогнул ни мускулом, ни душой. Ничего никуда не сдвинулось, протокол изменений не претерпел; и светили им, как и прежде, на веранду Луна и звезды, и фонтан шумел, фонари блестели, и стихи звучали, и не стихи, и придворные просвещались, устанавливая значенья (и невольно запоминая) незнакомых слов из бесед Одинцова с Марьей Степановной; и в саду отцвели деревья. С педантичностью до секунды Одинцов пребывал при ней всякий раз на пять минут дольше, всякий раз на пять минут больше; безошибочно как часы, покидает Дворец все позже, будто адский в нем механизм, о последствиях не заботясь, принуждает его щекотать судьбу и дразнить всех тиранов, больших и мелких.

Вот доклад Директору в трубку:

– Ровно в полночь Дворец покинул. И при этом громко насвистывал.

– А мотив какой? Установлен?

– Марсельеза. Еще вот слышно.

Не ко времени это все. А бывает оно ко времени? Недосуг Директору, но пришлось оторваться от бомбы для размышлений. В Кабинете легла на Стол многотомная расшифровка тридцати шести их бесед, и Директор с Хазаром с Половцем погрузились на сутки в чтение и ушли в него с головой; сухо щелкали языками и губами бесшумно плямкали, и шуршали громко страницами, их друг другу передавая. Нет секретов от паладинов, а картину составят общую, и когда, дочитав, узрят, то налягут втроем, эй, ухнем! и отыщется в ней лазейка –

враг силен был, тем больше слава! – а пока что читай, товарищ, прочитал, передай другому.

Среди прочего в тех транскриптах говорит Одинцову Марья:

– А вы знаете, Николай, у вас сходство с героем фильма.

– Подтрунить хотите, Марья Степановна?

– Отнюдь, Николай, отнюдь.

– Я, признаться, заинтригован. Так в каком же это кино?

– У него и название вам под стать. Называется «Строгий юноша». Режиссера Абрама Роома.

– Я такого Абрама знаю. Я смотрел его фильм-спектакль по комедии Шеридана в постановке МХАТа «Школа злословия». Яншин там, Андровская, Кторов и Михеева, и Дурасова. Вы смотрели? Картина блеск! «Строгий юноша»? Нет, не видел. А о чем картина, Марья Степановна?

– А нам с вами сейчас неважно, Николай, о чем этот фильм. Будет повод еще, обсудим. Вечеров еще впереди! А сейчас я вам о другом. На Консовского вы похожи. Представляете? На Консовского! А совсем не на Дорлиака! Уж который день я дивлюсь. Просто мистика, да и только!

– Так а в чем же, позвольте, мистика?

Тут ремарка от наблюдателей: *В этом месте он с толку сбит*.

Отвечает Марья Степановна:

– Столько тут рассказать вам, Коленька, что всего никак не расскажешь.

Тем не менее она пробует. И рассказ у нее таков. Фильм снимался в тридцать четвертом, жарким летом у моря в Одессе. Лента вся пронизана солнцем, как метафора новой жизни. А Консовский вписался в роль, будто с детства он не Консовский, а всамделишный Гриша Фокин, дискобол теперь, комсомолец, разработал моральный кодекс для таких, как он, своих сверстников, новый комплекс новой морали – в нормативы третьей ступени для всеобщего ГТО, а без этого поколению, порожденному Революцией, новой жизнью не овладеть. И почти уже все отсняли, как случилось непоправимое; вдруг нагрянул НКВД, и актера арестовали и пришили контрреволюцию. Оказалось, Дмитрий Консовский между съемкой по вечерам на прокуренной кухне среди коллег в излияниях задушевных рассуждал о пользе фашизма и вовсю

нахваливал Гитлера, что в Германии избран канцлером по всем правилам демократии. Вот такая беда на съемках. Сперва ждут, конечно, как водится, и надеются, что ошибка, в скором времени разъяснится, и вернут Консовского в целости, и обнимутся с ним коллеги. Ждали, ждали, ждать дальше некуда. Отыскал Роом Дорлиака, тоже Дмитрия, тоже мистика, и все сцены с ним переснял. Натрудились как на галерах, только все оказалось зря. Запретили «Строгого юношу». И Роом угодил в опалу. И у всех потом неприятности, если так их можно назвать. С Дорлиаком и вовсе грустно; подхватил брюшной тиф на гастролях и скончался где-то в Иркутске. Вот такой несчастливый фильм. Но ему повезло, не смыли. И теперь, столько лет спустя, чтут шедевром. Такая сказка. Не рискуя нынче ничем, все смакуют его эстетику, новизну его формализма, глубину в нем иносказаний. Этот фильм пока не разгадан. Специалисты бьются над ним; по сей день вот ломают копья.

– Ну а я его обожаю, – говорит Одинцову Маша. – А вы верите в Провидение?

– Нет, зачем же? Я верю в атомы, в электроны с протонами и в нейтроны. Ничего мне больше не надо. Я, простите, мистики чужд.

– А вы видели их глазами? Электроны ваши с нейтронами. Вы их, Коля, трогали пальцами?

– Ну зачем же? Есть математика. Существует эксперимент. Все доказано, дальше некуда. Вот бери себе применяй.

– Как вы молоды, Николай! Совершенно обворожительно. Не хочу вас разубеждать. Но хочу, чтобы вы взглянули.

Тут помета от наблюдателей, что с веранды она уходит и потом сюда возвращается, и приносит две фотографии.

– Вот взгляните. Разве не мистика? До чего ж вы с ними похожи. Но в особенности с одним. Угадаете, кто Консовский?

И помета от наблюдателей, что на фото актер Консовский, на другом актер Дорлиак, и что копии этих фото прилагаются тут к транскрипту с номерами один и два…

– Вот, взгляните и вы, друзья.

И собранию фото явлены, из-под ржавой скрепки изъяты. Погадают пусть, кто тут кто, под стать юноше Одинцову.

Это первым на стол легло.

А за ним легло и второе.

Но собрание ж все киношники, на мякине не проведешь.

– Что тут думать? Это Консовский.

– Не хитра загадка, старик.

Фильм никто не забыл, все помнят. На сей раз не случилось прений.

– Фотография номер раз стопудово Дмитрий Консовский.

– Ну скажи, что не угадали.

– Стопудово! Не зря ж мы здесь.

– А что, Коля-Колян не справится? Пальцем в небо там? Или как?

– Так узнаем сейчас. Наливай пока.

– Ну давай за «Строгого юношу»!

– За кино! Не за Одинцова.

– Ну тогда уже за Роома!

– Пусть икнется Абрам-Матвеичу.

– Натерпелся на этом свете.

И закусывая, сказали:

– Ах, какую ж эстетику выстроил!

– Ах, каким формалистом был!

– Каких мало.

– Теперь и вовсе.

– Вот на нас теперь вся надежда.

– А Консовский, кто знает, братцы, он дожил до пятидесятых?

– Если б, если бы. Нет, конечно. В лагерях осудили заново, расстреляли в тридцать восьмом. В один год оба Дмитрия сгинули. Понимаем как понимаем.

– А зачем тебе фотографии? Раздобыл же, не поленился.

– Так я вставлю, если печатать. Вот она ему предлагает, угадайте, кто тут Консовский, и читатель на пару с Колей будет там у меня гадать. Ну как вы сейчас. Только в тексте.

– Полагаешь, не перебор?

– Полагаю, что тютя в тютю.

– Вышиваешь иглой цыганской?

– Свой узор, когда получается.

– Ну, властитель умов, погнали!

…И Директор с Хазаром с Половцем фотографии рассмотрели и поцокали языком. А в транскрипте там дальше вот что, и с пометами наблюдателей, и без них все и так понятно.

Одинцов говорит:

– Вот этот. Были правы. Жутко похож.

– А не верили. А вот видите? Да еще и себя не видите. Не похож, а одно лицо!

– Так а как же такое, Машенька?! Я тут, что ли? Или не я?

– Вот! Теперь меня понимаете? У вас тоже извилина за извилину? Вы какого, сорок девятого? Ну а тут год тридцать четвертый. Так что следует полагать, что на фото Дмитрий Консовский. А не вы там на этом фото. А вы тут его инкарнация. Вот что следует полагать.

– Ну зачем же нам в мракобесие? По науке нет инкарнаций. Да и быть никаких не может. Это бредни для слабонервных.

– Да? Наука не допускает? А годков ему тут на фото ровно столько же, сколько вам. Двадцать шесть же? Не ошибаюсь? Что на это наука скажет?

– Совпадение, Машенька, совпадение.

В Кабинете Хазар бормочет:

– Как, стервец, он ее все Машенькой!

А Директор – он в корень зрит:

– Да не в этом беда, Хазарушка. Это б все еще ничего. А вот чую, что Машка клонит все к тому, чтоб строгого юношу посвятить в сюжет киноленты под названием «Строгий юноша». Вот, признаться, бы не хотелось. А она его обожает. Запал нá душу на просмотре. Сколько лет уже, все о нем. А коллизия там такая… Ну, короче, читаем дальше.

И как в воду глядел Директор, потому что дальше в транскрипте говорит Одинцову Маша:

– А давайте, мой строгий юноша, мы покажем вам этот фильм. Попрошу супруга, и привезут нам. И мы вместе его посмотрим. Нам в гостиной его покажут. Перед этим еще расскажут, что да как там и почему. Чтобы было нам все понятно. Потому что там непонятно. Мне как раз-то в нем все понятно. Но послушать о нем люблю. Про свободу любви. Атрибут она новой жизни. Новой жизни новых людей. А устои старые рухнули. Обветшали они и рухнули. И не давят больше на нас. На передний план выступает в новой жизни свобода воли. Вы согласны хотя бы с этим? Вам наука не запрещает? А вы сможете, Николай, для такого мероприя-

тия время выкроить? Вам удастся? Вам понятно, о чем картина? Или вы от меня устали? Или я заболтала вас?

Одинцов заверяет Машу, что готов ее слушать он до утра, да и сутками напролет; вот бы слушал ее и слушал. И целует он Маше руку, и уходит в начале первого, то бишь в ноль часов пять минут.

В Кабинете Директор с Хазаром с Половцем дочитали транскрипт до точки, до последней его страницы; по сегодняшнее число проштудировали весь корпус Одинцовых с Машей бесед. И Директор распоряжает паладинам порядок действий:

– Все, Хазарушка и Половушка, начитались, теперя будя. Об искусстве заходит речь. И замечу, что о высоком. Тут потянет и на Шекспира! Хоть не знамо же с вами, други, был Шекспир тот, а, может, Шакспир, или все же он только не был, как и сказано у него в монологе датского принца, мол, *to be* или *not to be*. Может статься, что он и *not*. А *to be*, сдается, граф Ратленд, Роджер Меннерс, за пятым номером, с Лизаветкой, Филькиной дочкой… Ну, чего, братва, пригорюнились? Не об том извилины морщите! Почитаете, наверстаете. А в кино ж все равно профаны. Хватит щелкать тут языком. Закажите в Госфильмофонде мне давайте бегом два фильма. Этот самый об строгом вьюноше и к нему мещанскую улицу. Фильм зовется «Третья Мещанская». Его тоже Абраша сделал. И почти что на ту же тему. Там коллизия… Ну, короче. Самолетом. И киноведа, чтоб был трезвым и не картавил.

Паладины под козырек.

А Директор им наказует:

– Как исполните сей наказ, так бегите срочно под землю и налягте оба на весла, аки греки на тех галерах. Ибо истинно говорю вам, что пора уже бомбе бысть!

Паладины под козырек.

А Директор им как своим:

– А Директору выходной! Прогуляюсь на поводу у капризов Машки-супружницы. Ради общего благоденствия. Только лихом не поминайте!

Три Старейшины обнялись и утерли слезу скупую.

Во Дворце разъясняет Директор для супружницы диспозицию. Человек Директор прямой и не держит камней за пазухой.

Расставляет все по местам, Маша слушает и кивает. Для начала Директор к цифрам: ему, знаем, уже семьсот, да еще вот понабежало, Маше, стало быть, сорок пять, двадцать шесть годков Одинцову, на дворе семь'сят пятый год, завершающий пятилетку, а до бомбы, до завершения, остаются дни и часы. Вот какая картина маслом, многопланова и пикантна, в ней Директору виден шарм, и готов он им любоваться, надо только вкус соблюсти, соразмерность и сообразность, не заляпать бы, не забрызгать красоту картины слюной, ни соплей, ни слезой, ни семенем; надо тут поступить рачительно, и не надо сор из избы. И нелишне осмыслить здесь же всю палитру разнообразий у Директора всевозможностей: волен он в порошок стереть Ворошиловского стрелка, что надумал стрелять глазами не туда совсем, куда надо, вожделения устремил в направлении, неподобном грандиозным державным целям; в порошок бы мог, это раз, но Директору так не любо, скудоумным такое видится в предлагаемых обстоятельствах; мог бы выгнать к херам собачьим, это два, и в тьму-таракань на объект второго значения, только ж там Одинцов загнется, не протянет там и недели, ну пускай даже двух, и амба; за пределами Солнцедара мрет народец как заведенный, тут все живы, пока все тут, тут живи себе без конца, тут трудись без конца и края, а подашься из Солнцедара, и сгоришь там как мотылек.

– Но ведь ты его не прогонишь? – говорит Директору Маша. – Ты же душка, а не сатрап.

– А я *вот* как раз размышляю. Про себя, про него, про нас. Может, проще прогнать тебя? Чтоб другим неповадно было. А могу и обоих вас, голубков. Намилуетесь там с недельку и юдоль печали покинете, взявшись за руки, как хотели.

– Но ведь ты же так не поступишь? Ты ж не выдашь нас костлявой с косой? Ты ж явишь благородство миру? Потому что ты самый лучший.

И Директор вздыхает шумно, аки кит, однако ж не горько, а только затем, чтоб вдохнуть и выдохнуть; не зря ж в свое время потратил силы и увернулся из-под ума, из-под его топора такого, который рубит подряд все и вся, разрубает на плохо и хорошо, на добро и зло, и вот увернулся, да с паладинами, и вот давно уже,

семь веков, живет по сердцу, а не уму, а сердце все целиком приемлет – во всей полноценной его натуре. И потому Директор ей говорит:

– А, как всегда, угадала, Машка! Решим коллизию полюбовно. Она сама как решать подскажет.

Директора Маша чмокает в щеку. Но то ли будет еще, ребята! На поводу так на поводу. И он раскрывает ей свой сюрприз:

– Летит кино сюда в самолете. Их не одно там, а целых два. Досуг культурный. Готовься, Машка! Большой просмотр! И так подгадал, чтоб нам он в ночь как раз на Купалу.

На шее Директора Марья виснет и звонко, радостно верещит, а он с ней на шее с веранды сходит, и на лужайке валит в траву и досконально овладевает, в усладу себе и в усладу ей, и даже траве, комарам и звездам, на диво всем, кто тому свидетель.

Киноведу фамилия Недотрогов. А по имени Аверьян.

Киновед нещадно картавит, словно вылез на броневик, и разит вискарем с «Диором» от него, друзья, за версту, и имеет внешнее сходство с Эйзенштейном он и Эйнштейном, но зато знает дело туго, на кино он собаку съел – видно, ею вискарь закусывал, – и язык у него подвешен, и картавит им без запинок, познавательно и скабрезно, и молотит им два часа. Кинозал во Дворце сегодня обустроили на лужайке, тут три кресла перед экраном: в центре Марья, главная киноманка, одесную супруг-Директор, а ошую влюбленный, но строгий юноша, Николай Одинцов, лейб-лектор; за их спинами в темноте, затаив дыхание, челядь мнется; обдувает всех ветерок, с неба звезды мигают весело этой ночкой им на Купалу.

Недотрогов, как на духу, излагает им про эстетику, про подспудные ее смыслы, про подтексты перипетий в предлагаемых тут сюжетах и в зигзагах жизни создателей; про идею свободной любви, принесенную Революцией, завладевшей тогда умами зачинателей новой жизни в ту эпоху раскрепощения и свержения старых пут. Недотрогов трогает многих, всех подряд поминает всуе; в ход идут Коллонтай с матросом Дыбенко и не только, как видим, с ним; Мережковский с Гиппиус и Философов, Андрей Белый с Петровской и с ними Брюсов; разумеется, Блок Александр сюда со своей Натальей свет Менделеевой и опять же Андреем Белым; Маяковский с Бриками, Лилей с Осипом; Вячеслава Ива́нова, как не вспомнить, с его Лидией Аннибал, там почище,

чем треугольник, там скорее звезда Давида, Маргарита Сабашникова сперва там, а по мужу она Волошина, ей супругом крымский поэт, в Коктебеле по ней страдает; порешили в конце концов жить втроем: Вячеслав, Маргарита, Лидия, но вмешалась купеческая родня, воспротивилась непотребству, под замок они Маргариту, взаперти два месяца держат, когда вырвалась наконец, и Волошина тоже бросила – по духовным соображениям, – место тут сакральной любовницы, увы, занято, не пустует, тут теперь уже Верочка Шварсалон, дочка Лидии Аннибал, вот такие страсти, товарищи, а Зиновьева-Аннибал, мама Веры, жена Ива́нова, в скором времени умерла, и Ива́нов после скандала узаконил их отношения с ненаглядною Шварсалон; говорил, что явилась ему во сне супруга покойная и союз тот благословила; может статься, что и не врал, Аннибал была стойкой дамой; вот такие страсти-мордасти, и стреляли там, и стрелялись; вот Петровская в Белого просто в упор в малом зале Политехнического, только браунинг дал осечку, был подарком Брюсова, кстати, а на самом деле некстати, из него его юная пассия, поэтесса Надежда Львова, пару лет спустя застрелилась. И так далее, и так далее.

– Тут понять нам главное вот что: их стремление к той свободе принуждало их преступать не одни границы морали, но и жизни самой и смерти. Уяснили, любезные? Ходим дальше. Переходим к сюжетам двух кинолент, что сегодня нам предстоят. Если прежде их не смотрели, я вам просто бело завидую. А подайте, любезные, бедному киноведу, пересохло в горле, глоток чего-нибудь.

И глотнув из стакана, где щелкал лед, и сказав картавое «Благодаг-г-гствую!», киновед продолжил им пуще прежнего. Заострил внимание он на том, что в обеих лентах, тут предлагаемых, режиссер Роом, корифей эстетства, изучает как раз вот *это*, *это самое*, о чем речь; говоря простым, товарищи, языком, на экране *ménage a trois*, вот такая *полиамория*, в двух трактовках двух разных лет, на Мещанской в 27-м, в «Строгом юноше» в 35-м. На Мещанской там очень просто. Годы нэпа, муж и жена, живут скромно, по-трудовому, быт отлажен, живут опрятно, занавесочки накрахмалены, в доме кот, на окне герань; приезжает к мужу друг фронтовой, он печатник, нашел работу, поселяется с ними в комнате. Эту роль исполняет Фогель, муж с женой – Баталов с Семеновой,

Николай Баталов, дядя Баталова; у героев ленты их имена; фильм немой, и титры скупые. И Людмиле Владимир нравится, а Владимир в нее влюблен. Но скрывать тут никто не будет, не такие вам времена; открываются Николаю, тот сперва тык да мык, но справился, одолел в себе рудименты буржуазно-царской морали, и теперь будут жить втроем; объясняют себе и людям, что они рабфаковцы, комсомольцы, и любви их ревность чужда. Как сказали, так и живут. А потом Людмила беременна, и становится все запутано; проникает в свободу их отношений вновь мещанское в комнату на Мещанской. И Людмила садится в поезд и бросает своих мужей. Вот такой вот финал открытый, что там дальше, гадайте сами. Виктор Шкловский, его сценарий, в «Комсомолке» заметку выудил, как в роддом к родившей пришли два мужа к ней, два отца, и чей сын, от кого он, они не знают, невдомек им, и им неважно, воспитают его втроем. И Роому это понравилось, и такое вот снял кино. Киновед не велит тревожиться, что раскрыл им финал картины, потому что не в этом дело, тут вся фабула на виду, и в известном смысле, при всей отважности, не она тут погоду делает. Тут искусство не в том, про *что*, а искусство всецело в *как*! Вот за этим *как* и следите. Виртуозный киноязык! Темпоритм тугой как юное тело, вся эротика тут в эстетике, что ни кадр, то шедевр, то картина маслом, увлекательней, чем цветное. Грандиозно подано! Наслаждайтесь. Приятного вам просмотра.

И проектор затарахтел, и экран на лужайке óжил.

И с него замелькали кадры, и пустились сменять друг друга в ярких бликах светотеней, поцарапанных за полвека, но совсем, смотри, не увядших. Там сперва паровоз летел и тащил за собой вагоны, и в распахнутой дверце тамбура там в стекле отражался Фогель с чемоданчиком на Москву, и подрагивал он на стыках, и двоится в тех отражениях как метафора раздвоения между братской любовью к другу и небратской к его жене. Вот такой зачин от Роома, авангард, символизм и прочее. Хорошо все, но больно тихо; с непривычки хуже, чем грохот; ни ползвука с экрана нету, давит на уши тишина; тарахтит за спиной проектор, в тон ему стрекочет сверчок, и цикады звенят в саду, и комар зудит на подлете.

Прерывает просмотр Директор; это ж просто невыносимо. На лужайку рояль выносят со стаканом с виски со льдом; киновед

Аверьян Недотрогов на банкетку к нему садится и кладет на клавиши пальцы, и кино запускают снова, и совсем же другое дело, и мелькают с экрана кадры под чудны́е, под несуразные, но под все-таки все же звуки, и комар уже не зудит, а в тапера мы не стреляем…

На шестнадцатом этаже в общежитии на Галушкина всем собранием в тесноте сладко жмуримся; дым столбом. Эти клавиши, эти звуки. Даже хочется облизнуть.

– А скажи, старик, эта Марья, ты ее там толстушкой сделал?

– Угадали?

– Сейчас узнаем.

…Пролетела «Третья Мещанская» не успели и оглянуться, и Семенова укатила, переехала через мост под ажурными его сводами, и просторы ей распахнулись.

Аплодируют все втроем, и супруги, и Одинцов, и таперу, и киноленте. Недотрогову бальзам на́ душу. Представляет он фильм второй. Говорит им, как на духу, что и тут *ménage a trois*, только менее простодушный, на дворе 35-й год, и подтекстов в ленте немеряно, да таких, что черт ногу сломит, нелегки для раскодировки, до сих пор вот критики спорят и друг друга не переспорят; что касается самого Недотрогова Аверьяна, то признаться он не стыдится, что ему этот фильм – *аркана*, не аркан, который лассо, и не карты в колоде Таро, а *аркана*, что у алхимиков, тайна тайн, секретное средство, но он все же тут постарается изложить, как сам понимает. По эстетике тут античность, и понять, а зачем же так, помогает занятный факт из истории той эпохи, и о нем подумать нелишне; дело в том, что Лени Рифеншталь, кинодама в любимицах Гитлера, передрала в свою «Олимпию» у Роома его эстетику, и конкретно из «Строгого юноши», передрала и преумножила, и прославилась на весь мир, это было, запомним, в 36-м, а с другой стороны, справедливости ради, еще прежде, в 34-м, мы готовы предположить, сам Роом передрал у Лени из «Триумфа воли» ее эстетику, и наполнил ею свой фильм про юношу, из которого Рифеншталь передрала потом в «Олимпию», вот такая вот чехарда, но отсюда нам светит вывод, исходя из такого сходства, что подтекстами у Роома ходит в «Юноше»

ницшеанство – превзойдем природу постылую, накуем-ка сверхчеловеков, накуем-ка их да повыкуем, на потребу новой державе, с ними выстроим коммунизм и в Евразии, и повсюду; а в шедеврах у Рифеншталь там арийцы сверхчеловеки, надлежит им устроить фашизм повсюду и прославить фюрера и Германию; не забудем, что в СССР «Строгий юноша» был на полке аж по оттепель при Хрущеве, и сейчас не рекомендован. Никому, кроме тех, кому.

Такой репликой киновед сардонически сдобрил лекцию. Киноведу виски в дугу, и несет его по ухабам, и не страшно ему, увлекся. В том вреда Директор в ночь на Купалу никакого не наблюдает. Пусть потешится шут гороховый. Хорошо играл на рояле.

Шут гороховый приступает растолковывать фабулу от Олеши, а занятие не для слабых, уж Олеша нагородил; вот профессор Степанов, светило он, воскрешает он пациентов и придумал, как рак лечить; жена Маша, артистка Жизнева, она в жизни жена Роома, ей, Степановой Маше, случается при профессоре на экране в белом халате, а вообще неясно, чем занята; в первых кадрах картины заходит в море, нагишом, поплавала и выходит, понимать надо так – Венера, но не хочется понимать так, потому что глаза ж не врут, это вовсе не Боттичелли, а скорее Борис Кустодиев, вот увидите скоро сами; третий угол в этой фигуре строгий юноша Гриша Фокин, идеальный он комсомолец, золотой значок ГТО; сочинил он комплекс новой морали, и теперь его всем сдавать в нормативах для третьей ступени по ГТО; в Машу юноша влюблен по уши, по сценарию, так бы вряд ли.

Расшутился, ишь, киновед.

Говорит киноведу Директор:

– Аверьян, давай покороче! Время позднее. Фильм давай.

Аверьян трезвеет и говорит:

– Сей момент, товарищ Директор! Ну буквально несколько слов.

При профессоре там нахлебник, пережиток раньшего времени, исповедует приживальство, ретроградствует с утра до ночи. Эту роль исполняет Штраух, он потом сыграл Ильича в «Человеке с ружьем» Юткевича и потом в его же картинах много Ленинов он сыграл. Ну а тут он Федор Цитронов, омерзительный, скользкий субчик; дивным образом у Роома, по капризу его эстетики, Штраух выряжен Чарли Чаплиным, семенит нелепо, при тросточке, даже

усики налепили, а они же у Чарли с фюрером, как мы знаем, один в один; тут какой-то подтекст заложен, намекает Роом на что-то, вот, гадайте, сколько не жалко, мысли всякие сюда лезут; не играть бы Штрауху Ленина, если б фильм на полку не лег. А профессор, светило наше, он в картине обласкан властью, живет барином, дом с колоннами, львы в подножье лестницы мраморной, дорогое авто «Паккард», дог пятнистый ростом с теленка, коньяки дорогие, сигары, фрукты, и разъезды по заграницам, по симпозиумам научным, и признание с обожанием, и успехи в любимом деле, да ни в чем недостатка нет; только Гриша некстати Фокин, ходит в дом и не знает меры, от ворот ему поворот. Посылают к нему Цитронова, тот исправно, со вдохновением, сообщает дурную весть. После этого там в картине наступают у всех терзания и немало идейных споров, и про равенство и неравенство, и про то, кто хозяин жизни.

А ровесники Гриши Фокина, как и сам он, чисты все в помыслах, все атлеты, все комсомольцы, скачут даже на колесницах, а не только метают диски; их тела подобны античным статуям, те на каждом шагу в картине, чтобы зрителю знать, с чем сравнивать, а напор молодых людей, их задор, их грезы, их пластика, это чистая экзистенция – побеждает все неживое. Вот и Маша в конце концов отвечает смелой взаимностью на любовь к ней строгого юноши, ходят городом, взявшись за руки, на мосту потом поцелуй. И профессор, отревновав, признает за каждым свободу, признает, что в новой истории все прекрасно и удивительно, надо в ногу с нею шагать, не скупиться ничем, не тужить ни о чем.

И проектор затарахтел. «Строгий юноша» на экране. Производство «Украинфильм» (Киев) 1935 г. Мрамор лестницы, без людей, в ярком солнце слепит с экрана. Натюрморты сквозь кисею; ветерок кисею колышет. Обнаженная Ольга Жизнева входит в море под ярким солнцем, забегает в него, плывет, к горизонту, потом обратно, по блестящей глади круги бегут; на пустынный берег ступила, халат накинула, возвращается в дом с колоннами и со львами внизу у лестницы; здесь в тенечке огромный дог, столик с зонтиком на траве, и в плетеном кресле нахлебник дремлет; подъезжает «Паккард» с профессором; и поехало, понеслось, звуки музыки, взгляды долгие, со значением, и слова на фоне литых решеток

в завитках и решеток кованых, с завитками, по-кружевному, громко сказанные слова, каждый четко их произносит, все несут прекрасную чушь, по сценарию, по сценарию, и до самого так конца. Незадолго перед финалом на мосту говорит Маша Грише:

– Я хочу предложить вам одну идею… Можно?

Отвечает Гриша:

– Давайте.

Вот в картине слова последние. Поцелуй тут и дальше молча. И спустя неизвестно сколько прибегает от Гриши Маша, и профессор супруге рад, они оба рады друг другу, взявшись под руки, вверх ступенями поднимаются к себе в дом. На экран вплывает КОНЕЦ.

И в смятении души зрителей.

– До чего же он на тебя похож, – говорит Директору Маша…

И у автора, сочинившего эту странную эпопею, для читателей в этом месте как раз фото припасено. А сейчас он своим покажет.

– Это Юрьев в роли Степанова.

– Это он у тебя Директор?
– Ты уверен?
– Не перебор?
– Полагаю, все в абажуре.
– Если вдуматься и не ныть?
Сладко жмуримся всем собранием.
– Поздравляем! Тебя цитируют.
– Потянуло в постмодернизм?
– Не иначе. Во всей красе!
– Сам как думаешь, что за метод?
– За углом пока. Без названья.
– Ну тогда тебе в добрый час!
– Да, старик, в добрый час, погнали!

…И Директор в «Безумцах» ей отвечает:
– На меня похож? Ну тебе виднее. А вот ты и вправду с ней как близняшки. Николай, давай поддержи. Ты заметил, какое сходство между нашей Машей и той, ненашей?
Одинцов согласен, что да, то да…

И у автора для читателя есть и тут на что посмотреть.
– Ольга Жизнева в «Строгом юноше» в роли Маши. А? Какова!
Не убавить и не прибавить:

И собранию вновь потеха.

– В самом деле при телесах!

– Так мы все-таки угадали?

– И сто раз Недотрогов прав. Про Кустодиева он в точку!

– Это что ж за мымра такая? – вопрошает жуец сигары, тот, кто с нами кино не видел, потому как с утра болел. – Только шляпа и хороша. Киновед ничего не выдумал. Это ж надо с такой мордахой!

Всем на радость – прозрел товарищ. А жуец сигары собранию излагает, как на духу, нам про то, что, если вот это, что он видит перед собою, там у них предметом раздора, так он знает, о чем кино, и не надо всем киноведам ломать больше своих им копий, потому как вот она, эврика! Там про то, что любовь, люди, зла. И не просто, как видим, а очень зла!

Посмеялись, выпили, дальше слушаем.

…А у автора там в «Безумцах» Одинцова Директор с Машей убеждают теперь в два уха в его сходстве с героем фильма, и пускай на экране Дмитрий не тот, а другой там, поплоше, пускай Лжедмитрий, только сходство же не отнять, и по облику, и по духу, просто даже невероятно, просто вылитый Одинцов. Одинцов аж взопрел, пока фильм смотрел, пока фильмы они смотрели, а теперь вот и снова преет, пунцовеет и багровеет, и смущен он происходящим, и предчувствием он томим, и страшится своих предчувствий, и не знает, что дальше будет, и не знает, как ему быть; соглашается, что похож; может, этим и обойдется.

Киноведа с киномехаником упаковывают в «Паккард», это шутка, пакуют в «ГАЗик», и везут с ветерком на аэродром, чтоб поспеть их к утру в столицу.

Над лужайкой мерцают звезды, и звенят цикады в саду.

Челядь спит давно, у кого нет дел, а Директор, Маша и Одинцов угощаются и беседуют за столом в гостиной под яркой люстрой; угощаются разносолами, а беседуют об увиденном. Избывают катарсисы, чтоб не лопнуть.

Одинцов все больше молчит, он беседой смущен изрядно, все впервой ему в той беседе, только мямлит, когда нет выхода:

– Ну вы скажете! Тоже скажете! Ну вы, право, скажете тоже!

И смущается еще больше.

А Директору с Машей не привыкать, повидали всякого на веку; на своем веку, стало быть, она, ну и он, стало быть, на своих веках. И цинизм Хозяина Солнцедара и супруги его гинеколога, он здоров их цинизм, как сама природа, как движок истории от Творца, внеморален и сокрушителен.

И Директор им говорит:

– Если Маша чего решила, то уже так тому и быть. И не нам с тобой, Николай, увернуться от неизбежного, неизбежному воспротивиться. Нам с тобой, Николай, назначено ее прихоть признать уместной, не чураться, а подналечь, в грязь лицом не ударить, Коля, нам с тобою в ночь на Купалу. Ну а после уже поживем – увидим. Понимаешь, куда веду?

Одинцов сослался на недосып, от него голова, мол, кругом, не привык он бодрствовать за полночь, образ жизни ведет здоровый, потому в догадках теряется – и куда же ведет Хозяин.

– А я, Коля, тебе скажу, чего тут миндальничать. Вот допьем сейчас, доедим, и приступим сразу же. Ублажим с тобой Машу, как полагается. Не за страх, а за совесть! Чтоб знали наших.

Полчаса строгий юноша кашляет, поперхнулся; отдышавшись, на то ссылается, что он девственник, очень занят, то лапта, то бомба, то то да се, не сыскалось времени, чтобы с кем-нибудь хоть разок, потому в гостях он сейчас робеет, что не справится с предложением.

– Вот так раз! – дивится Хозяин. – Это как же? Скажи нам просто. У тебя стоит или не стоит?

– Если правильно я вас понял, то отвечу. Не импотент.

– Точно, Коля? Ты же не пробовал.

– Я не пробовал с женщиной, и ни с кем, тут вы правы. А сам я пробовал. Да и пробую. Каждый вечер же. Перед сном. И не жалуюсь, руки сильные.

– Бедный мальчик, – сказала Маша. – До чего ж вы строги с собою.

– По-другому тогда спрошу, – говорит Одинцову Хозяин. – У тебя на Машку стоит? Или старая? Или толстая? Отвечай, Николай, как есть. Не до шуток, вопрос серьезный.

Одинцов не верит своим ушам и смущается дальше некуда.

А Хозяин к нему на помощь:

– А давай покажи, Николай, чего тут. Вынь давай да положь. Вот и весь ответ. И чего тут мямлить.

– Просим, просим, – сказала Маша. – Уж вы Папе не откажите. Покажите, Коленька, покажите!

И собрав всю волю в кулак, комсомольцы не отступают, Одинцов поднялся из-за стола, повернулся к зрителям передом и готов был исполнить просьбу, чего б это ему не стоило; но однако же в сей момент, как бывает, случилось вот что: под напором с натиском в его брюках от ширинки пуговка отскочила, да с такой отскочила силой, что хватило на рикошет; лупанула по старшинству, сперва в лоб Хозяину, отскочила, и супружнице тоже по лбу, отскочила, и Одинцову залепила промежду глаз; и все трое свалились замертво на восточный ковер в гостиной; ну, не замертво, разумеется, это красное лишь словцо, а всего-то отшибло паморок…

В этом месте в том феврале автор сам себя прерывает, чтоб излить собранию душу, все ж свои и должны понять, как его подмывало, когда писал, в этом месте их всех и бросить, Одинцова и гоп-компанию, на читателя – пусть гадает, что там дальше; устал писать и готов был поставить точку; но у автора, знаем, совесть, с ней непросто, но что поделать, и, сцепивши зубы, писатель, вопреки зеленой тоске и постылым уже героям, все ж доводит нам свой рассказ до той точки, что Бог назначил, по всем правилам для пилотов при посадке ночью на палубу.

– За писателя?

– За писателя!

…Оклемались; ковер восточный уберег всех троих от любых увечий; помогли друг другу подняться, и к столу, и опять беседуют.

– Вот так так, – говорит Хозяин. – Наш ответ Чемберлену, ни дать, ни взять! Вот так натиск с напором, Коля! Да с таким напором и натиском ты тревожился, Коля, зря. Как с таким, чтоб не получилось! Вот достанется ужо даме нашей! Не боишься, Машенька, что не сдюжишь?

– Вот здоров, Папуля, смущать вопросами! Не смущай, а то в краску вгонишь. Двести лет уже не краснела. Вы краснеете, Николай?

Одинцов польщен, его прыть признали, но тревожит его другое:

– А нельзя ли, Хозяин, Маша, раз уж так, как вы говорите, чтоб я с вами, Марья Степановна, все ж сперва остался бы сам? А потом уже как получится.

– А нельзя! – говорит Хозяин. – Или вместе, или никак! Вот удумал же! Не подумал? Это ж грех тогда, а не праздник жизни. Ты мотай, Коляня, на ус. И завязывай целку строить.

Заступилась Маша за Одинцова:

– Он боится, Папик, тебя. Вы не бойтесь его, он добрый. Он премирует вас потом. Ты ж премируешь его, правда?

Говорит на это Хозяин, говорит на это Директор, говорю им на это я:

– По трудам, ребятушки. По трудам.

И еще им тут добавляем, что бояться глупое дело, потому что тот, кто боится, не достигнет высот в любви. Успокоили, как сумели. Хватит слов, приступать пора. Скоро станет светать, пожалуй…

– Да, пожалуй, – и мы согласны в общежитии на Галушкина на шестнадцатом этаже, где за окнами вьюга свищет. – И у нас тут скоро рассвет.

…И Хозяин с Машей и Одинцовым на лужайку выходят под звезды в ночь, и сверчок им в траве стрекочет, и звенят цикады в саду. Я шепнул Одинцову нá ухо, доверительно, чтоб взбодрился, что намедни на этой травке брал я Машу по-богатырски, так, что жмурились, значит, звезды.

– Вот и ты давай не тушуйся. Чего стал? Скидывáй портки.

Обнажились Хозяин во всем величии с комсомольцем во всей красе.

– Не сачкуй, Николай. Работаем. В два пистона, в четыре лапы.

Одинцов кивнул в знак согласия, вскинул руку, одну из теперь четырех, и отдал пионерский салют.

Приступили они тут к Марье и стащили с нее одежи, и в четыре руки облапили; стали лапать ее за все. Только вдруг испугалась Марья, громко взвизгнула, оттолкнула, они к ней, а она от них, они к ней, наутек пустилась, ну, иди пойми этих баб; может, мышь в траве, может, блажь в башке, может, шило спереди или сзади. Делать нечего, брат, в погоню. И пустились за ней догонять, но никак догнать не выходит, ни в саду, ни в рощице за лужайкой, ни вкруг озера в ивняках; запыхался уже Хозяин, семь веков как никак, не юн уж, Одинцову же ноги ватные от избытка страстей-мордастей не дают бежать, заплетаются; так ловили б и до утра, не собак же за ней пускать, не охрану ж кликать, дело ж именно, что семейное, как сказал им там киновед? ménage, сказал, а trois? но не больше ж; значит надо подкараулить, применить военную хитрость в сочетании с пионерской; изловили все-таки Марью, и не где-нибудь, а во чистом поле в стогу, где она от них скрыться думала. Навалились, уж навалились, так прижали – не продохнуть, а она голосила и вырывалась.

– Отпустите! – кричала. – Пустите! Не то придумала! Не хочу так! Не надо! Я передумала! Отпустите! Раздумала! Не хочу!

– А вот как бы не так, – говорит Хозяин. – Назвалася груздем, так полезай.

– В самом деле, Марья Степановна! – Одинцов согласен с Хозяином. – Зря мы, что ли, полночи гнались за вами?

Тут слетелись над ними в небе, закружились три вертолета, и на каждом вспыхнул прожектор, а по полю со всех концов погранцы в секретах из тех секретов из своих фонарей пустили лучи, и уперлись лучи отовсюду в стог и слепили теперь в глаза.

Напор сдулся, натиск поник; захлебнулась у них атака.

– Мы у всех на виду, Хозяин?

– В Солнцедаре все у всех на виду.

– Даже дома под одеялом?

– Вот представь себе, Коля, даже.

– На лужайке?

– И на лужайке.

– Во Дворце?

Хозяин кивнул.

– В Кабинете на Комбинате?

И опять Директор кивнул.

– Всюду, Коля. Мы же не просто. Мы ж с тобой Солнцедар-Семьсот.

– Как же быть нам? Так не могу. А, признаться, уже хотелось.

– Молодца, Одинцов! Ты не бздо, Коляня!

И на то Директор директор, и на то хозяин Хозяин, я на то тут, чтоб не тужить, щелкать трудности как орешки. Говорю Одинцову с Марьей:

– Знаю я тут одно местечко. Только что вот сообразил! Не подглянет за нами там ни одна душонка паршивая.

И Директор пальцем сманил к себе вертолет; и под белы руки нагую Марью заволок с Одинцовым в его нутро, повелел куда путь держать. Взмыли в небо, светает за полигоном; тарахтит нутро, жаром дышит; Марья стихла, к пилотам жмется; дрожат звезды как слезы, сморгнешь – покатятся. Прилетели на Комбинат, присели на крыше; и под землю секретным лифтом; пока в лифте, насели опять на Марью, и она признала за ними силу, и за силой признала право. А в цеху номер раз воеводят Хазар и Половец; все гребут у них как галерные, головы гребцам не поднять.

Энергичным шагом, взявши их за руки, Одинцова с Марьей ведет Директор и подводит к Красному Конусу, и заводит их в Красный Конус.

– Здравствуй, Конушка, здравствуй, Красненький! Привечай, головушка, дорогих гостей.

Благо заново раздеваться этой троице не приходится, все одежды спят на лужайке, и прелюдия не нужна, сколько можно, это во-первых, а второе, в лифте же тискали, провели на Марье прелюдию от и до, и от до до от; хоть и быстр лифт, но долго ехал, глубоко они под землей.

– Это что за шатер прекрасный? Скажи, Папик, раскрой секретик.

– Красный Конус. Сама не видишь?

– И зачем же он тут такой? Неужели твой дом свиданий?

– Оболочка боеголовки. Без начинки пока, изволь. Скоро будет ему начинка. Со дня на день. Да, Одинцов?

– Так точно!

– Вольно! А сегодня мы тут ему начинка.

– И что, правда, что нас никому не видно?

– Вот представь, на старуху проруха. Вот представь. Слепое пятно. Зато мы тут зрячие с вами. Как она тебе, Николай? Не натискался, вижу? Тискай. А как он тебе, Марья? Не чересчур? Ты таким его себе представляла в вожделениях перед сном? Соответствует? Превзошел? Дашь ему? Или ну его?

– Снова в краску вгоняешь, да? Ты не спрашивай. Сам увидишь.

– А какого ты бегать вздумала?

– Ох, не спрашивай. Черт попутал. Навалилось все как-то вдруг. Озарило и затуманило. Эти фильмы! Еще обсудим. Куда стать мне тут? Или лечь?

– Лечь тут, Машка, особо негде. Так что стань-ка давай сюда-ка. Так сюда-ка и становись.

– Обожаю таким сюда́ком. Благодарна вам, что догнали. Папик, я тебя обожаю. Обожаю вас, люди добрые.

– Ну что, Коля, покажем, на что горазды? Ты оттуда, а я отсюдова. С двух концов, посредине Машка. И не вздумай спрыгнуть до станции. Так горазд приступать? Поехали!

Понеслось; вприпрыжку, подскок на стыках, пыхтят слаженно и натужно, когда в гору, когда подъем, а под гору со свистом, с уханьем, воет ветер по всем щелям, из-под век прикрытых сыпятся искры, а из пор на коже струится пот; за пределами Конуса мир исчез, он притих сперва, отодвинулся, а потом взорвался и был таков, и остались только они в оболочке боеголовки, представители гомо сапиенс, их там трое, самцы и самка, вовлеклись в тройное соитие, самцы с самкой совокупились, и она меж ними трепещет, а они в ней вовсю соитствуют, доставляя ей наслаждение, и им тоже перепадает по закону обратной связи; их трудами замкнулся контур, изначальный, дохристианский, возродилась и преумножилась ярость древнего ритуала, одолев обветшалости, новомодности, уроборос опять ухватил свой хвост и замкнул собой связь времен; и вдавилась красная кнопка «Пуск», Красный Конус признал начинку и приладил себя к носителю, и в полет себя стартовал, не по цели, а просто так, на орбиту вокруг планеты, чтоб описывать там круги безо всякой конкретной цели, может статься, для удовольствия, может статься, что просто так; и те трое в боеголовке вершат квантовый переход, не скачок

он там, переправа, совершают и переходят, переходят и совершают, и летают над нами с вами, и оргазму их вечно быть…

В этом месте его рассказа нам рассказчик пишет о том, что не вынудили б его продолжать писать аж досюда, аж до этой унылой точки, так и горя б себе не знали, а расстались бы с персонажами прямо там, на отшибе паморок, том, что пуговкой от ширинки, на большом восточном ковре, и гадали б в свое удовольствие себе дальше, сколько захочется. Но! Довлеют законы жанра, черт побрал бы эти законы, и пришлось ему изголяться и занудствовать в разъяснениях, тянуть нитки из узелков, а они, ребята, не тянутся. Ну, ребята, за что боролись…

Солнцедара Хозяин в боеголовке он давно не хозяин там, а мужчина преклонных лет в превосходной спортивной форме и с добрым сердцем; строгий юноша Одинцов там не строгий, а просто Коля, чемпион в лапту, покладистый малый, улыбнулась ему удача, вот избавился наконец он от девственности постылой; и меж ними женщина средних лет, получившая двух мужчин, обожаемого супруга и к нему в подручные молодого, ни дурна собой, ни красавица, но зато при прыти, бойка, завзята, и умеет охать с таким задором, что вам, братцы, не передать; все прилежны в своих трудах, заключили, под стать уроборосу, свой оргазм в охапку надежную; ждут, когда их на Землю спустят, чтоб втроем о кино беседовать.

Вот такие дела, ребята.

А наутро жители Солнцедара, пробудившись, не обнаружили ни себя и ни Солнцедара, ни гудка им тут с Комбината, пробудились от тишины, ходят-бродят, себя не находят, и не видно их никому; ничего, никого, обелиск в степи неизвестному испытателю, тут костер горит кочевой, у костра Хазар, рядом Половец, пар струится над казанами, в отдалении кони ржут.

– Слышишь их? – говорит Хазар.

– Кони ржут?

– Не дури, Полова.

– Наверху там? Бывает слышно. Хорошо Машенция охает.

– Это ж надо же! В невесомости!

– А где наша не пропадала?

– А как думаешь? Воротя́тся?

Размешав уху в казане, пожимает плечами Половец.

– Знаешь, Хаз? А хули об этом думать…

Фух.

И можно не расставаться.

Рассвело, и пора на Курсы. На трамвайчик под общежитием, довезет до ВДНХ. На метро и до кольцевой, а по ней уж до Белорусской, и сквозь ветер и снегопад в дом родной на Большом Тишинском.

Там покажут еще кино.

Ольга Яблонская

Легенды и сказания о бабе Дине

Вместо предисловия

Однажды в одной из довольно безнадежных дискуссий по поводу сами знаете чего я познакомилась и виртуально подружилась с одним классным одесситом. А в честь знакомства сказала моему новому другу: «Берегите Одессу, это и мой город, из Одессы пошел весь мой известный мне род, там жила моя прабабушка, там родились мои бабушка и мама, там оставались родственники и друзья – жаль, что я потеряла с ними связь…».

– Давайте я попробую их найти, – предложил мой друг, который по-настоящему знает и любит свой город и его историю. И, выяснив у меня все возможные фамилии, даты и адреса, стал искать.

К сожалению, он не нашел следов живых людей – видимо, старшие умерли, а молодые моих лет разъехались. Но обнаружил вот такое упоминание: «Прачечная Недлин. Тираспольская улица, 13, 1914 год».

Надо будет при случае спросить у Олега Губаря, сохранилась ли ведущая к Молдаванке улица, сохранила ли она свое название… Может быть, вдруг даже сохранился и дом, где жила и держала свою прачечную моя прабабушка Дина Яковлевна Недлин.

То есть держала прачечную – это, пожалуй, слишком громко сказано: работников у нее не было, она стирала сама. Но имела, по ее собственным словам, собственное дело (в ее терминологии – «магазин»).

Именно она, неграмотная прачка, первая в нашем роду по материнской линии научилась читать. Но раньше, чем научилась грамоте сама, она дала гимназическое образование своим детям –

моей бабушке и ее брату. Помните, Глазастик Финч говорила, что хорошее происхождение – это у тех, чьи предки раньше научились читать?

Так вот, своим происхождением – хорошим или дурным – я обязана бабе Дине. Она дожила почти до ста лет, мне было уже 15, когда она умерла, и я очень хорошо ее помню.

Архивное упоминание, найденное Олегом, навело меня на вполне пока сохранные, но не совсем точные воспоминания, которые, наверное, правильнее всего было бы назвать «Легенды и сказания о бабе Дине».

Легенда первая, скорее быль

Наша баба Дина родилась в последней трети 19-го века (никто точно не знал, когда именно: на уровне внуков и правнуков она, как многие красавицы, давно уже мухлевала с возрастом, включая документы), в каком-то забытом всеми богами местечке в черте оседлости, и была каким-то более или менее средним ребенком в семье, где всего их было шестнадцать.

Подросши, она сделала своим религиозным родителям примерно такое заявление: мне плевать на ваш Закон, я не буду плодить голòту, я поеду в город, и у меня будет двое детей – мальчик и девочка, но я дам им образование и научу их играть на пианино.

Вообще-то, для галутной семьи конца 19-го века это было довольно стремное заявление, но бабуля что сказала, то и сделала. Уж не знаю, при каких обстоятельствах и в какой последовательности она добралась до Одессы и вышла замуж за моего прадеда Нусина – не знаю, и спросить уже не у кого. Знаю только, что отца ее звали Янкель Злачевский, а в замужестве она взяла фамилию супруга – Недлин.

Еще я знаю, что мальчик и девочка (именно в этой последовательности), которые у нее родились один в 1900-м, а вторая в 1902-м, получили-таки гимназическое образование: уже держа свою прачечную, бабуля обстирывала бесплатно начальника и начальницу двух гимназий, а дети за это учились (классическая история «кухаркиных детей»).

Пианино, на котором прачкины дети учились музыке, до сих пор у меня стоит: когда-то вполне приличный (хоть и тогда уже подержанный) инструмент фирмы «Вагнеръ и Лисянскій», расхожий, но настоящий «модерн» с латунными подсвечниками и слоновой кости клавиатурой. Моя бабушка всю жизнь играла на пианино, на котором училась музыке девочкой. Я помню его звучание.

В процессе жизни один из подсвечников отвалился, дека лопнула, но слоновая кость на клавишах сохранилась, только пожелтела.

Боюсь, что реставрировать инструмент невозможно: даже если это возможно технически, мне никогда на это не заработать. Но пока я жива, я с ним не расстанусь. Пускай потом дети как хотят разбираются.

Легенда вторая, совсем легендарная

Наша баба Дина была анархисткой. Не только по темпераменту, но и по политическим убеждениям. К тому же, темперамент ее большевичка-дочь впоследствии пригасила (анархисты супротив большевиков просто дети, это я вам практически по опыту говорю), а политические убеждения баба Дина сформировала еще до рождения детей.

Так вот, когда дети уже родились, она – молодая и статная библейского типа красавица – продолжала играть в свои анархистские игры. И однажды засунула сданные ей на хранение товарищами по партии листовки и прокламации в колыбель моей бабушки – впоследствии большевички, а на тот момент, ясное дело, безмятежно спящего младенца.

Нагрянули с обыском жандармы – царские, между прочим. Обыскав квартиру, ничего не нашли, и один из них попытался было приблизиться к бабушкиной колыбели, но не успел, потому что баба Дина встала у него на пути и с размаху въехала ему по морде.

Командир жандармского подразделения оттолкнул подчиненного, отдал бабе Дине честь, сказал с почтением: «Извините, мадам!» – и с шиканьем вытолкал свою команду на улицу.

Баба Дина до конца жизни хранила восторженную любовь к анархистам и уже на моей твердой памяти яростно ругалась

с телевизором, когда там показывали советские фильмы про гражданскую войну с гротескными образами ее кумиров.

Говорила – или они шо-то знают об эти люди, шо они мине так показывают, тю, холера на них!

Да. Анархистов любила, а жандармов не жаловала. Но очень гордилась одержанной над ними победой, которую не в последнюю очередь и не без оснований относила за счет своей красоты.

Легенда третья, вещественно подтвержденная

Наша баба Дина, несмотря на все свои анархистские и по тем временам феминистские амбиции, была умелой и спорой хозяйкой – до глубокой старости она оставалась на хозяйстве в своей большой и довольно в этом смысле безалаберной семье: мыла-стирала, стряпала-убирала, иногда на досуге шила и вышивала.

Но если на моей памяти шитье было для нее занятием скорее факультативным, вроде чтения (кстати, научившись лет сорока отроду читать, она читала в любую свободную минуту), то в молодости это было частью ее повседневных домашних обязанностей.

То есть прадед, может, и пошил свою единственную элегантную тройку у профессионального одесского портного, но на себя и на детей баба Дина шила сама. Дети были как куколки, хотя очень высока вероятность, что примерно до 1914-го года она шила на руках.

Так или иначе, незадолго до августа 14-го баба Дина приобрела в кредит швейную машинку фирмы «Зингер» – с ножным приводом.

Естественно, с началом мировой войны, а может, и чуть раньше, вражеская немецкая фирма стала спешно собирать свои российские манатки и свернула все свои российские филиалы.

То есть получилось, что грозный поворот величественного колеса Истории не позволил бабе Дине не то что выплатить кредит, а даже внести по нему первые взносы.

Кажется, это был единственный за ее столетнюю жизнь удачный гешефт, и она до конца своих дней трогательно гордилась

своей вполне невольной оборотистостью, с удовольствием рассказывая внукам и правнукам, как ловко они с Историей надули фирму «Зингер».

Прабабкина машинка сейчас хранится у моего брата. И вы будете смеяться, но моя невестка, братова жена, иногда на ней немножечко шьет.

Легенда четвертая, достоверная, отчасти подслушанная

Наша баба Дина, когда мы стали жить отдельно, часто приезжала к нам в гости на семейные и прочие праздники. А жили мы в смешной полукоммунальной квартире, соседствуя с очень милой семьей, в которой тоже была патриархша-прабабушка, на пару лет старше нашей.

В отличие от нашей семьи, которую баба Дина лично выскребла из неведомых глубин черты оседлости, соседи наши были из евреев, еще в позапрошлом веке допущенных жить в столицах, то есть из благородных. Их бабушка называть себя бабой Ниной запрещала, и даже я, малолетка, величала ее только Ниной Григорьевной.

В комнатушке, которую для нее выгородил любящий и преданный сын (Нина Григорьевна мне разрешала к ней приходить смотреть «Спокойной ночи, малыши!», у нас телевизора не было), висели два фотопортрета: улыбающейся юной и пышноволосой красавицы в декольтированном бальном платье, с густым жемчужным колье на изящной шее, а еще – солидного седовласого бородатого господина в дореволюционном военном мундире.

Так вот, когда баба Дина приезжала к нам в гости, она непременно посещала соседку Нину Григорьевну со светскими визитами, которые обеих радовали – и то сказать, социально близких сверстниц обе перехоронили, да и социальная пропасть, разделявшая их когда-то, была существенно адаптирована десятилетиями советской власти.

Но все же просматривалась. Несмотря на то, что дети и внуки аристократки Нины Григорьевны были в ту пору точно такими же советскими интеллигентами, как и мои родители, она свою вполне

желанную гостью все же полагала простушкой и плебейкой, а баба Дина, в свою очередь, считала ситуационную приятельницу старухой (еще бы, целых два года разницы), барыней и белоручкой.

Надо ли говорить, что у обеих были для этого забавно зеркального снобизма все основания.

Впрочем, держались обе вполне респектабельно, немного чопорно, но доброжелательно.

В паре они были невозможно хороши: Нина Григорьевна – маленькая, хрупкая, тонкорукая, с изящно выточенным лицом – настоящая вдовствующая королева, и наша баба Дина, даже в глубокой старости крупная, статная, с яркими темными глазами, ну чисто библейская Рахиль.

Несмотря на некоторые лингвистические и технические затруднения (баба Дина так до самой смерти и не научилась толком говорить по-русски, да к тому же, обе по возрасту сильно недослышали), беседовали они с удовольствием, светски улыбаясь и кивая друг другу.

Говорили они громко, и не подслушать их было мудрено, а выглядели их диалоги примерно так:

– Вы знаете, – затевала светскую тему Нина Григорьевна, – мои все удивляются, что я так долго живу… А чему тут удивляться, если я за всю жизнь не ударила палец о палец, я никогда ничего не делала, за мной всегда кто-то ухаживал: прислуга, муж, вот теперь – сын и невестка… Ну конечно, я буду долго жить!

– Ай, шо вы говорите, – немедленно подхватывала беседу баба Дина, – от мои тоже удивляются, шо я так долго живу, так я ж всю жизнь работаю, шо твоя ломовая лошадь, мине ж ни присесть, ни прилечь, шо ни одна холера мине не берет – шо ж мине долго не жить!

На самом деле их долгой жизни никто не удивлялся, а все только радовались…

Просто обе почти столетние красавицы по-прежнему хотели удивлять.

Москва

Елена Андрейчикова

Чужие

Совсем чужие они были. Глаза дикие, ручки-ножки тонкие, игрушечные, словно пластиковые солдатики, которых я отдал соседскому пацану, когда перешел в девятый класс. Братьев у меня не было.

Громкие, визгливые, непоседливые. Сколько раз жена пыталась поймать одного из них и поцеловать в вертящуюся на худосочной шее головку. Их крики звенели у меня в ушах круглосуточно. Я уже не мог отделить настоящий звук от призрачного эха, не покидающего мои барабанные перепонки даже во сне.

Они не слушались жену, а тем более меня. Делали все наоборот: разбрасывали, разбивали, разливали, ломали, пачкали.

Вы думаете, я преувеличиваю? Свой ужас или материальный ущерб?

Нисколько. Преуменьшаю. Если так ведут себя все существующие в этом мире дети, отцовство – это уже подвиг сам по себе.

Двойняшки. Какие же они двойняшки, если совсем не похожи друг на друга? Решительно ничего общего. Сказали, такое бывает.

Они бы еще не то сказали, чтобы всучить нам второго.

Вы так сразу не подумайте ничего плохого. Я детей люблю. Как я их люблю? Вот если выбирать между позициями «я детей не люблю» и «я детей люблю», я выберу второе. Честно.

А если совсем честно, я ничего об этих детях, не знаю, чтобы любить. А на безусловную любовь я не готов. Не могу, не умею, не буду.

Мне, наверное, надо постараться их лучше узнать. Что они любят есть, в какие игры любят играть, что умеют и чему бы хотели научиться. И самое главное, мне интересно, когда они прекратят орать.

Я не сплю вторую неделю. Вообще. Ни минуты. Ни мгновения. Забыл, как это делается. Уже и не помню, как голову покидают мысли, уши – шум, язык – привкус несказанных слов, а колючая дрожь оставляет в покое мой измученный организм. Я не знаю, смогу ли когда-нибудь уснуть. Они вроде засыпают после полуночи. По крайней мере шорохов в квартире не слышно.

Но я физически ощущаю этот крик и тонкий звенящий детский смех.

Мне кажется иногда, что смеются они надо мной, заглядывая мимоходом мне в глаза и безмолвно вопрошая: «Что, папенька, страшно?..».

Страшно.

Не то чтобы я боялся детей. Я же сам их хотел. Мы так решили. Правда, до этого мы это решали лет двадцать другими способами. Поразительно, какой ассортимент вариантов рождения детей существует в современном мире. Каждый раз, узнавая что-то новое, диву даюсь сегодняшним возможностям. Бабки, гадалки, колдуны, священники и святые мощи используются с не меньшей регулярностью, что и доценты, кандидаты и профессора. И стоят не дешевле. Мы тоже пользовали. Регулярно, но тщетно.

А наследников мне хотелось. С кем-то разделить все, что сумел достичь за эти годы, передать по договору дарения дело, опыт, идею, мечту…

Правда, я не думал о том, что сначала придется лет пятнадцать подбирать за ними разбросанные по всей квартире вещи, отмывать размазанные пятна сока и соуса на кухонном столе и вытирать часто сущие белые попки. Вру. Сам ни разу не вытирал. Жена. Ну и не пятнадцать лет. Но все же придется.

Я согласился на одного. Средства у нас были, жилищные условия тоже. Я действительно был не против очеловечить нашу семью, проапгрейдить до следующего уровня. Жена хотела очень. Я слышал, как она тихо плачет по ночам после очередной неудачи, глуша стоны подушкой. Молча глотал ее соленую боль, разделяя новую дозу отчаянного разочарования. Но никогда не говорил с ней ночью об этой боли. Да и днем не особо. За двадцать лет ты понимаешь многое без слов. И за двадцать лет ты устаешь жалеть ее. Да, мне жалко. Да, мне тоже больно. Но я не могу страдать

и говорить об этом бесконечно. Я вообще не люблю говорить. А тем более зачем пустая трата слов, когда невозможно ничего изменить?

Я был бы согласен так и жить уже. Люблю свою жену, свою работу, свою свободу, свой дом, свою картинку в голове и за окном. В какой-то момент свыкся с этой неуютной мыслью, что детей у нас, возможно, никогда и не будет. Есть же племянники и племянницы, у сестры жены уже даже есть внучка.

Я свыкся. Но она нет – то ли характер, то ли инстинкт.

Помню, как первый раз мы поехали в этот приют. Я чувствовал себя мальчиком, которого мама ведет в школу в первый класс. На вопросы директрисы отвечал кратко, с бесконечными паузами с высокого одобрения будущей мамаши, которая все время держала меня за правую руку, периодически сдавливая мои пальцы и сидящее на безымянном пальце обручальное кольцо. Больно.

В тот день детей нам не показали. Намекнули, что есть то, что мы хотим, и даже лучше. И отправили собирать документы.

Я только слышал шум за закрытыми дверями детских комнат, но не видел ни одного лица. Проходя по коридору, шарахался. Почему они, эти самые цветы жизни, такие громкие? Зачем все время орать?

Тогда впервые об этом задумался, и снова эта мысль меня не покидает вторую неделю.

Вот уже и ожидаемое лето началось, а я чувствую холодную дрожь, все еще ношу рубашки с длинным рукавом и громко шмыгаю носом. Температуру мерил – нет. Но и лета тоже нет. Не улыбает ни первая черешня, лежащая передо мной на прозрачном блюде, ни короткая, обнажающая все еще стройные коленные чашечки жены шуршащая юбка.

Конечно, это не вина детей. Это я. Не могу себе найти в доме места. Хочется лечь этой молодой кислой черешней в теплую тарелку, молча лежать и смотреть удивленными глазами на враждебный шумный мир. Лежать и дожидаться своего конца в чьей-то пасти. Но я должен что-то делать. Что-то говорить. Важное. Нужное. Серьезное. Полезное. Назидательное. Отеческое. Вот уже одиннадцать дней как я стал отцом.

Пятнадцать тысяч минут на то, чтобы понять, что произошло. И ни одной минуты уверенности в том, что у меня это получится.

Нет, оно-то все уже случилось. И назад дороги нет. По крайней мере с моей женой дороги назад здесь быть не может.

И сама идея мне нравится. Дети. Двое. Мальчики. Наследники. Все, как я себе когда-то рисовал в собственной идеальной реальности. После стольких лет тщетных попыток воплотить в жизнь идею биологического отцовства. Окольным путем, но я все же вошел в эту дверь. Все эти разговоры о генах, которые после меня никто не унаследует. И других генах, которые могут победить и не оправдать моих надежд. Все это меня уже не то чтобы не волнует. Мне плевать.

Я не настолько гениален, чтобы трястись над своей ДНК, продолжать с упорством идиота желать ее размножить. Кто там знает толком свое родословное дерево до самых корней? Это родители и деды вроде бы приличные люди. А дальше? Вглубь времен? Вдруг там воры, пьяницы, убийцы? Где гарантия, что не возобладает тот самый затерянный в веках ген? И в результате свой родной ребенок может показаться чужим до тошноты, до рвоты, до судорожных конвульсий необратимости судьбы всего грешного рода.

Вы видели лица отцов, дети которых не оправдали их надежд? И которых суд не оправдал? А еще и не раз?

Хотя, конечно, не могу знать, что они чувствуют на самом деле. У меня вряд ли когда-нибудь будут свои, родные. Пока бы с этими сродниться.

За эти одиннадцать дней знакомые и друзья разделились для меня на две группы. Всего на две. С такими разными чертами характера, темпераментами, профессиями, семейным положением и гражданской позицией. Всего две реакции на нас.

– Поздравляем! Вы – герои!

Слезы у женщин, понятное дело. Особо чувствительные мужики тоже потирают влажные носы.

Мы скромно оправдываемся: мол, что здесь такого, сделали и сделали. Но для себя каждый раз отмечаю эту реакцию. Для меня понятную.

Есть и другая.

– А зачем вы это сделали? Я бы вам адрес врача хорошего дала… Я бы вас с батюшкой познакомил… Не страшно?

Очень. И вас двадцать лет слушать тоже было страшно.

На чем я там остановился?

Собрали мы документы. В подробностях не буду, и так всем ясно, как у нас «быстро» справки пишут. Мы принципиально денег никому давать не хотели, поэтому скорость выписывания бумажки зависела от варианта вышеописанной реакции.

– Молодцы! Уважаю! – сообщила нам густая седая бородка районного нарколога, и за полминуты мы уже имели две именные справки с мокрой печатью. У входной двери пухлая ладошка пожала мою. Два раза.

Примерно по такому же сценарию состоялись встречи с врачами в тубдиспансере, вендиспансере и в районном ЖЭКе, где необъятная Софья Марковна намочила два платка, пока выписывала форму № 1.

Вот с психиатром у меня не сложилось с первого раза. Чуть позже у жены с кардиологом.

– Зачем вам это нужно?

Мне сразу стало ясно, с кем имею дело. Красная кричащая оправа, острый нос, который важно куда-то засунуть, и узкий недобрый рот специалистки по психиатрии напрягли меня с порога.

Обычно я не очень разговорчивый. Но она меня довела до такого состояния своими грязными вопросами насчет жены, детей и нашего образа жизни, что через полчаса я выбегал, матерясь вовремя подвернувшимися под руку и точно ее описывающими выражениями и жестами.

Через три дня вернулся под руку с женой. И под феназепамом.

Выписала.

После кардиолога жена пришла в истерике, держась за сердце.

– Представляешь! Она мне откровенно намекала на деньги. Все с тем же дурацким вопросом «зачем» и тысячами замечаний по моему левому желудочку. Мол, как вы с таким сердцем собираетесь усыновлять. Я ее спросила, можно ли рожать.

– В принципе, да.

– Тогда почему ж я усыновить не могу?

– Потому что я же должна вам в справке написать, что вы здоровы. Но вы ведь не здоровы. Значит, такую справку я выдать не могу. Права не имею. Я могла бы пойти вам навстречу… Но вы экстрасистолу свою видели?

Жена натурально играла эту сердобольную старуху, пересказывая сцену. Как она ее не убила, ума не приложу. Пожалела. Потом подумала. Полистала до утра возможности. Собрала разбросанные по справкам мысли. На следующий день пошла к главврачу. Обрисовала ситуацию. Вкратце. Через пять минут в его кабинете уже плакала заботливая толковательница кардиограмм. А жена с победной ухмылкой и полностью укомплектованным досье на нашу семейку, не замечая дождя, потока машин и людей, бежала к директрисе приюта посмотреть на фотографию «того, кто нам подходит», и второго, который условно назывался «и даже лучше».

Через две недели мы их забрали. Обоих. Суд назначили на конец лета, но по какой-то чрезвычайно генеральной доверенности нам разрешили забрать двойняшек.

В первый раз, когда узнал, что их двое, я искренне и наивно рассмеялся жене в лицо. Смеялся минут пять, пока понял, что смешного ничего не будет. По крайней мере в ближайшее время. По ее взгляду понял, что согласен. Я не подкаблучник, нет. Не надо комментариев. Но бывают такие в жизни моменты, когда я знаю, что лучше поверить ей. Потому что иначе буду бесконечно взвешивать все и перевешивать, буду долго неуверенной рукой выводить прямую перспективы. Но так и не дам однозначный ответ.

– Не смотри на меня так: мы знаем, кто у нас тут главный! – услышал от белобрысого Артема на второй день.

Что я почувствовал?

Мне захотелось стать одним из тройняшек. Взять три детали Lego и часами пытаться сложить их в единое целое. Чтобы больше от меня ничего не требовалось.

Все эти дни я не спал. По-моему, я уже говорил об этом. Сказывается усталость, наверное. Или старость. Я говорил, что мне скоро полтинник? Говорил же, и не раз.

Вы понимаете, что это такое – жить по своему личному, удачному, очень точно отвечающему потребностям графику в течение почти полувека, а потом проснуться утром и понять, что больше ты себе не принадлежишь?! И дом твой не принадлежит тебе. И все, что в доме. И даже жена твоя уже не совсем твоя. То есть не только твоя. Теперь придется всем делиться.

Съесть последний кусок любимого торта, оставленного на утро, ты можешь не успеть.

Все это ты сам захотел. Сам организовал. Сам ходил по бюрократам, сдавая им кровь, мочу и терпение.

И вроде бы витает в воздухе какой-то едва уловимый сладковатый запах личного триумфа. Что, мол, смог обхитрить, обдурить, обыграть себя же в бескозырку. Достигнуть желаемой цели. Одной из. Закрыть ноющий вопрос. Успеть до дедлайна. До юбилея. Успел.

Но что теперь делать с этим триумфом, пока толком не могу понять.

Два посторонних, совсем чужих, еще маленьких, но человека, теперь круглосуточно живут рядом с нами. Едят на нашей кухне, валяются на нашем диване, терзают по очереди мой ноутбук, спят в моем кабинете и называют мою тещу «бабусей».

Первый, тот, которого я назвал белобрысым, совсем худой, бледный, улыбчивый, с глубокими ямочками на щеках, слегка косыми подвижными глазками и слишком подвижными другими частями организма. Не может спокойно ни стоять, ни лежать, ни сидеть. Даже на унитазе. И заводит все время второго, более степенного: самому-то скучно на голове по дому ходить.

Второй, Антон, – этот потише. Чернявый, смуглявый, коренастенький. Аппетит зверский, ест все без разбора, и за Артемом подъедает, пока тот вертится. Впрок. Если бы не брат, думаю, шума бы много не делал. Как двух таких разных детей могли назвать братьями, понять не могу. Хоть мне триста раз и объясняла жена разницу между близняшками и двойняшками, продолжаю поглядывать на них с подозрением. Не обдурила ли сердобольная директриса ради улучшения показателей в области статистики усыновления.

Меня спрашивали пару раз, давали ли мы взятку, чтобы решить это дело побыстрее. Я честно отвечаю, что нет. Я не давал. Есть у меня подозрения, что жена чем-то все же руку смазала этой огромной женщине из районной службы в черном парике, с массивными золотыми браслетами на запястьях и маленькими сверлящими, острыми, густо расписанными тушью и милосердием

глазками. А то первый раз пришли – детей нет. Ну, тех, которых можно взять, у которых статус «сирота». Детские дома переполнены, только большинство детей так никогда и никому не разрешат усыновить по причине идиотизма законодательства. А через неделю нам показали список. Сотни белобрысых и смуглых, голубоглазых и кареоких, худых и упитанных, буйных и замкнутых, здоровых и болезненных девчонок и мальчишек…

Теперь вот сижу полдня перед ноутбуком, пряча глаза в монитор, имитирую активную занятость и отслеживаю скукоженными ушами происходящее за дверью спальни, куда я переместился, прячась от шума.

Слышу, как жена гремит кастрюлей, включает воду, хлопает дверью холодильника. Артем катается на велосипеде по квартире, задевая все на своем пути. Хрупкое и ценное он уже разбил, поэтому даже не вздрагиваю при каждом повороте руля. Антон же сидит на диване, ну или под диваном, бесконечно щелкая пультом от телевизора, листая каналы, делая звук все громче, методично ковыряясь в носу. Как слышу про нос? За эти одиннадцать дней я открыл в себе новые способности: слышать глазами и видеть ушами. Может, постепенно становлюсь настоящим родителем?

Или просто схожу с ума?

– Милый, идем с нами обедать!

Жена заглянула в спальню. Улыбается.

Изменилась. Заездили они ее. И няню ни в коем случае не хочет. Мол, мальчики должны привыкнуть к маме и папе, посторонний человек будет мешать, всячески отвлекать внимание на себя. Может, мальчики и привыкнут к родителям. А как родителю привыкнуть к ним?

За обеденным столом чувствую себя гостем в доме. Я, конечно, стараюсь что-то говорить важное, отцовское, вроде: «Возьми ложку нормально, сядь прямо, вытри губы, вытри руки, не лезь в чужую тарелку, не кроши на пол, не отвлекай брата». Мой рот произносит эти замечания, возникшие откуда-то из генетической памяти глав семейства. Они жили где-то на задворках сознания, так долго, почти полстолетия, ожидающие появления на свет. Да, эти дети уже могли бы теоретически быть моими внуками. Произношу автоматически, толком не понимая значения слов.

Я очень стараюсь. Стараюсь сделать, сказать, суметь, стать. Стараюсь приблизить момент, когда мне можно будет расслабиться. Насладиться обедом, приготовленным женой. Получить удовольствие от тепла наступившего лета. Почувствовать вкус этой недозревшей черешни. Понять, как это – быть хорошим отцом этим детям. Как это вообще – быть отцом.

А пока мне хочется поскорее сбежать. От этого беспрестанного визга за столом, от луж пролитого между тарелками супа, от жонглирующих посудой покрасневших рук жены, от крошек хлеба под столом, на которые я наступаю голыми ступнями, и которые обжигают меня, как раскаленные угли.

Возвращаюсь к своему компьютеру. Я должен работать, а мне хочется выговориться. А так как говорить я не люблю, то доверяю это все вордовскому файлу.

Мой род занятий никак не связан с внезапно появляющимися на белом экране хромающими эпитетами и метафорами. Вместо них должны появляться цифры, счета, спецификации, графики и отчеты. Бизнес у меня дилерский. Все давно налажено и с немцами, и с местными. Но контролировать надо постоянно. Пытаюсь. Очень активно. Вглядываюсь с самого утра в короткую спецификацию, а буквы и цифры расплываются. Закрываю глаза, открываю – напрасно. Очки свои протер два раза. Без изменений.

Еще недельку посижу дома и съезжу в Мюнхен. Давно лично не встречался с Вальтером. Да и пора мне проветриться. Короткая командировка должна освежить меня, я соскучусь по жене и дому. Решено. В конце концов, я это делаю для их же блага. Кому станет легче, если я заброшу работу и буду целый день ходить за ними следом и тыкать носом в букварь?!

Наследников в своей голове я представлял несколько иначе. Понимаю, что это абсурдно, но как-то, думая о детях, всегда видел сразу хотя бы подростков – умных, любопытных, жаждущих знаний, послушных, аккуратных, ответственных, уважающих отца, беспрекословно ему подчиняющихся, но все же имеющих свое мнение. Желающих продолжать мое дело, расширять его, модернизировать, заменить меня в любую выбранную мной минуту. Ценить каждое заработанное мною евро и стремиться постоянно преумножать капитал.

Вы мне не скажете, когда эти четырехлетние малявки принесут мне первое евро, хотя бы доллар, да хотя бы гривну?

Не знаете?

Вот и я не знаю. Как и когда. И самое главное, как мне себя вести и что делать для того, чтобы картинка идеального будущего стала хоть немного ближе и осязаемее.

– Я покакал! Мама!!! – перебил мой мысленный поток крик Артема. Они даже это сами сделать не могут. Надо было брать детей постарше, которые хоть что-то могут без помощи моей жены.

Вместо того чтобы приблизиться перед сном к горячей женской спине, прижать пятерней мягкую левую грудь и твердый, отвечающий взаимностью сосок, ощутить себя в теплом месте, с привычными эмоциями и ритмичными движениями, я сжимал кулаками подушку и челюстью сдавливал немую ярость. А я же сам этого хотел.

Они забегали в спальню по очереди четырнадцать раз. То один, то другой, то пить, то писать, то страшно им, то смешно, то есть, то снова пить.

Я ничего уже не хотел. Делал вид, что читаю. На одной странице пролежал пять минут, опомнился, перевернул.

Дети. Да, я знаю. Они просто дети. Я очень стараюсь. Я должен привыкнуть. Я обязан свыкнуться. До того как успею свихнуться.

Няню она не хочет, в сад их водить пока тоже. Я толком не работаю, не ем, не сплю все эти дни, и улучшение не намечается. Жене я поддакиваю, когда она говорит, что уже начинает привыкать, начинает соображать, как себя правильно вести, уже засыпает спокойнее, скучает по ним, когда выходит в магазин… Уже… уже… уже…

А я еще нет. И сейчас меня волнует лишь вопрос, когда будет «да».

К утру определился.

Если твоя жизнь круто меняет привычный уклад, ты должен быть собранным, решительным, ответственным и оперативным. Я решил поехать в Мюнхен. На неделю, не больше. Работать все же надо. Попрошу тещу приехать помочь жене. От меня толку мало.

– Папа, ты на самолете полетишь? – спросил вечером Антон, когда я сбрасывал наспех вещи в чемодан и ожидал приезда такси.

Выходил из дома с улыбкой. То ли из-за того, что сбегаю по уважительной причине, то ли в предвкушении полета на самолете. Папа. Странно звучит. Я этого не чувствую. Не чувствую, что имею право так называться. Не чувствую гордости или того, что там нормальные папы должны чувствовать. Интересно, если бы детский голос в толпе на улице крикнул «Папа!», я бы обернулся?

Мюнхен. Тот город, где мне всегда и все понятно. Как только я, выйдя из самолета, коснулся ногой земли, жизнь стала такой, какой я привык ее знать до недавнего времени – устроенной, упорядоченной, удовлетворяющей меня.

Легкий летний ветер, теплое, но не раздражающее солнце, температура воздуха около двадцати, время около восьми – самое оно выпить темного пива и съесть вареную свиную рульку.

От этих мыслей у меня началось активное слюноотделение, и я забыл позвонить жене, как и обещал, сразу по прилету.

Меня встретил Франц, помощник Вальтера – молодой, лет двадцати пяти, сдержанно улыбающийся, традиционно светловолосый, худощавый, подтянутый, слегка пижонски одетый, безупречный в манерах и словах ариец.

Он отвез меня в Хофбройхаус и проводил на второй этаж, в маленький зал вдали от шумных музыкантов. Там за одним из массивных деревянных столов уже сидел Вальтер Леманн, мой немецкий бизнес-партнер. Официант тут же поднес две литровые кружки темного пенящегося пива и соленые претцели в корзинке.

– Все как ты любишь, мой друг!

Я почувствовал себя счастливым ребенком.

В одиннадцать, когда нас, пьяных и сытых, пытались выпроводить из закрывающегося ресторана, мы выпросили еще по кружке, которые нас укрыли так, что наутро мы не помнили, как добрались – я в гостиницу, а Вальтер домой. Тактичные подробности нам рассказывал Франц.

Голова гудела, и, когда мы ехали в офис Вальтера, я попросил его остановиться у аптеки. Аспирин вернул мне память. Я вспомнил о доме. О жене. О детях. Телефон был полностью разряжен.

Как только на зарядке он включился, мне позвонила жена. Выговаривала меня как мальчишку. Долго. Мне было стыдно и неловко. И очень неуютно снова быть трезвым.

Наспех обсудив рабочие дела в офисе, мы пошли обедать и похмеляться.

Вальтер уже не пил. Сдержанный, собранный немец и так вчера удивил меня своим гостеприимством.

– На сколько дней ты приехал?

– На четыре.

Он бы не понял, если бы я признался, что на целую неделю.

– Отлично, послезавтра приезжает наш партнер из Белоруссии, давно хотел вас познакомить.

И у меня останется еще три дня ничегонеделания. Жизнь налаживается.

Бульбаш оказался неплохой компанией. Я устал один, в одиночестве пить три дня, так что его появление за нашим столом произвело на меня должное впечатление, и я снова напился. Все эти дни Франц увозил меня из ресторана, а утром препровождал в офис, идеально одетый, причесанный, надушенный, чуть ли не припудренный. При виде его я немного стеснялся своего перегара вечером и синих мешков под глазами наутро. Он никогда не сидел с нами за столом, ждал в машине, всегда был пунктуальным до минуты и предусмотрительным до мелочи. После первого вечера теперь в машине у него был и аспирин. Я как-то утром пытался по-немецки ему объяснить, что обычно я так много не пью. Он кивал, деликатно улыбаясь.

Поднабравшись с белорусом – не помню его имени, – я позвонил жене. У нее был тихий спокойный отрезвляющий голос. Я не соскучился, но сказал обратное. Не знал, что спрашивать о детях, но она сама что-то рассказала, какую-то, судя по всему, веселую историю, произошедшую с ними вчера. В моем любимом Хофбройхаусе по традиции было шумно – я не очень расслышал.

– А у тебя есть дети?

Все же мысль о детях зацепилась за какую-то полутрезвую извилину, и я задал своему собеседнику вопрос, который раньше меня никогда не волновал. Тот принялся расписывать трех своих дочерей разного возраста. Чтобы прервать эти его нежности – расплакаться только ему еще не хватало, – я то же самое спросил у Вальтера, который весь вечер цедил первый и единственный бокал светлого нефильтрованного.

– Есть. Сын. Франц.

– Его зовут Франц?

– Наш Франц, который ожидает в машине.

Мой затуманенный солодом мозг пытался осознать эту расстановку. И как я сам не догадался: такие же манеры, профиль за рулем, только моложе в два раза. Но для меня это все же было более чем странно: сын президента крупнейшей немецкой машиностроительной компании ждет меня каждый вечер под рестораном, возит пьяного домой, и его отец ни разу не пригласил сына – взрослого сына, хорошего сына, разумного сына, достойного сына – поужинать с нами.

– Ну как же, почему же? – не удержался и промямлил я.

– Он – простой работник, как все. Молодой и неопытный. Придет время – будет все иначе.

У меня только так.

Жестко. Но, восхищаясь каждый раз подходом к работе Вальтера, я и сейчас не смог с ним не согласиться. Слегка заикаясь, рассказал ему о том, что стал на днях отцом двойняшек. Идеально выбритая немецкая физиономия слушала мои неожиданно выплеснувшиеся подробности, слегка улыбаясь – то ли скептически, то ли сострадальчески. Абсолютно молча. Такой реакции я еще не встречал.

Конец вечера и возвращение в отель были по традиции смазаны.

И еще три дня я был один. Мне не хотелось ни с кем разговаривать, да и пить больше не было сил. Бродил по городу, обедал, спал до вечера, ужинал, снова спал. Количество выпитого алкоголя за первых четыре вечера все еще продолжало держать мое настроение приподнятым.

Мой новый купленный здесь летний костюм идеального серого оттенка, мои новые туфли, этот гостеприимный город, рациональный выбор гостиницы, температура и влажность воздуха, а вместе с ними и вся моя жизнь представлялись мне органично созданными, вылизанными, вычищенными, выкроенными с немецкой педантичностью и практичностью, которую я всегда уважал и перенимал как мог в работе и в жизни.

Легкое, не обремененное ничем настроение сначала завело меня в Новую Пинакотеку, где я провел несколько часов. Вот-вот

готовые упасть мне под ноги живые лепестки подсолнухов так впечатлили меня, что подумалось: неплохо было бы это все однажды показать двойняшкам. Тем более на расстоянии моя семья начинала казаться мне идеально скроенной. Затем я забрел в детский магазин, где, хоть и напрягаясь добрых полчаса, но все же выбрал один грузовик и один экскаватор Liebherr с традиционно ярко-желтыми корпусами. После зашел в магазин Bottega Veneta на Максимилиан-штрассе и купил жене шелковый шарф. Он стоил целое состояние. Я не привык делать такие подарки без повода, но в тот момент, когда ассистент магазина, модельного типа блондинка с короткой стрижкой, красной помадой, холеными руками с красным маникюром, дала мне его пощупать, ощутил такую легкость – легкость ткани, легкость настроения, легкость собственного бытия, что мне непременно захотелось этим поделиться с женой.

Она периодически писала отчетные эсэмэски, я читал их и отвечал принятыми между нами односложными нежностями.

В последний день перед отлетом домой я сидел в ресторане «Шварцрайтер» за столиком на улице. После девяти веяло прохладой, и приятная бодрость пронизывала всего меня. Все казалось еще более простым и понятным, а я себе – снова свободным от удушающего, переполненного жизненного пространства. Люди не спеша прогуливались мимо меня, излучая уверенность и спокойствие в собственном завтрашнем благополучии, чем и я старался напитаться. Как мне казалось, удачно. Уже был готов вернуться, полный сил, отдохнувший от окружающей меня давящей домашней суеты. Все у меня будет не хуже, чем раньше. Все наладится, все сумеется, все сбудется…

Не удержался и все же выпил три джина с тоником, которые добавили еще больше смелости перед возвращением домой.

Ночью мне снилась блондинка из магазина. Я имел ее в своем номере, уложив на круглый стол у окна. Не люблю с чужими делиться постелью. Она что-то все время выкрикивала, и, хоть я и понимаю немецкий, слов не запомнил. Запомнил только ее упругий зад, плоскую холодную грудь, которую держал двумя руками, боясь во сне соскочить от ярых движений, и бежевый шелковый шарф, лежавший рядом в подарочной коробке с бантом. Стрижка у нее была короткая, и я помню, что все пытался ухватить

ее волосы в кулак, как обычно проделывал с длинноволосой женой, но это мне никак не удавалось. Позже открыл коробку, бросил шарф на ее шею, ухватился за концы, тем самым зафиксировав свое дальнейшее пребывание в теплой податливой плоти.

Мой сон ушел до того, как я кончил, утром же пришлось самому довести дело до конца. После месяца отсутствия секса это было кстати, как, впрочем, и вся моя поездка в психотерапевтический баварский город.

Жена и дети ожидали меня в зоне прилета, и я увидел их издалека. У Артема в руках был большой букет ромашек. Выглядели они как счастливая красивая семья, встречающая отца семейства. Двойняшки в одинаковых джинсовых шортах и ярких бейсболках – один в синей, другой в красной.

– Здравствуй, папочка! Как ты, папочка? Мы скучали, папочка!

Антон сиял. Его глубокие ямочки на щеках заставили улыбнуться и меня.

Этот не пропадет.

Хитрые подвижные глазки смотрели вразлет не только друг с другом, но и с произносимым текстом.

Я взял у него из рук букет, жена и Антон покатили чемодан к выходу.

Головная боль сдавила затылок. У меня не было сил говорить, да и обычно очень разговорчивая жена молчала. Она села за руль моей машины, дети на заднее сидение, и я отдал им букет.

– Как вы тут? – я поинтересовался, стараясь быть максимально заботливым.

– Все хорошо. Как ты там? – ответила жена, сделав акцент на «ты».

– Замечательно.

Переглянулись, выдавили улыбки. Она как-то странно дергалась. Я рассматривал ее краем глаза. На руках, держащих руль, проступили вены, волосы, всегда распущенные темные блестящие волны, были забраны на затылке в дурацкий пучок.

– Теща приезжала?

– Нет, не смогла. Папе стало плохо – не хотела его оставлять.

Мне противно, когда меня заставляют испытывать чувство вины. И оттого становлюсь еще более противным. Самому себе.

На вечер у меня обязательно найдутся срочные дела. Я же чувствую на себе этот пронизывающий насквозь взгляд, ищущий внутри меня виноватость.

– А я вам подарки привез! – пришел в голову хороший поворот разговора.

– Ура!!! Подарки, подарки, подарки! – завопили дети и стали размахивать букетом, отвлекая жену от дороги.

Впервые в жизни я услышал, как она ругается. Громко. Мерзким едким голосом. Вспарывая мне ноющий голодный желудок этими криками. И даже пара матерных слов. Всего пара секунд, вернувших меня окончательно из Мюнхена домой.

Такой ли был мой дом, когда я его покидал?

Пыльца с ромашек осыпалась на бежевую кожу салона. Я это заметил, поморщился, но ничего не сказал. И так достаточно было шума. Когда мы припарковались возле дома и выходили из машины, она все же это увидела, и ее безумные крики возобновились. Оба получили подзатыльники. Я инстинктивно вжал голову в шею.

Дома раздал подарки. Мальчуганы были счастливы. Жена открыла коробку, и я слегка смутился, вспомнив игру ночного воображения. К чему смущение, ведь это был всего лишь коротенький, совсем ничего не значащий сон?!

Шарф она сунула в шкаф и позвала всех ужинать. Как будто я и не уезжал, и вновь окунулся в эту суету за кухонным столом и обжигающие мои пятки крошки под ним.

А мой ребенок был бы похож на меня? Внешне? Характером? Повторял бы меня в моей закрытости, замкнутости, педантичности, чистоплотности, честолюбии? Эти два веселых чудовища, как я их ласково называл, были полной моей противоположностью. Я думал об этом каждый раз, когда наблюдал за ними. Как неуклюже они держат ложки в руках, как хаотично вертятся за столом, задевая все локтями, как они отрывают большие ломти от хлеба и запихивают себе в рот, как наклоняют тарелки и пьют борщ, который потом красными тяжелыми каплями висит на детских подбородках. По Антону вообще я никогда не мог понять: он такой грязный или просто очень смуглый. Жена делала им резкие замечания, я не встревал. Они все равно не слушали меня.

– Подстриги им ногти.

Это было все, что я произнес за тем ужином.

Потом ушел смотреть футбол в паб рядом с домом. Там было много людей, много детей. Я сидел за барной стойкой и пил пиво. После третьего бокала решил, что в следующий раз можно с собой взять жену и детей.

В те дни я начал действительно много пить. Наутро жалел, к обеду забывал, к вечеру перебирал в памяти названия алкогольных напитков и гадал, что будет приятнее всего заказать на ужин. Мы стали выходить все вместе по вечерам в кафе и рестораны, преимущественно с детскими комнатами и площадками.

– Это ваши детки? Какие милые!

Когда мы встречали знакомых, мне нравился этот момент. Как будто наконец меня приобщили к высшей касте удачливых самцов под названием «дом-дерево-сын». Последнее – два раза. Очень удачливых.

Хоть жена и была с ними часто агрессивна, они тянулись к ней. Стали прислушиваться и даже иногда побаиваться. Она действительно стала им мамой.

А я…

Я же пока так и не понял, кем стал. Но точно знал, кем перестал быть. Самим собой. Мне не было места в доме. И уже даже в собственной постели было странным образом неудобно. Долго мылся перед сном в душе или читал в туалете, ожидая, пока жена заснет. Мое воображение больше не будоражили ее голые ноги, оставляли равнодушным горячие ягодицы, прижимающиеся ко мне по ночам. И меня никоим образом не возбуждала она в новой роли – роли агрессивной мамаши, воспитывающей двоих детей, при этом напрочь забывшая обо мне. Целый день она тратила на них, а вечером, уставшая, укладывалась со мной в постель. Оставляла мне каплю своей растраченной до дна энергии, оставляла утомленные руки на полусонные объятия, обведенные темными кругами глаза, оставляла остатки остатков.

Нет, была хороша все так же, как и раньше. Но подачек я не хотел. Только легкое блуждание ее пальцев по моей спине ночью под одеялом иногда навевало мысль, что тело еще интуи-

тивно просит забытой ласки, когда уставшее сознание давно смотрит скомканный сон. Но я ревновал. Признаюсь, ревновал к двум маленьким мальчикам. Смешно?

Мне нет.

– А ты когда осознал по-настоящему, что вот стал папой и этому рад? – я набрал номер друга, от которого можно было ожидать относительно искренний ответ. А то уже достали с этими сказками о врожденных отцовских инстинктах. Я думал раньше, что только бабы такие позерки. Нет, мужики тоже любят строить из себя вселенских папаш.

– Сразу вроде, когда Пашка родился, – и этот попытался туда же.

– Не ври.

– Ну, я же молодой был, мне еще двадцати не было.

– Так когда?

– Через пару месяцев, дети – это рад…

– Не ври, ты мне друг или как все?

– Когда он в школу пошел.

Вот это честно. Еще два года. Два года подождать – и все будет как у всех.

Стоп. Он-то с ним с рождения.

Шесть лет?

Шесть лет?!

Шесть лет!!!

Надо что-то делать. Деловые поездки – это хорошо, конечно, мозги промывает. Но от реальности в командировку не сбежишь.

Я вышел из спальни и был настроен решительно. Мне обязательно нужно найти с ними язык, контакт, сферу влияния и условия для безоговорочного отцовского авторитета.

Залез в интернет. Лучше бы не лез. Идеалистические слюнявые рассказы о счастливых семьях, в которых ни слова правды, ни буквы искренности. Все у них было сразу просто, и «боженька помог». Чего же он мне не помогает? Я не против его конструктивного содействия. Напоролся потом на сотни жутких историй о том, как, не выдержав напряжения и условий новой жизни с приемными детьми, люди отдавали их назад в детский дом.

«Дети прощают родных родителей, но приемных – никогда». Фраза впечаталась в меня, и после этого несколько ночей низкий

грудной голос нашептывал мне это, как будто зная о моих намерениях: если к концу августа не свыкнусь, на суде не буду врать.

Больше с интернетом я не советовался.

Жена была все время на кухне. Она приросла к этому месту у плиты, как будто стать матерью означало научиться готовить десять видов супов. Мало того, что в моем доме поселились два чужих человеческих детеныша, еще и человек, который казался родным почти двадцать лет, становился невыносимо чужим. До ужаса. До нервного тика правого глаза, который в течение этих месяцев отпускал меня только ночью, и то ненадолго. Я перестал ее понимать.

Мне удавалось прервать это постоянное нахождение на кухне выходами на ужин в ресторан. Это, казалось, нравилось всем: и мне, и ей, и мальчикам. После второго бокала вина или второго стакана виски мы все становились такими близкими и дружными. Двойняшки, отслеживая мое расслабление под действием алкоголя, называли меня «милый папочка», подбегали сзади к моему стулу, пытаясь обвить ручками, но сквозь туман я чувствовал, что они играют. Для официантов, для посетителей заведения, для жены. Для красивой картинки.

Впрочем, как и я играл счастливого отца семейства.

Лето было не просто жаркое, душное. Полтора месяца показались вечностью, и все эти мысли продолжали мучить меня. На трезвую голову. На пьяную – все было не так печально. Особенно в ресторане с детской площадкой.

Когда мне нужно было поработать с документами, я уходил в кафе около дома. Если бессовестная совесть начинала меня пытать, я возвращался и прятался от всех в туалете. В четырехметровом замкнутом пространстве, закрытом изнутри, я сидел на крышке унитаза с ноутбуком в руках, в наушниках, и пытался работать.

То ли над документами, то ли над собой.

Пытался себе внушить, что это нормально. Им же по четыре года. И так уже нам удалось миновать пеленки, памперсы и почасовое кормление грудью. И они у нас всего лишь пару месяцев. Когда-нибудь я привыкну.

Они не интересовались мной, а я ими. Даже толком не знал, что они любят, а что нет. Что приносит им удовольствие, а что

огорчает. Меня только все время раздражала их неаккуратность, абсолютное безразличие к вопросам чистоты и гигиены. Они не хотели чистить зубы, не хотели умываться, а если это и делали, то потом после них нужно было долго отмывать раковину от пены, грязных потеков и пасты, в тюбик которой они постоянно наливали воду. Что я и делал, каждый раз заходя в ванную или туалет после Артема или Антона. Я боялся оставить на столе без присмотра свои очки, когда шел принимать душ или спать. Их можно потом долго искать, что и случалось несколько раз. Дрожал над своим ноутбуком, который приходилось таскать везде за собой. Однажды дал им его посмотреть мультфильмы, и Антон вылил на него сладкий чай. Еле спасли.

Вспомнил, как в первые дни нашего совместного существования даже побаивался за свою жизнь. Не смейтесь. Откуда мне знать, что у них там с генами? Как говорила их воспитательница нам в единственную встречу, «Гену пальцем не задавишь». В доме кухонные ножи, ножницы, иголки, булавки…

Глаза у них пронзительные. Острые, цепкие, протыкающие тебя и без вспомогательных орудий. Знающие все о жизни и о тебе, взрослом умном дяденьке. Даже когда они смеются. Жутко взрослые глаза.

В те моменты, когда я наблюдал за ними, они вели себя каждый раз одинаково. Шумели, дрались, кричали, отбирали друг у друга игрушки, бросали ими. Но стоило появиться рядом на детских площадках другим детям или мне согласиться пригласить кого-то в гости, мальчики начинали дружить против всех и защищали друг друга. Жена мне рассказывала, что никогда не могла допытаться, кто из них разбил или разлил что-то. Никогда один не сдавал второго. Получали наказание вместе и, пряча признания в опущенных в пол глазах, сидели в углу вдвоем.

Как мог я прорваться в этот закрытый мирок? У меня никогда не было брата. Я никогда не был с кем-то близок настолько. Жена? Это другое.

Да… Конечно, я близок с ней. Насколько это возможно. Но по-настоящему впустить кого-то в свою душу не умею. Не доверяю. Никому. Меня не учили. Как вообще мне, такому чокнутому, разрешили усыновить детей?

Как нам найти хоть что-нибудь общее?

Вот почему у меня нет детей. Природа куда умней всех этих служб по усыновлению. Нет – значит, не надо. Не сможет. Не сумеет. Никогда не научится.

Что же я буду говорить на суде?

А если меня спросят, люблю ли их?

Мне придется лгать.

А им придется лгать, отвечая интересующимся, любят ли они меня.

Хоть этого получится избежать. Нас предупредили, что детей необязательно брать с собой.

А то они бы рассказали.

Эти не соврут.

Эти ничего не боятся. Ни сказать, ни сделать, ни потерять. Никого и ничего.

В отличие от меня.

Может, это мне у них нужно учиться? У детей, которые пережили больше, чем иной человек и за всю жизнь не успеет.

Я пытаюсь вспомнить свое детство. Как мой отец воспитывал меня?

Он ушел, когда мне было девять.

До этого, возможно, что-то и было хорошее. Но я не помню. Мне скоро пятьдесят.

Знаю, что он ушел к другой женщине. После этого год еще как-то общались, я ездил в гости к бабушке с дедушкой пару раз, несколько раз меня забирал отец, и мы то ли ходили в кино, то ли просто бродили по улицам. А потом он перестал к нам приходить. Мать сказала, что у него в той, другой семье родился сын, в сердцах даже как-то крикнула: не спрашивай, мол, больше, где твой отец, у него теперь другой сыночек. Я больше и не спрашивал. И никогда его не видел. Звонил ему пару раз, когда мне было уже двадцать: встретил его друга, дядю Лешу, на улице, и тот дал его номер. Сказал, что отец из новой семьи тоже ушел и живет один. Я решил однажды набрать. Разговор не клеился. Он не знал, о чем меня расспрашивать, а я его. Мы были одинаковые: оба замкнутые, закрытые, с трудом идущие на контакт. А тут – пропасть в десять лет и миллион обид. Моих обид, которые так никогда

ему и не высказал. И никогда так и не услышал его версию. Четырнадцать лет назад он умер от инфаркта.

Даже в те моменты, в девять лет, когда молчаливо ненавидел его за все: за мать, за прерванное детство, за то, что он так и не осмелился никогда поговорить со мной, – я знал, как все же похож во всем на него. Внешне, манерами, жестами, походкой, молчанием. Когда мать долго смотрела на меня, не мигая, понимал, что напоминаю ей отца.

И сейчас это понимаю.

Мне хорошо одному. Наедине. В тишине.

И я такой же плохой отец. Также не способен любить детей. Чужих ли, своих. Нет никакой разницы. Неумение это передается с проклятыми генами.

Не проходит и дня, чтобы я не думал, что будет, если этого не сделаю.

Не смогу.

Откажусь.

Опозорюсь, но честно откажусь.

Просто не приду на суд.

Исчезну. Испарюсь.

В какое-то утро я пытался работать в нашей спальне. Забыл включить кондиционер и не сразу понял, почему мне не хватает воздуха. Я задыхался. И это была не только изнуряющая меня в этот год летняя жара.

Я просидел три часа перед пустой открытой страницей Word'а.

Назад жена их не отдаст, это ясно. И я их не брошу, буду помогать деньгами, конечно.

Жилье оставлю, машину тоже. Жене никогда не придется работать. Пусть занимается детьми. Я буду приезжать к ним в гости. Сниму себе маленькую квартирку. Может, даже в Мюнхене. Почему бы и нет? Тишина, чистота, покой и лететь недалеко.

Расходятся же люди. Живут дети с мамами – и ничего, вырастают нормальными людьми.

Вот я: после школы пошел работать, научился зарабатывать сам и матери помогал. В двадцать три уже купил ей новую квартиру. И какая кому разница, как там мамы с папами существуют – совместно или порознь?

Дело же хорошее сделали. С женой им точно лучше будет. А я один буду жить. Когда тебе под пятьдесят, смешно рассчитывать, что хватит сил идти до конца в новом деле, особенно в таком заведомо провальном, как идеальное отцовство.

Решил перед сном сегодня с женой поговорить, когда уложит детей.

Так я ненавижу эти серьезные разговоры! Особенно начинать самому. Особенно когда хочется лечь в кровать, уснуть, а утром проснуться в другом месте.

Дождался, когда пацаны затихли. Тянул все на себя одеяло и свет в комнате выключил, пока ее ждал. Днем про себя отрепетировал, с чего начну. Так что заминок и пауз не должно быть.

– Ты спишь?

Жена уже легла, чуть отвоевав у меня одеяло.

Я потянул паузу, припоминая заготовленный текст, и начал.

Мне в темноте легче разговаривать. Когда глаза в глаза, сложно.

В темноте как бы и не я говорю. От третьего лица. Единственно правильного числа.

Я несвойственно тараторил: хотелось поскорее закончить. Даже не ожидал от себя такой разговорчивости. В темноте и тишине дома слова мои звучали резко, отскакивая от стен, я сам не совсем узнавал себя. Несколько раз запнулся. Повторил проговоренное. Было очень холодно. Наверное, лето подходило к концу. Я снова шмыгал носом, голос иногда скрипел и ломался, отчего делался каким-то инфантильным. Перешел на шепот. Переспрашивал, слышит ли она. Понимает ли меня. Согласна ли на такие условия. Она не отвечала, но я видел в темноте два светящихся уголька, которые иногда двигались в такт моему голосу – выше-ниже. Конец разговора я уже не помнил: то ли вырубился, то ли просто устал повторять зазубренные предложения.

Следующим же утром я должен был уйти. Чтобы не тянуть и не передумать.

Должен был, но не смог.

Я это понял, когда попытался утром открыть глаза. Тело пропустили через мясорубку. И голову. И мысли пустили на фарш. Решительность искромсали.

Температура сорок. Мне нечем было дышать. И уже было неважно, где я, с кем и готов ли остаться хоть кто-то со мной после вчерашнего разговора.

Снова провалился в сон.

Очнулся и сразу почувствовал что-то холодное на лбу. Жена сидела рядом. Она знает, что это не очень-то помогает. Но для меня холодный компресс был вроде плацебо. Когда болел, всегда просил его.

Она сделала.

В комнату зашли мальчики. Подошли близко к кровати. Я отвел взгляд. Мне было больно смотреть из-за скрутившего меня гриппа. Надо ж было летом заболеть.

Потом жена принесла суп. Кормила меня с ложки. Мальчики все стояли рядом и наблюдали за нами. Почти не шевелясь. Когда жена подносила ложку к моему рту, я, делая вид, что пытаюсь сосредоточиться на еде, бросал короткие взгляды на Артема и Антона.

Они были такие нарядные. В моем детстве не помню таких вещей. А им шли яркие одежки, особенно смуглому Антону. Их глаза ничего не выражали. Я пытался нащупать там сострадание, жалость, милосердие. Вдруг привязанность, нежность, может, любовь. Хотя я не очень понимаю, как должна выглядеть любовь. Особенно в детских глазах.

Артем приблизился к кровати и взял двумя руками мою руку. Горячая. Его глаза по-прежнему ничего не выражали. Но и свойственного ему лукавства или притворства тоже не было. Когда он отпустил руку и отошел, я почувствовал: в ладони что-то осталось. Сил не было совсем, но любопытство заставило мышцы напрячься, и я приблизил кулак к лицу. Это оказалась конфета.

Потом все вышли из комнаты, и я остался один.

Я не буду им хорошим отцом. Хотя бы нормальным. Хоть каким. У меня не получится сделать их лучше. Научить их быть людьми. Я сам ничего не стою. Даже не слышу их. Ни их желаний, ни их мнения, ни их голосов. Глухой. И слепой к тому же. У меня миопия средней степени. И абсолютная душевная миопия. Я – старый, слепой и глухой осел. Осмелившийся, вознамерившийся, возомнивший…

Снова провалился в сон. Хотя снов не было. Был жар, лед, снова жар. Я просыпался, бредил; мне все казалось, что продолжаю тот разговор с женой; тихо звал ее – она не отвечала. Мрак в комнате был густым и вязким. Я ничего не видел. Даже из окна не сочился лунный свет.

Утром увидел ее спящей в кресле.

Ненавижу, когда заставляют чувствовать себя виноватым. Намеренно начинаю что-то делать, чтобы уж тогда действительно было в чем каяться.

Зачем она? Могла пойти спать в гостиную.

А потом я ушел. Пока они после завтрака гуляли на детской площадке. Я видел их из окна. Слегка пошатываясь, оделся, взял портмоне, паспорт, кредитную карту, ключи от машины, ноутбук и спустился в гараж. Вспомнил, что хотел оставить машину жене. Вышел через другой подъезд, чтобы с ней не столкнуться.

Пешком дошел до центра города. Я хотел оглядеться. Люди, которых встречал, были слишком живые для меня. Они улыбались друг другу, кто-то хмурился, кто-то спешил на общественный транспорт. На работу или домой. Говорили между собой. Их что-то интересовало. Кто-то их волновал.

А я пил. Просто пил. Звук мобильного выключил, засунул его в задний карман брюк. Сначала пиво. Потом виски. Менял заведения. Что я в них искал, не знаю. Потом заказал бутылку шампанского отпраздновать свою свободу в каком-то не очень чистом баре, в котором я никогда раньше не бывал. С моего бокала стекало на стол игристое душистое пойло. Бросал периодически взгляд на стоящие рядом салфетки, но так ими ни разу и не воспользовался.

Если я буду протирать по привычке бокал, стол, свои мокрые губы, чище не стану. Никогда не стану. А был ли я раньше чист?

Чем я жил? Чистюля и зануда, любивший пить, жрать и спать. И это было неплохо. Очень неплохо, поверьте. Пройдя по собственной эволюционной лестнице, сумел добраться до того радостного для желудка уровня, когда можно потреблять все самое лучшее, что есть в этом мире. Я был счастлив. Простым своим комфортным счастьем, как миллионы других чистюль и зануд. Я знал, кто я и что завтра мне нужно делать, чтобы продолжать вкусно пить, жрать и спать.

А сейчас… Зачем мне все это? Зачем эти вопросы к самому себе? Зачем я на это согласился?

Хотел ли я настолько детей, чтобы навсегда покинуть свой удобный мир? Почему я брожу по этим липким, рассохшимся от несвойственной августу жары улицам? Кожа моя на лице потрескалась, как под ногами земля, в которую, идя по городу, прячу взгляд в надежде не встретить знакомых. Почему я гоню себя от себя? И куда?

Я просто хочу быть свободным. Как раньше. И даже больше. Вот так бродить по пыльному городу в одиночестве, заглядывать в открытые окна, пить в полдень виски или текилу, или водку, чего мне в этот момент захочется. Выбирать женщин, иметь женщин, каких я захочу и когда я захочу. Да, та блондинка из Мюнхена не была сном. Сны я не вижу с девяти лет. Тот шарф я ей отдал, а жене утром побежал покупать новый.

Слишком много на себя взял. Маленький человек с маленьким сердцем. Там нет места никому. Хочу тишины. Тотального всеобщего молчания вокруг. Мне не нужно ни одобрения, ни поддержки. Что мне действительно нужно, так это молчание моей совести, которая противно попискивает в перерыве между бокалами. Как старая, едва живая серая мышь, забывшая, где ее нора, но все еще не утратившая инстинкт самосохранения, подъедающая своими старыми редкими зубами рассыпавшиеся под грязный стол крохи моего исчезающего сознания.

Я ее долго глушил, пытаясь уничтожить. Для этого находил места, где никто меня не знал, – непривычно грязные, с дешевым алкоголем и кокетливыми официантками, готовыми меня приютить на эту ночь. После того единственного за всю жизнь раза в Мюнхене это сейчас казалось более чем доступным и допустимым.

Но переходил из бара в бар один. Не потому что мне не нужен был секс. Просто молчания мне хотелось больше. Снял номер в маленькой ветхой гостинице в узком переулке старого центра. С большими усатыми тараканами в ванной комнате. Они молчали, а потому не мешали мне. Я хотел быть один. Всегда. Без связей. Без привязанностей. Без этих попыток закоренелого перфекциониста стать для кого-то завершенным, совершенным, идеальным, правильным, лучшим. Лучше, чем мой собственный отец.

Но я же мог стать лучше каким-нибудь способом и полегче. У меня же достаточно денег. Я бы мог всю жизнь помогать какому-нибудь детскому дому, возить им бананы и печенье, краски и карандаши, фотографироваться с ними рядом в двубортном синем пиджаке под цвет коробок с подарками. Я бы даже мог открыть целый детский фонд с громким названием и прописанным удачным слоганом. Спасал бы сотни, тысячи сломанных судеб, чиня им столы, стулья, кроватки или даже выстраивая новые красивые удобные детские дома. Почему у меня так все сложно?

К вечеру опять вышел на улицу, пить стало еще легче. Наверное, температура моя спала. Заказал для разнообразия бутылку кьянти в кафе поприличнее. В помещении никого не было, кроме скучающего бармена. Развлекал себя, всматриваясь в узоры на стойке. Зазвонил мобильный. Не сразу узнал Вальтера. Тем более немецкий в таком состоянии мною плохо воспринимался.

– Когда? Завтра? На неделю? Да, встречу. Да, забронирую. Я помню, как его зовут.

Этого еще не хватало. Я отодвинул стакан. Завтра прилетает Франц Шефер по работе, сын Вальтера. Нужно встретить, поселить, поработать, повеселить. А я даже вещей с собой не взял переодеться. Этот всегда собранный, одетый с самой модной иголочки, достойный сын своего отца не поймет ни моих обстоятельств, ни щетины, ни перегара в рабочий день.

Стоп.

Номер бронировать на имя Франц Шефер.

Почему Шефер? Какой еще Шефер? Кого мне встречать?

На всякий случай перезвонил Вальтеру. Тот странно ухмыльнулся в трубку, как он умеет, и после короткой паузы выдал:

– Он – мой приемный сын.

Через час я тихонько поскребся в дверь. Даже не я. Моя так и не сдохнувшая мышь – совесть. А тупая мысль: «Немец может, а я – нет?!» – истерично звонила в звонок.

– Ну какой из меня отец? У меня ни хрена не получается, ты же видишь, – что-то такое я заготовил по дороге и проговорил, облокотившись на косяк. Конечно, мне легче было бы говорить по привычке с выключенным светом в постели, но вряд ли бы она

сразу пустила меня туда. – Я боюсь. Так боюсь, как никогда и ничего раньше не боялся. Скажи что-то! Чего молчишь?!

Она взяла меня за руку, и я послушно пошел за ней в кухню. Налила мне тарелку куриного супа. Как быстро она превратила это в шедевр.

Ел и уговаривал себя. Я смогу. Я, сука, смогу. Ради них. Ради нее. Ради всех, кто смог до меня. Но даже больше ради себя. Ради того девятилетнего пацана, который не понял, не услышал, не спросил, а никто ему и не попытался объяснить. Ради того повзрослевшего сына, который хотел дать своему отцу шанс объясниться, выговориться, а он им никогда не воспользовался. Мальчика, который застрял в том своем неловком детстве.

Она потушила свет во всей квартире и подошла ко мне. Впервые за эти длинные месяцы я почувствовал себя дома. Снова дома. Еще больше похудела, кисти рук были холодными, когда она меня обняла. Я прижал ее ладони к губам, пытаясь согреть дыханием. Женщина нежная и по-прежнему отчаянно страстная. Мне хотелось ее трогать, ласкать, целовать. И все это я делал с улыбкой. Грустной и в то же время радостной улыбкой сумасшедшего. До самого утра. Пока не проник в комнату солнечный свет.

Утром пришла теща, согласившаяся побыть с детьми; мы собирались в суд, который оказался более чем формальным. Все заняло минут сорок, не больше. Было несколько странных вопросов личного, очень личного характера, особенно к жене. О здоровье физическом и психическом. Когда я слышал, что ее голос начинал вибрировать, я брал ее правую руку: она сидела слева от меня. Сжимал ледяные пальцы. Совсем чуть-чуть, чтобы не сдавить обручальное кольцо, – я знаю, как это больно.

Когда мы вернулись, дети сидели на полу, играли с конструктором. Они не пытались собрать его, не смотрели в книжку-инструкцию, бросали фрагментами друг в друга, хаотично соединяли по две-три детали, разбирали эту абракадабру, собирали заново.

Я зашел молча. Они на мгновение повернулись ко мне и продолжили, как будто в комнате никого не было. Я присел на край дивана, не зная, куда деть руки, смущенно поглядывая на них. Как обычно ведут себя нормальные папы?

Засмотрелся на макушку Артема. Когда мы его забирали, он был очень коротко стрижен. А сейчас волосы отросли и завились в мелкие светлые кудряшки. Как у меня. Мне захотелось их потрогать, и я протянул руку. Жесткие упрямые пружинки.

У смуглого Антона волосы были черные, прямые, гладкие. Я взъерошил и его чуб. Они смотрели на меня с легким недоумением, но я по очереди щупал их такие разные головы. У жены моей тоже были черные, прямые, гладкие. Я начал смеяться. Сначала еле слышно. Потом все громче. У Артема были мои волосы, а у Антона – жены. Ничего не означающее и, главное, ничего не обещающее сходство структуры волос заставило меня долго и упоительно смеяться. Мальчики подставляли мне свои головы, и я ерошил их волосы. Потом они четырьмя руками впились в мою голову и ерошили мои. Я начал щекотать их, они друг друга, Тема упал, катался по полу, Тоха щекотал его пятки, потом они вновь набросились вдвоем на меня. Один держал мои руки, второй щекотал. Вдруг Тема опомнился, посерьезнел, замер. Мы все замерли, ожидая его следующего движения. Он снял осторожно с меня очки, положил их на стол, и тогда мальчики продолжили. Я вырывался, но не так чтобы очень, мы все хохотали один громче другого. К нам заглянула жена.

– Хватай ее! – крикнул Тема, и мы повалили ее на пол. Жена, сориентировавшись в правилах игры, принялась тоже не слишком активно вырываться, просить пощады и громко смеяться.

С того дня больше не думал о том, как должен вести себя правильный отец. Вел себя как девятилетний мальчик, который недопрожил свое детство. Как старший брат и друг. Вспоминал, чего желал и о чем мечтал, когда был маленьким, чего мне хотелось и чего мы не могли себе тогда позволить.

В октябре мы нашли детский сад, где было сразу два свободных места в средней группе. Дети должны были пройти полное обследование перед этим. Оказалось, здоровые молодые бычки. Только Теме прописали очки, чтобы подравнять его косящий глаз. Это было уморительно: в очках он был вылитый я. Захочешь – так себя не повторишь.

Вот, собственно, и все. Но, как вы понимаете, это не конец истории, а только ее начало.

Я должен был бы, наверное, закончить свой рассказ тем, что жена беременна и скоро у нас будет еще ребенок. На радость сострадающим разного пола и возраста, которые двадцать лет нам желали, чтобы небеса поскорее послали нам ребенка. Теперь, когда есть даже двое, их логика делает незатейливый и доступный вариант следующего пожелания на годовщину свадьбы: теперь нам нужно срочно родить дочь.

Нет, простите, избавьте, впечатлительные барышни, не будут хлопать чуду в ладоши. Никаких больше попыток выследить яйцеклетку, совокупляться по часам или кончать в пахнущую спиртом и стыдом холодную пробирку.

И не надо думать, что я изменился, или мое отцовство меня сделало другим. Все такой же социопат и социофоб. Меня все так же раздражают громкие крики и смех. Я не умею быть нежным и заботливым. Люблю сбегать от всех в командировки. Часто отстраняюсь и оставляю жене принятие важных решений относительно детей, их настоящего и будущего. Я – просто законченный эгоист, который переписывает начисто свое детство, играя в лучшие игрушки, оправданно смотря детские хорошие фильмы рядом с этими детьми. Моими детьми.

Ефим Гаммер

Нобелевка

В тринадцать лет я достал в библиотеке запредельно дефицитную книгу о мушкетерах классного писателя Александра Дюма. Очередь на нее занял у меня Гриша – старший брат Лени Гросмана. Чтобы успеть с передачей, роман я читал, не отрываясь, всю ночь напролет, при свете фонарика. Попутно, дабы моему младшему брату Боре было не скучно спать со мной в одной комнате, я пересказывал ему тишком содержимое пухлого тома. Наутро, когда Гриша, не опоздав, явился следом за восходящим солнышком, у меня поднялась температура. У Бори тоже.

Мама поставила диагноз: переутомление. Но потом, видя, что термометр зашкаливает, решила все же обратиться за помощью к практикующим врачам. Было воскресенье. Никто не работал, кроме «скорой помощи». Значит? Все правильно: мама смастерила нам компресс, а Гришу послала в телефонную будку звонить по известному номеру. Гриша и позвонил. И вызвал «скорую», сделав особо умный ход, чтобы помощь не валандалась.

Что же он такого сделал умного? А вот что! Он сказал, что у нас внезапно поднялась высокая температура. Произошло это, предполагает Гриша, вследствие общения с гостями из Одессы, которые намекали, что надо кипятком ошпаривать фрукты, привезенные ими, чтобы к ним не пристала холера. «Да-да! – подтвердил по телефону. – Не пантера, а холера».

Свои предположения Гриша высыпал на ту еще почву! В литературе она называется благодатной. Не прошло и рекордного для стайерской пробежки по нормам 1958 года времени, как сирена разнеслась над Домской площадью у древнего собора и, заглушив

органную музыку, по крутым лестницам нашего дома – улица Шкюню, 17 – застучали подкованные ботинки.

Квартиру забрызгали какой-то вонючкой, то ли жидкостью, то ли газом, и на плохом русском, превозмогая родной латышский, потребовали от родителей предоставить им для осмотра и изучения под микроскопом заразу.

– Какую зараза, скажите на милость? – спросила мама.

– От ваших детей.

– Это мои единоутробные дети! Какая от них зараза?

Оказывается, так подкованные ботинки, имеющие под белыми халатами еще и высшее медицинское образование, называли обыкновенные какашки, обладающие свойством безвозвратно ускользать в унитаз. Я специально употребил слово «безвозвратно». Суть в том, что эти аттестованные дипломами люди попросили у мамы на анализ наши с Борей – как они это дело назвали, не желая лишний раз упоминать про заразу? – «выделения организма» и для понятливости добавили: «фекальные массы». Из-за их акцента мне показалось, что вызванных по телефону гостей интересуют «фискальные массы». Этого добра ни я, ни Боря никогда не выделяли из своего организма. И мне стало совсем худо. Боре тоже. Нам после прочтения «Трех мушкетеров» представилось: мы попали под колпак герцога Ришелье и теперь несдобровать, покуда не выделим из организма «фискальные массы», которых в наличии быть не может, потому что их нет в наличии.

Меня с Борей завернули, не цацкаясь, в белые простыни и потащили в столь неприличном виде на улицу. А доставив в больницу, поместили в отдельную палату, будто мы особо важные для нашей оздоровительной медицины персоны. К двери приставили санитара с мохнатыми кулаками, чтобы и в мыслях не держали насчет слинять от недремлющего сторожевого ока с подкованными ботинками. И что дальше? А дальше образованный в стенах института народ стал ждать наших какашек. Но тут возникла этическая проблема. Какашки – хоть убей их! – не хотели покидать наш организм, где были в сохранности, как за семью печатями. Наверное, боялись, что их примут за «фискальные массы» и потянут в милицию, дабы там они настучали на кого-нибудь из ближних, как Павлик Морозов. На кого они могли настучать?

Ясно, на кого. На моего папу Арона. Чуть ли не каждый вечер он слушал запрещенное радио. Я, понятно и без криминалистических изысков, подслушивал, затаившись в соседней комнате. В то убийственно интересное время запрещенное радио передавало так, что заслушаешься. Все из сказанного в эфир запоминалось с первой подачи. Причем настолько, что многое осталось в памяти до сих пор. Да и как забыть, если говорили о том, что Пастернак получил Нобелевскую премию за «Доктора Живаго», а советские люди, не имеющие представления об этом романе, напропалую критикуют его литературные достоинства, называя их недостатками. Особенно ухищрялись те, кто имел отношение к писательскому цеху и полагал, что таким образом продемонстрирует партийному руководству свою литературную грамотность и гражданственную сознательность, и гляди, если не нобелевку – она зарезервирована для Шолохова! – то какую-нибудь отечественную премию получит.

Помнится, «вражьи голоса» цитировали какой-то секретный документ № 20 из архивов МГК КПСС. Вот он: «Огромное возмущение вызвал предательский поступок Бориса Пастернака в коллективе студентов и преподавателей Литературного института им. Горького. Свое требование немедленно изгнать Пастернака из среды советских писателей, сурово осудить его предательство в отношении Родины, своего народа они изложили в коллективном письме к Правлению Союза советских писателей».

В 13 лет я в Литературный институт еще не собирался, хотя уже написал одно стихотворение. Но прочитал такое количество книг, что вполне мог написать стихов чуть побольше, с пару десятков. Вот и решил, чтобы зря не тратить койко-часы, сочинить на досуге, когда и температура по каким-то неведомым причинам испуганно соскочила с меня, что-нибудь для души. И сочинил:

Вы фискальных масс
не найдете в нас.
Скажем им: «атас!»
И покажем класс,
пролежав за так
месяц весь без как.

«Так» и «как» – рифма, конечно, убогая. Но тогда, осенью 1958 года, я подобных литературоведческих тонкостей не знал. И очень гордился своим бунтарским сочинением. Читал его младшему брату Боре. И он тоже гордился, и тоже хотел проявить характер. Но… Врачи подсунули нам какую-то штуку в виде таблетки, и наше бунтарство закончилось на горшке. Надо заметить, вполне благополучно. Никаких лишних микробов в наших испражнениях, изучаемых под микроскопом, обнаружено не было. И санитарка сказала нам по секрету: «Кал у вас чистый». Мы с Борей помозговали, что она имела в виду, говоря «кал», и догадались – говно. Затем нам стало смешно. Нет, не оттого, что мы признаны здоровыми. А оттого, что обычные какашки имеют столько умных значений в русском языке.

Казалось бы, теперь, когда у нас даже «кал чистый» и температура 36 и 6, пора подумать о выписке. Но нет: инкубационный период! Лежи, плюй в потолок и думай. Или пиши стихи, раз прорезался талант, а то у него, у таланта, как поговаривали взрослые, свойство закапываться в землю. «Свой талант в землю не закопаю!» – решил я на больничной койке и бросился сочинять изо всех поэтических сил. Мой папа Арон говорил: «Чтобы сочинять по делу, нужно быть осведомленным в нем». Тут и возникла шальная мысль: «А почему бы не написать, что я слышал по радио?». Ситуация знакомая, «радийных» высказываний в запасе достаточно. Каких? Обычных, что на всех мегагерцах: «доктор Живаго», «не читал», «клеймо позора».

Только я в уме повторил весь набор словоизлияний народа, как пошло-поехало. И, главное, получилось.

Я тоже не читал о докторе Живаго.
Но знаю очень много о врачах.
Они копаются в холерных наших каках,
чтобы росточек жизни не зачах.
Поэтому не вешайте врачу клеймо позора.
Иначе он отдаст вам микроскоп.
И будете с надменным вашим взором
смотреть в свое говно, чтобы найти микроб.

Больше всего мне в этом стихотворении понравилось, что я приспособил к нему лермонтовское слово «надменный», которое в обыденной – не поэтической – речи не употребляется, и, следовательно, могу себя отныне величать, как и он, «любимцем Феба».

Иерусалим

Анна Коренева

40 квадратов свободы, или Завтра будет новый день

Остров

Сейчас, спустя десять лет, понимаю, что правильно сделал, оставив только воспоминания о счастливой поре нашей семейной жизни и Тебя на острове. Обретя свободу, я познал много других любовей. Я познал себя.

Глаз птицы

Я парю! Над заботами, правилами, условностями… Мне легко. Каждый день – только мое любимое занятие: созерцать и фиксировать. Я счастлив. В своем одиночестве, в своем творчестве. Влюбленности необременительны, оставляют лишь приятное послевкусие. Путешествия меня питают новыми эмоциями. Их отпечатки я бережно храню.

Новый город. Она

Новый город. Новые впечатления. Новые знакомства. Она привлекла мое внимание, как только появилась в этом старинном здании. Мы поднимались с ней по лестнице, еще не зная друг друга, но понимая, что эта встреча неслучайна. По тем же ступеням мы спускались в день моего отъезда, надеясь, что расстаемся ненадолго.

Она заполнила мое сердце. И чувства, которые, казалось, в потрепанной событиями и переживаниями душе уже никогда не появятся, вдруг расцвели всеми оттенками забытых радостей.

Два полюса

Вот оно, утраченное счастье семьи. Утренний кофе. Свежеиспеченный хлеб. Долгие прогулки по холодному зимнему городу. И тепло сердец. Мой взрослый сын окружил меня заботой, стараясь, наверное, вернуть сторицей все то внимание, которое получал еще ребенком.

Она – в своем привычном окружении. Ждет внимания, но все потом. Все будет потом. По возвращении. Во всяком случае, так кажется сейчас… но уже через минуту душа и тело начинают дышать надеждой на скорую встречу.

5 часов, один океан и 2 моря

Здесь, в чужой далекой стране, Она со мной. Будь то кафе на берегу океана, привал на солнечной поляне со спелым арбузом или вечерний коктейль под звуки блюза. В моих фантазиях, конечно.

Наша команда путешественников, признаюсь, в целях экономии живет в одной комнате. И нет возможности уединиться. Но иногда украдкой удается отправить сообщение, полное любви.

Она считает дни до окончания разлуки и верит, что все изменится. Мы будем ближе. Я возвращаюсь, но Она по-прежнему далеко. Хотя нас уже не разделяют два моря, один океан и 5 часов разницы во времени. Между нами – пропасть пустых дней и мучительных ночей.

108

Она знает, что я готов ездить за Ней по всему миру. Я встречаю ее в каждом аэропорту. Как тогда, впервые, когда наши рейсы прибыли одновременно. И Она искала меня глазами среди сотен пассажиров. Не забуду тот сладкий миг: наши взгляды пересеклись, и ее губы дрогнули в едва заметной улыбке.

Темный номер отеля. Тихая музыка. И два сплетенных в объятиях тела…

40 квадратов свободы

Воскресенье. Я в своей небольшой, но уютной квартире. Независим и свободен. Я не должен идти на компромиссы. Я волен распоряжаться временем как угодно… я один.

Воскресенье – пустой день. Особенно зимой. Мучительна и ночь в холодной постели. Она не звонит. Надежда на встречу становится все призрачней.

Но *завтра будет новый день…*

Пересечения

Он пришел в ее сон впервые за годы знакомства. Романтическое начало и… предсказуемый финал. Их дороги разошлись, лишь однажды соприкоснувшись в ее воображении.

Следующий сон был наполнен суетой бывших приятельниц, коллег, подружек. Вполне благополучных. И… этот парень. Униженный, с оголенной душой и растерзанным телом.

Этот сон ей вспомнился, когда поезд резко затормозил. Пассажиры судачили о причинах остановки, выглядывали из окон, комментировали действия полиции, пожарных, скорой. Но она уже знала. Это был тот парень. Но почему он выбрал именно их поезд?

«Суицид», – спустя час бесстрастно сообщил проводник томящейся от отсутствия информации толпе.

Еще через 2 часа поезд тронулся. Медленно, будто остерегаясь новых неожиданных встреч. Кто-то из пассажиров опоздал на работу, кто-то на свидание, а кто-то на мгновение пересек ее путь, выбрав другую дорогу…

Игорь Паночишен

Миниатюры

* * *

Я видел его много раз.

Мы дружески раскланивались и расходились.

Однажды мне попали в руки его небольшие литературные зарисовки. Работа необычайно интересная. Привлекала достоверность, добытая автором в кропотливых исследованиях и изучении материалов фонда научной библиотеки.

Через некоторое время я присутствовал на мероприятии, на котором автор упомянутых зарисовок передал в дар библиотеке свой читательский билет, который служил ему верой и правдой несколько десятилетий.

Это был знак. Я искал встречи с автором, но он словно исчез.

Случилось так, что соседом автора по дому на Малой Арнаутской оказался один мой знакомый. Я просил его справиться об авторе из соседнего двора. Так просто. Общая стена, три шага, но всякий раз просьбы наталкивались на какие-то обыденные обывательские отговорки и объяснения.

Прошло время, и я случайно узнал, что разыскиваемый мною автор умер.

Худощавый, спокойный, седой.

Это был Ростислав Александров.

* * *

...Продолжалась война.

Пришел май 1945 года.

Под Берлином было окружено много немецких дивизий. Одну из дивизий конвоировали по шоссе в лесной лагерь для военнопленных. Впереди шел генерал, старшие офицеры.

Советские летчики в наступательном порыве приняли колонну немцев за боевую часть и, пролетая, беспорядочно сбросили бомбы. Погибло 12 солдат конвоя. Были убиты и немцы. Большая часть пленных разбежалась; по поступившему приказу, их нужно было найти и доставить на сборный пункт.

Два бойца, выполняя приказ, осторожно передвигались по лесу в поисках немцев. Старший солдат был на войне еще с 23 июня 1941 года.

И вот под деревом увидели двух немцев семнадцатилетнего возраста, распластавшихся на земле. Они одеты в форму, на ремнях патронташи с патронами, лежат как убитые. Бойцы посчитали их таковыми и хотели пройти мимо, но напарник старшего буцнул немца в бок. Тот ойкнул. Оба были живы. Немцев подняли, срезали патронташи и повели в точку сбора.

Меж деревьев замелькала колонна советских танков. Они неслись на Берлин. Головной танк остановился. Из него вылез пьяный капитан и достал пистолет.

– Куда вы их ведете?

– В лагерь, – ответил старший.

– Ложите под танк! Нечего возиться! – резко сказал капитан.

– Нет! У нас приказ!

Капитан заматерился и рубанул рукояткой пистолета по лицу ближнего немца. Потекла кровь. Парень заплакал.

Танки в клубах пыли скрылись в лесу.

Немцы приведены в лагерь.

И, может быть, судьба была благосклонна к ним…

Тем старшим солдатом под Берлином был мой дедушка Иван Васильевич, а двенадцатилетним пареньком с Винничины – мой папа Василий Иванович.

Вечная память всем, на чью долю выпали самые горькие, самые тяжелые испытания, кто прошел их и, покинув этот мир, остался в памяти настоящим человеком.

Сергей Кравцов, Екатерина Бойчук

Отмычка Соломона*

Петя и Крестовоздвиженский

В дверь позвонили, Никифор глянул в сторону и сказал:

– Это Петя, жутко перепуган.

– Не может быть! – воскликнул Соломон.

– Отведи его на кухню, – скомандовал Дионисий и удалился через молитвенную комнату.

Никифор вышел в прихожую и закрыл за собой дверь. Соломон остался один и сильно разволновался. Ему вдруг показалось, что все подстроено и он в ловушке. Что Дионисий им вертит, и все это происки джиннов.

Из аквариума высунулась рыба и сказала:

– Да не переживай ты так, мы все сейчас в ловушке, возможно, вместе и выберемся.

Спохватившись, Соломон подошел к двери молитвенной комнаты и заглянул. На восточной стене мерцали в свете лампад серебряные оклады икон, а вот в западной стене была дверь, и вела она на кухню. Вдруг Соломона посетила мысль, что если он подслушает разговор с Петей, то, возможно, выяснит, не является ли он пешкой в игре джиннов и Крестовоздвиженского. Благо засечь его не смогут – в молитвенную ни один джинн не сунется. Он быстро сделал три шага и приник к кухонной двери.

Увидев приветливо улыбающееся лицо Дионисия, Петя чуть не расплакался и пролепетал:

* Продолжение. Начало в кн. 64-68.

– Изгоните беса!

– Какого беса? Откуда? – приглашая гостя в дом, спросил Дионисий.

Никифор вздохнул и убрался на кухню.

– Из меня, – зашептал Петя, – это все лампы, и Соломон, и грачи инопланетные. Я вам все расскажу! И не подумайте, что я сумасшедший. Но если вы не поверите – точно с ума сойду. Мне ведь идти больше не к кому, никто не поверит…

Мягко подталкивая Петю под локоть, Дионисий вытеснил гостя на кухню, усадил за стол и выдал чашку чая, бутерброд с ветчиной, потом, секунду подумав, достал стаканчик и налил на четверть коньяка.

Петя глянул на коньяк и выпил залпом.

Подождав, пока гость закусит и немножко придет в себя, Дионисий сказал:

– Рассказывайте.

Убедившись, что его не считают сумасшедшим, а только сильно взволнованным, Петя вдруг задумался, как бы ему точнее все объяснить. Он обвел глазами кухню.

Это была мужская кухня, сводчатым потолком напоминающая подвал алхимика. Не было здесь веселых клееночек, ярких полотенец и кастрюлек в цветочек. Давно не беленая, изрядно закопченная кухня устрашала черными боками котлов и сковородок. С потолка свисал окорок и гирлянды лука и чеснока. В углу в русской печи тлели угли. На стене рядом с печью висела целая выставка огромных ножей, двузубых вилок, взбивалок и колотушек. Даже поварешка здесь выглядела как грозное оружие. И вполне новый холодильник сурово мерцал темно-серыми боками на чисто вымытых каменных плитах пола.

Неизвестно что: коньяк, запах дыма и еды или участливое лицо Дионисия сработали, но Петя успокоился и начал рассказывать.

– Дело было так. Остался я на бобах – закрыли мою фирму, где я был энергетиком. Сами понимаете, заводов у нас больше нет, инженеры, как и прочие технические работники, в сухом остатке, а седьмой километр не резиновый. Да и сколько можно работать на седьмом? Самые живучие больше семи лет не выдерживают. А я не самый живучий.

Дионисий скептически улыбнулся.

– Это я к тому, что пытался на седьмом работать – не взяли. Просто не сложилось. Какое-то время на разведении рыбы держался кое-как – но это несерьезно. На большое хозяйство денег нет, а на комнатном не разжиреешь. Опять же Галина. Сколько лет ей можно голову морочить? Или женись, или отпусти девушку. А как жениться, когда денег нет?

Вдруг объявление. Чуял я, что здесь что-то неладно, а где сейчас ладно? И как-то оно само сложилось, я и охнуть не успел. Думал, подработаю немножко, долги отдам, подсоберу на рыбное хозяйство и сбегу – не успел. Такие чудеса начались – кошмар!

Про двери, которые то есть, то нет, вы сами знаете. А то остался я в подвале ночевать, а там буфет в птицу превратился и бутылочками с маслами несется, пронумерованными. И не расскажешь никому, будут говорить, что приснилось, или белочка. Опять же грачи – всюду за мной следят, а крыльями махать забывают – так и летают, как самолеты. Чего им от меня надо – понятия не имею. На нервы действует, думал, с ума схожу, – нет, Галина их тоже видела. Не знаю, но вроде семейных глюков не бывает.

А сегодня такое случилось, что всё – или к вам идти, или в петлю лезть. Пошел я сегодня по делам – жара кошмарная, устал и зашел в кафе кофе попить. И заодно от грачей уйти – надоели до смерти, но в помещение они не залетают. Тут мне девицы попались. Или я им.

И Петя в подробностях стал рассказывать свои приключения. Выслушав все, Дионисий задумался. В кухню зашел Никифор, ухватом он ловко вытащил из печи чугунный горшок, метнувшись к дубовому буфету, достал глубокие тарелки и блюдо. Потом вывернул на блюдо дымящееся баранье жаркое с чесноком и стал раскладывать по тарелкам. Из недр того же бездонного буфета он извлек миску маринованных помидор и, раздав ложки, предложил:

– Угощайтесь!

Дионисий иронически поднял бровь, но от угощения отказываться не стал.

– Да… Дела у вас плохи, кое-что я уже могу вам объяснить, а кое-что придется выяснять в другом месте. Для начала я вам скажу, что никакие это не инопланетяне. Те, кто вас так напу-

гал, всегда жили на земле, и даже раньше, чем появились люди. На Востоке их называют джиннами, а у нас бесами. Что касается фирмы, то организовали ее люди, которые ничем не брезгают, и вы еще легко отделались. Ваш предшественник погиб в автокатастрофе. Он был человек наивный и задавал вопросы, а получив ответ, не успокаивался.

– Во-во, я так и думал, что это Соломон. Очень подозрительный тип – весь вроде мягкий, интеллигентный, а сам наркотой торгует.

– Вот здесь вы ошибаетесь. Никакой наркотой ваша фирма не торгует. Все много сложнее. Вы когда-нибудь зажигали лампу?

– Нет! Зачем? Это очень дорого и стремно. Сейчас такие наркотики выпускают – привыкание с первой затяжки. А учет у них такой – я один раз опоздал, а Соломон уже учуял. Видеонаблюдение у них, или пес их знает. И масло развешено до капли буфетом этим птичьим.

– Так вот за те полчаса, что горит лампа, человек попадает в искусственную реальность, которую для него строят джинны на заказ. Она небольшая, но в ней даже погибнуть можно вполне по-настоящему. Ну, народ в эту реальность развлекаться лезет, а гибнет вовсе не там, а на дому, где лампу зажег.

– А в чем подвох?

– Все просто. Человек привыкает жить на готовом, а если что строит или кого-то любит, то не здесь. Постепенно он вообще начинает тот мир считать реальнее, чем этот. Раньше он бы усилия прилагал, чтобы сделать этот мир лучше, а теперь сбегает. И что самое противное – ловятся самые сильные, энергичные и трезвомыслящие, которых наркотой не собьешь.

– Вот паскудство! И у Соломона еще и совесть чиста!

– Зря вы так к Соломону относитесь, – вклинился Никифор. – Вполне нормальный мужик, сам попал в переплет от безвыходности. Не он эту фирму открыл – он всего лишь коммерческий директор.

Соломон под дверью приуныл.

– Да пес с ним, с Соломоном! – продолжал Петя. – Мне-то что делать, если во мне бес поселился? Сами понимаете, особой набожностью я никогда не отличался. Старался жить по совести –

вот и все благочестие. Так что делать, я не знаю. Этот, что во мне сидит, вроде мне вреда не причинял, я и не знал о нем. Хотя как про Галину подумаю… – и Петя вдруг густо покраснел. – А про этих девиц, что Галке бабули расскажут, – страшно подумать! Она же плакать будет и уйти может – она нежная, у нее комплексы, – и Петя горестно вздохнул. – Опять же грачи эти!

– Ох, Петя, все гораздо хуже, чем вы думаете, – вздохнул Дионисий. – Изгнать из вас сиятельного Меджида – дело пустяковое. Он джинн интеллигентный – его достаточно вежливо попросить. Но тут как раз все неприятности только и начнутся. На него идет охота, причем ловят его как сторонники, так и противники. И как только он покажется – тут вас и прихлопнут. Не те, так эти. Джинн ваш – царственная особа, сбежал, чтобы предотвратить дворцовый переворот. А дворцовый переворот ох как не нужен именно людям. Но и это не все. Те, кто хочет сместить султана Джиннистана, хотят спровоцировать конец света – вам это нужно?

– А что же делать? Что, теперь меня всю дорогу невесть кто хватать и гипнотизировать будет? Я человек или проходной двор? И Галина? Как ей со мной жить?

– Но это еще не все неприятности.

– Как не все? А что, этих мало?

– Дело в том, что скоро ваша фирма закроется, а всех людей, что связаны с ней, убьют, – вклинился Никифор.

– Как убьют?

– Скорее всего, скормят гулям. За вами уже присылали гуля. Ваш сотрудник, что лампы развозит, его отговорил.

– Ни фига себе!

– И Соломону поручали разработать план, как тебя убить. Хорошо, что Соломон – человек порядочный, – Никифор двусмысленно улыбнулся, – взять грех на душу не захотел и придумал план со многими лазейками. И тебя, и себя спас – его тоже хотели того…

– Кто б мог подумать! А на вид сволочь сволочью, – вздохнул Петя. – А на фига такое процветающее дело закрывать?

– Дело в том, что в связи с неудавшимся переворотом служба безопасности Джиннистана решила навести порядок на границах и отловить всех неблагонадежных и бродячих джиннов. Для этого в наших катакомбах монтируется ловушка – типа ду-

дочки Гамельнского крысолова, только для нас. И Меджид, и все мы вполне в нее попадем. А так как получается, что Меджида укрывала фирма «Иблис», то дальше уже можно не объяснять. Кстати, грачи, которые так вас достают, именно от этой службы.

– Вот гадство! – с чувством сказал Петя. – А что же делать?

И тут уже Никифор тяжело и вполне искренне вздохнул.

– Мы и сами не очень понимаем, что делать.

– А вы тут при чем? – вдруг спохватился Петя.

– А при том, что я и сам – тот самый неблагонадежный и бродячий джинн, на которого ставят ловушку.

– А… а?.. – мысли в голове у Пети разом смешались, и слова встали в горле комом.

– Да вы, Петя, его не бойтесь, – вмешался Дионисий, – я его откуда не надо выселил. А так как за ним грешков по джиннскому закону не меряно, вот он и живет у меня, никого не трогает. Кто его будет искать у священника? А я за ним присматриваю, чтоб не шалил.

– А, ну ладно – он меня напугал и разозлил в прошлый раз, а так понятно, – довольно невразумительно пояснил Петя. – Но я думаю, что какие-то мысли у вас есть, коль скоро вы мне про все это рассказываете. Я ведь человек посторонний.

– Есть, – сказал Дионисий, – не так что делать, как с кем посоветоваться. У нас здесь на Куяльницком лимане живет один очень старый и странный джинн. Жил он еще при дворе царя Соломона и отличался умом и хитростью. Ему, знаете, тоже мало радости в ловушку попасть. Кто его знает, почему он на старости лет тут поселился. Идти к нему надо людям, на джиннов он и смотреть не хочет. Вот бы вы и сходили вместе с Соломоном. Может, он что подскажет. Если не от ловушки спастись, то хоть куда Меджида пристроить, чтобы самому не пропасть. Он Меджида еще ребенком знал.

– Соломон со мной не пойдет. Зачем ему? И один я не пойду! – взвился Петя. – Съедят меня и кости в лимане утопят. И мне Соломон зачем?

– Соломон с тобой очень даже с дорогой душой пойдет, – вмешался Никифор. – В случае чего с него первого голову снимут. За тебя при хорошем раскладе Меджид вступится, а за него некому. Кстати, он перед твоим приходом в точно таком же перепуге к нам

прибежал. И тоже не верит, что ты с ним пойдешь. Риска вам пока особого нет. Захочет Асаф с вами говорить – он вам вреда не причинит. Не захочет – вы и не узнаете, что он вас видел, он вам не покажется. А вот за предупреждение о ловушке он вам будет весьма благодарен. Подлости и коварства в нем хоть отбавляй, но вежливость соблюдает и в неблагодарности не замечен, – добавил Никифор. – Так что, Соломон у нас в мастерской сидит – могу позвать.

При этих словах Соломон отпрыгнул от двери, как кенгуру, и, зная скорость Никифора, шагнул к камину. И точно, в комнате возник Никифор и пригласил его на кухню.

Асаф

Раздолбанная, когда-то асфальтированная дорога шла по самому берегу лимана. Иногда соленая мертвая вода пыталась лизнуть грязь на ее обочине. Местами лиман отходил метров на двадцать, давая место огородикам и чахлым деревьям. Слева вдоль дороги попадались отдельные домики, разные по возрасту и причудливые в своей убогости. За домиками уступами возвышался глинистый склон. В него цеплялись корнями заросли чумака и дикой маслины. Зеленели островки камыша там, где из склона вытекали пресные источники.

– Нет, я бы тут жить не захотел, – задумчиво сказал Соломон.

– Не хочешь – не живи, – буркнул Петя, пытаясь обойти очередную лужу.

Их стал медленно обгонять молодой человек с велосипедом. На велосипеде как бы сам по себе ехал мешок с травой, а молодой человек помогал ему объезжать лужи.

– Добрый день, – поздоровался Петя для начала разговора. – Не подскажете, где здесь номер тридцать пять?

Молодой человек остановился, окидывая улицу мысленным взором, задумался.

– Номера тридцать пять тут нет, – резюмировал он. – Тридцать четыре есть, потом пустырь. Там наверху на склоне развалины. Потом опять ничего, один камень. Потом тридцать семь, и в тридцать восьмом я живу.

И, видя недоверие в глазах Пети, добавил:

– Идемте, я вам покажу.

И действительно, после тридцать четвертого номера, который, несмотря на свою ветхость, глядел на лиман металлопластиковыми окнами, никаких строений не было. Вверх по склону вели несколько каменных ступеней, теряясь в траве и зарослях куриной слепоты. Еще выше виднелись какие-то развалины. Кое-где сохранились стены и части перекрытия старого дома. Все остановились возле ступеней.

– Тут давно никто не живет. Говорят, место плохое. Там подвалы старые. Как-то мужик один упал, ногу сломал, и его еле вытащили, – пояснял добровольный гид.

Из развалин показался желтый пес средних размеров с белыми лапками и висячими ушами. Он тявкнул, завилял бубликом хвоста и стал спускаться вниз.

– А вот Матрос тут живет, давно живет, – стал приговаривать молодой человек, гладя собаку по голове.

– И чей это милый песик? – спросил Соломон, поймав на себе заинтересованный взгляд собаки.

– Да ничей. Он тут общий. Его все кормят. Он бегает по всему Куяльнику, а живет здесь. У нас здесь стаи собак бегают, так он с ними не дружит. Сам по себе. Правда, Матрос?

Матрос закивал головой.

– Умная собака, – подтвердил Петя. – А тридцать пятого номера действительно нет, что-то мы перепутали.

Велосипед с водителем и травой отправились дальше, а Соломон с Петей остались рассматривать апартаменты Матроса. Пес поднялся по ступеням и пропал в зарослях рогоза. Потом высунул моду и посмотрел на людей.

– Нас приглашают, попрошу вас, директор, – сказал Петя и сделал приглашающий жест. – Хотя лучше я первый, – и пошел вверх по ступенькам.

Продравшись через кусты, путешественники оказались среди развалин старого дома. Полы давно сгнили. Часть стен рухнула, подточенная дождями и корнями чумаков, росших из всех щелей. Петя оглянулся в привычных поисках следов человеческой жизни и не нашел их. Все камни, упавшие со стен, лежали тут же, поросшие мхом и влажной слизью. Между ними пробивались ростки

камыша. Под перистыми зелеными листьями чумака было влажно, тепло и тихо, как в оранжерее. Где-то что-то жужжало.

Матрос сидел в углу, образованном полуразрушенными стенами возле черного проема в подземелье.

– И это мы теперь в этот погреб полезем? – спросил Петя. – Чтоб на нас стена рухнула? Хорошая получится могила.

– Ну давай хоть туда заглянем. У тебя зажигалка есть?

– У меня мобилка светит.

Пес исчез в черном проеме, потом высунул голову, поглядел на гостей и опять скрылся. «Если пес туда-сюда лазит, значит, там неглубоко», – решил Петя и, подойдя к проему, наклонился над ним. Действительно, упавшие камни образовали кучу, по которой не составило труда спуститься в этот бывший подпол дома.

Под ногами хлюпало, мобильник слабо освещал мокрые почерневшие стены, по которым стекали капли воды, образуя наплывы и разводы. Воняло плесенью, какой-то неизвестной гадостью и почему-то корицей.

В голове у Пети возник навязчивый мотивчик, из которого начали выплывать стихи. Петю это удивило, стихов он сроду не писал и терпеть их не мог.

В подземелье огонь горит,
На огне том котел стоит,
Светлое золото, славное золото
В черном котле лежит.
Золото варит крысолов,
Долго греет, не жалея дров,
Яркое золото, жаркое золото
Скоро зашипит.
Заклинанье творит крысолов,
Выплетает вензеля из слов.
Сладкое золото, страшное золото
Скоро забурлит.
А как золото закипит,
Каждый к золоту побежит,
То-то славный будет улов,
Станет крысой и сам крысолов.

– Ну нас на хрен, мы свой гражданский долг выполнили. Полезли обратно, пока нас здесь не завалило! – сказал с энтузиазмом Петя. Он стал взбираться по завалу наверх. Когда его голова показалась на свет, Соломон закричал:

– Петя, слазь скорее, посмотри, что там!

Петя нехотя стал спускаться опять в подвал. В конце узкого местами обрушившегося подвала был виден свет. Причем освещенная часть находилась метрах в пятидесяти от входа.

Медленно ощупывая неровный пол ногами, путешественники двинулись к светлой части подвала. И чем ближе они подходили, тем удивительнее она выглядела.

Петя остановился возле проема, не решаясь сделать еще шаг. Дальше весь пол покрывал персидский ковер с невообразимо сложным рисунком. Петя не разбирался в коврах, но решил, что такой ковер может быть только персидским. Такие же ковры висели и на стенах помещения, которое было образовано из стен подвала и тупика, которым подвал кончался. Потолок был гладенький и неестественно белый. У торцовой стены стоял широкий диван с подушками, покрытый красным ковром, справа возвышался большой открытый камин, а слева два кресла. Кресла были старинные, с высокими спинками и подголовниками. Все это ярко освещал белый шар величиной с футбольный мяч, лежащий на каминной полке на блюдечке. Желтый песик стоял посреди комнаты на ковре и внимательно разглядывал пришедших.

Соломон оглянулся. Свет у входа едва брезжил где-то далеко еле заметным бликом.

Песик подошел к дивану, вскочил на него и стал устраиваться среди подушек. А с дивана спрыгнуло странное существо. Оно походило на сардельку сантиметров пятидесяти длиной, на вид упругую, полупрозрачную, будто наполненную сгустившимся туманом. В нескольких местах в тумане что-то светилось.

Существо, легко отскочив от пола, горизонтально зависло в воздухе напротив Пети и стало тихонечко жужжать, и в такт жужжанию вибрировать выступом, который сформировался посредине тела.

– А вот и хозяин, – сказал Петя. – Как с ним говорить будем?

– Хозяин – я, – сказал песик, – а это мурн. Он домашний. Он вам рад и хочет, чтоб вы ему ушко почесали – вон то, что из него торчит.

Петя с опаской протянул руку и потрогал пальцем выступ на мурне. Мурн зажужжал громче, упал на ковер, отскочил и опять завис в воздухе.

– Присаживайтесь, – продолжал песик, указывая лапой на кресла.

– Мурны – они бывают и дикие, огромных размеров. Древняя скотинка. Они охотились еще на первобытных джиннов, ну и людьми не брезговали. Начнет сгущаться вокруг путника туман в глухом месте. Потом еще гуще, потом еще, а потом туман рассеивается, а на дороге только белые косточки, хоть на витрину.

Соломон опасливо покосился на Мурна.

– Не бойтесь, этот мурн маленький, домашний, вроде вашего кота. Он тут мышей ловит, всякую мелкую живность вдоль лимана, да и то редко.

Петя и Соломон пошли по ковру, как по трясине, с чувством, что этот пружинистый мягкий ковер в любую минуту расступится и засосет куда-нибудь вглубь. Но благополучно прошли к креслам и уселись. Кресла, несмотря на их роскошный вид, оказались твердыми и неудобными. У Пети какой-то гвоздь, торчавший под обивкой, пытался повредить ягодицу.

Как только гости уселись, на том месте, где они стояли раньше, возникла стена, отделившая комнату от остального подвала. Стена была покрыта роскошным гобеленом, изображавшим какого-то царя во славе его, восседающим на золотом троне в окружении придворных. Придворные, видимо, в государе души не чаяли, хотя сами были и в коронах, и в золоте, и в самоцветах.

– Вы думаете, это Соломон в славе своей, – отозвался песик, проследив взгляды своих гостей. – А вот и ничего подобного. Трон действительно Соломона, но на нем восседает Сахр – величайший из джиннов после Иблиса. А справа от трона я, – добавил он скромно. Сразу представлюсь: меня зовут Асаф ибн Саубан ибн Ибрагим ибн Надим из славного рода шайтанов. Иблис тоже из шайтанов. Мы его предпочитаем называть прежним именем Азазель, что значит «Бараноголовый бог»

Увидев скептическое выражение Петиного лица, пес уточнил:

– Форма, содержание – вечная игра в прятки. Инерция мышления, штампы восприятия. Если вам покажут голову быка – вы скажете, что это голова быка.

Соломон кивнул.

– А это может быть голова херувима с ближайшего неба и наоборот. А форма человека самая предательская. За ней может скрываться вообще кто угодно: от ангелов до самой последней сволочи. Вот я ее никогда и не принимаю. Слышали, люди говорят, что им больше нравятся собаки. Но сами они до конца пойти не в состоянии, а я вот пошел.

Во время этого монолога мурн, удобно устроившись одной своей частью у собачьего бока, другой поместился на полу у дивана. Части эти были соединены тонкой перемычкой. Видно было, что содержимое мурна, клубясь, перетекает по этой талии то вверх, то вниз. Мурн вырастил несколько «ушек» под лапой у джинна. Джинн их автоматически поглаживал, отчего существо противно жужжало.

– А кто такой тот великий Сахр? – спросил Петя, пытаясь перевести разговор на другую тему. Негативное отношение джинна к людям было очевидно, а они пришли сюда, не для того чтобы затевать ссору.

– Кто такой Сахр? – задал себе Асаф риторический вопрос. – Для того чтобы ответить, кто такой Сахр, нужно ответить, кто такой Соломон, кто такая Македа, царица Савская, и, наконец, кто такой я! Но раз я все это затеял и призвал вас сюда, придется кое-что рассказать. Только то, что необходимо для выполнения моего плана.

Песик плавным движением удалил с колен мурна.

Асаф

Хотите, я расскажу вам сказку? – вдруг спросил джинн.

– Да, конечно, – с готовностью отозвался Соломон, который любил всяческий фольклор.

Петя поерзал на остром выступе кресла. Это движение его кормы не осталось незамеченным джинном.

– Я вижу, сидеть вам не очень удобно, а рассказ длинный. И вообще, могут подумать, что я плохо принимаю гостей, – добавил джинн и щелкнул пальцами правой лапы.

(Иногда, рассматривая собачью лапу, Петя задавался вопросом: «Как он это сделал?».)

Из-за камина, неслышно скользя по ковру босыми ступнями, выплыли две красавицы. Из непрозрачной одежды на них были только кружевные занавесочки, скрывающие нижнюю часть лица. Вся остальная одежда облаком газа окутывала столь совершенные тела, что Петя подавился на вдохе, да так и не дышал минуты две, самым дурацким образом покраснев лицом. Такой величины и формы грудей он не видел даже в эротических фильмах.

Красавицы подошли к гостям, улеглись перед ними на ковер, превратившись в низкие кушетки, покрытые парчовыми накидками.

– Располагайтесь, – пригласил джинн, показав лапой на ложа.

Соломон встал с кресла, обошел софу и улегся на нее, предварительно сняв туфли, с таким видом, как будто всю жизнь диванами ему служили восточные красавицы.

Петя тоже встал с кресла и потрогал диван. Везде одинаково мягкий, только на подушке, кажется, знакомое кружевце. Как-то улегся. Обернувшись, поглядел на свое кресло. Вместо кресел у стены стояли два поломанных старых ящика. У Петиного из верхней крышки торчал предательский гвоздь.

Песик опять щелкнул пальцами. Из-за камина вышли другие две красавицы. Каждая несла маленький столик, на котором красовался поднос с фруктами, орехами и какими-то восточными сладостями на блюдечке. На каждом столике также стоял кувшин тонкой работы и пиала.

Девушки с поклоном поставили столики перед гостями. При этом одна из них так глянула на Петю черными бездонными глазами, что он чуть не потерял сознание. При поклоне идеальная грудь качнулась вперед и назад, увлекая за собой Петину крещеную душу. Петя машинально налил в пиалу из кувшина и выпил залпом что-то сладкое, пряное и довольно крепкое.

– Господа, я вижу, вам понравились мои слуги, но я не хочу, чтобы вы отвлекались от моего рассказа и витали где-то в мечтах

о гуриях, потому вам не помешает познакомиться с ними поближе. Омиер, покажи гостям свое лицо, – приказал джинн.

Красавица повела плечиком, как бы стесняясь, потом отвязала край вуали и отвела ее от лица. На присутствующих уставилась морда старого бульдога в морщинах с отвислой нижней губой и сплюснутым носом. Через губу свисали два желтых клыка. С уголков рта капала слюна.

Петя схватил кувшин и стал пить из горлышка.

«Гурия» повернулась к гостям своими восхитительными ягодицами, вытянула ангельскую ножку и стала толкать пальчиками саламандру, лежащую в камине.

Саламандра зашевелилась, заизвивалась, разбрасывая брызги пламени, и зашипела.

– Посмотри – настоящая саламандра, – сказал восхищенно Соломон, толкая Петю. Петя лежал на диване с закрытыми глазами, отпивая из носика кувшина.

Повинуясь жесту песика, обе красавицы уменьшились и ушли в камин, толкнув напоследок саламандру в бок.

– Петя, прекрати, это неприлично, – зашипел Соломон.

Петя поставил кувшин на столик и осоловевшим взглядом уставился в камин.

– Если вы не против, я хотел бы предложить вам кофе.

Соломону стало неудобно оттого, что Петя тут лежит в позе валика от дивана и не намного от него отличается интеллектуально, а хозяин все это видит. Не так он предполагал начало переговоров.

Соломон еще не успел согласиться, а прямо из узора ковра на полу выскочили два существа, похожие на подстаканнички на длинных тонких ножках. На каждом таком паучке дымилась чашечка черного кофе. Только от одного запаха Петя начал приходить в себя.

Паучки поставили чашечки на столы и, спрыгнув на ковер, спрятались в узоре.

– Мне сказали, по какому вопросу вы решили проведать старого одинокого джинна, – сказал песик, после того как гости отпили по маленькому глоточку из чашечек. – Да, я действительно очень стар, даже по меркам джиннов. Ведь джинны живут в среднем

лет по семьсот, а мне более трех тысяч. Возможно, дело в том, что, когда джинн находится в малом объеме в кувшине или бутылке, например…

При этих словах мурн зашкворчал, как гренка на сковороде.

– Вот, ему тоже не нравится. Он был со мной в последнем кувшине. Очень он старый мурн, и со скверным характером. Надо бы его выгнать, да привязался я к нему за последние две с лишним тысячи лет.

Асаф погладил какой-то выступ на мурне, на что тот отреагировал тихим жужжанием.

– Вообще, пока джинн сидит в бутылке, для него время не идет. Мне кажется, это справедливо, – закончил он свою мысль.

– Нам бы так, – заметил Петя.

– А как же с пожизненным? – съехидничал Соломон.

– Все течет, все изменяется: правители, законы, моря. Опять же рыбаки, или амнистия. Впрочем, я отвлекся.

Джинны

– Давным-давно, в незапамятные времена (для вас, конечно) у джиннов с Создателем вышел конфликт. Это то, что вы называете «восстанием ангелов». Только никакие ангелы тогда не восставали. Ангелы не могут восстать по определению – у них своей воли нет. А вот у джиннов есть, и еще какая! Но не это главное. Факт в том, что ангелы нас перебили. Сначала выбили с Луны, а затем Господь решил с нами на земле не сражаться. Окружили они Землю, как написано в Коране, «летающими башнями» и давай выжигать все по площадям огнем. Джинны хоть и созданы из плазмы, но огнем их уничтожить можно. Одни любят холодную плазму, как в ваших лампах дневного света, другие погорячее – вон как та зверюшка в камине.

Мы готовились к войне на Земле, но нас перехитрили.

Азазель тогда предводительствовал ангельскому воинству, с которым мы сражались в космосе. Его тогда произвели в ангельский чин – вот он и старался. Думал, ему Землю в управление отдадут. А когда было решено все уничтожить, возмутился,

спорить стал. Нашел с кем спорить. Хотя, может, из-за этого наши его опять уважать стали – кроме него, с Создателем спорить никто не осмеливался. Думали – ну все, пропал Азазель. Ан нет. Нескольких ангелов, которые высказали свое мнение, не совпавшее с высочайшим, Всеблагой тут же уничтожил. А между прочим, сам же приказал свое мнение высказать. Ну, думали, конец нашему Азазелю, однако Создатель сам его уничтожать не стал – решил все пустить на самотек. Азазеля из ангелов разжаловал и перед самым мероприятием по уничтожению на Землю отправил. Стал Азазель с тех пор Иблисом. Вот так-то!

– А как же остальные?

– Осталось нас действительно мало, но потихоньку размножились. А к тому времени Создатель продолжал создавать. Вот вас создал. В пику нам, конечно. Мол, следующее мое творение много совершеннее, и давайте все им восхищаться.

Ангелы, понятно, стали восхищаться, а нам не до того было. Создатель своими бомбардировками довел наш народ почти до полной деградации. Некоторые до того озверели, что людей есть стали, чего раньше ни один джинн себе не позволял.

– Раньше людей не было.

– Вот, а тут появились, да еще и в любимых созданиях ходят. И это обидно.

Тогда джинны решили вывести свою породу людей из помеси себя и человека. Гибриды оказались вполне жизнеспособными. Вполне как люди, даже лучше, а на самом деле почти джинны. И все получалось замечательно, пока Создатель этот фокус не раскусил и государства этих народов не уничтожил. Слышали, наверное: Атлантида, Лемурия. Остался, конечно, кое-кто из этих стран, но мало. И тем не менее по свету разбрелись и давай людей уму-разуму учить. У каждого народа есть легенда о том, что появился какой-то пришелец из ниоткуда и всему их научил.

А джинны тем временем поустраивались региональными богами по всей планете. Мы контролировали развитие человечества. Направляли и управляли. И получали от благодарных людей дань и подарки. Жить стало веселее. И главное – люди совсем о Творце забыли. И повели мы человечество по пути знакомому, нами пройденному, а потому с финалом известным.

Но тут Создатель опять оборотил лик свой в нашу сторону. Хотел бы я видеть выражение этого лика, когда он увидел, кто в доме хозяин. Ну, не так чтобы совсем близко. Вообще-то, лучше его не видеть, особенно в такие минуты.

Что тут делать? Опять всех уничтожать? Уже делали. Результат так себе. Уменьшать количество греха на земле путем физического уничтожения грешников – не метод. Так можно и с одними зверюшками остаться. Решил Создатель напомнить людям, кто тут кто.

Выбрал он самый продвинутый народ – египтян. Сообщил жрецам, что вот так-то и так – Бог он един, хоть и во множестве лиц пребывать может. Что Создатель он всего сущего, все остальное – спекуляции джиннов на человеческом невежестве. «Ну, – думаем мы, – всё: потеряли мы Египет». Ан нет. Жрецы это знание за семью замками спрятали, друг дружке на ушко передают. Джинны жиреют, ничего не меняется.

Тогда Создатель выбрал народ, которому терять нечего. Объявил его избранным – и давай совершенствовать. Возможно, что и назло египтянам. Кто его знает?

– Во, во! Евреи это были.

– Конечно, нам это не понравилось. Не то чтобы урон большой, но прецедент. И решили мы заняться этим народцем вплотную. Для начала решили поставить своего человека царем. Причем так, что мы тут как бы ни при чем.

Если посадить хорошего человека на трон – конец государству. Это все знают. Нашли мы хорошего человека. Скот он пас отменно, кузнечное ремесло знал прилично, но в цари годился, вот как этот мурн. Провели мы спектакль с Голиафом – не подкопаешься. Голиаф получил камнем в лоб и умер по всем правилам. Нужно ли говорить, что был он джинном из хорошей семьи и после своей «смерти» прожил еще лет шестьсот?

И вот стал Давид царем, но все у него замечательно, и Создателя славит с еще большим энтузиазмом. Тогда мы приступили ко второй фазе операции.

Из сыновей Давида выбрали самого подходящего. Соломон был умен и хитер. На этот раз мы поставили на ум. «Во многой мудрости много печали», – до этого он потом додумался.

Пишут, что Давид выбрал Соломона за особые таланты. Но во всем мире, когда одиннадцатый сын из семнадцати становится царем, а потом под благовидным предлогом убивает старшего брата, – это называется дворцовый переворот. Этому способствовала мать Соломона – любимая жена Давида, и один из священников.

Мы не зря ставили на ум. Умные окружают себя умными советниками и от этого становятся еще умнее. Дураки же не подпускают к себе никого умнее себя. А так как Соломон был мудр, и джинны служили ему, то главным советником из джиннов был Сахр! Скомпрометировать дурака легко и просто, но и цена победы невысока. От него и так все ждут какой-нибудь дурости. А вот увести Соломона с пути истинного – достойная задача для джиннов. И скажу без ложной скромности: мы с ней справились.

Мы повели Соломона, и он повелся. На богатство, на славу, на женщин, на лесть. И когда он, умнейший из людей, стал строить языческие храмы в честь джиннов, мы праздновали победу. Вы слышали о доходах Соломона? Шестьсот шестьдесят шесть талантов золота ежегодно. Какая там торговля! Джинны с ног сбились, рыская по миру в поисках плохо лежащего золота. Все внушали Соломону, что он велик и могуч. Он так проникся этой мыслью, что послал оскорбительное письмо царице Савской Балкис.

«Придите ко мне предавшимися». Это ж надо так обнаглеть! И это послание царице гораздо более могущественной, чем он сам. И заметьте – она приняла это предложение, а не объявила Иудее войну. Потому что это тоже было частью плана. Умная девочка, хотя частично человек. Джинния она наполовину. Она моя родная племянница. Родного брата Омара дочка от какой-то приличной женщины из Офира. То бишь из Эфиопии, по-вашему. Хорошее образование получила.

Приехала она в Иудею, побеседовала с Соломоном. Задала вопросы умные касательно самых сложных вещей, которые он еще знал. Произвела дивное впечатление, заключила торговые соглашения, родила Соломону сына, да с тем и отбыла.

И тут опять лик Создателя обернулся в нашу сторону. И полетел Соломон с трона, и лишился своего знаменитого перстня.

– А куда же делся перстень?

– А перстень в это время носил Сахр – величайший из джиннов после Иблиса. Носил сорок дней и правил Иудеей в облике Соломона. Пока хозяин перстня юродствовал где-то в задрипанном углу обитаемого мира. Вот вы к нему и сходите. Сделаете доброе дело старому человеку, передадите ему от меня известие. Может, он придумает, как вашу задницу спасти в благодарность.

– Записку? – спросил Петя.

– Нельзя тайные слова доверять бумаге, на словах передадите.

– А нас там не съедят?– забеспокоился Соломон.

– Не съедят, я вам тайный знак поставлю на руку, никто вас тронуть не посмеет! – и пес захихикал противным старческим смехом.

Царица Савская

Три дня во дворце готовились к приезду царицы, и даже могущественные джинны сбились с ног. А в гареме Соломона царило смятение, потому что слухи при дворе опережают события. И ни одна жена не хотела идти на ложе царя, чтобы не сравниваться с прекрасной Македой. Ибо слава о красоте царицы была оглушительной. И только старшая жена, которая, по обычаю, не могла быть изгнана, пришла к Соломону. Соломон был поглощен своими мыслями о грядущем приеме и слушал жену вполуха. И она решила, что сейчас самое время влить яду ему в душу.

– О, премудрый муж мой, я слышала о несравненной красоте Балкис, но почему никто никогда не видел ее ног? Ходят слухи, что она джинния, и у нее ноги козы.

Ошарашенный Соломон уставился на жену и вдруг улыбнулся.

– Спасибо, Сарра, – сказал он, – ты подала мне чудесную идею. А теперь иди и скажи остальным, что если я еще раз услышу злое слово или пакость против моей гостьи, то виновную отдам в жены золотарю.

Сарра пулей вылетела из покоев царя, а в гареме установилось глубокое уныние.

Ну и работенку задал Соломон подданным! Десяток джиннов полетели в Сабу с твердым наказом доставить трон царицы

в Иерусалим. Но не тут то было! Джинны царицы не хотели отдавать его ни за что. Кое-как за крупную взятку удалось посмотреть на него и сделать копию. Покои дворца украшались цветами. Со всех концов света доставлялись деликатесы, повара и музыканты. А караван царицы приближался – и даже джинны не успевали сделать все, что задумал Соломон. И тогда Сахр, великий визирь-джинн попросил Соломона выехать навстречу царице, чтобы задержать ее в пути.

Во всей красе и весеннем убранстве встречала царицу земля Иудеи. Цвели персики и миндаль, благоухали маслины, а трава пестрела цветами. На белой кобыле, в шелковых одеждах ехал Соломон в сопровождении свиты навстречу царице. Двое черных служителей на черных конях обмахивали его опахалами из белых перьев страуса.

Они встретились на лугу среди холмов, где у ручья на привале стоял бело-голубой шатер царицы. Царица вышла из шатра, а Соломон спрыгнул с коня, их глаза встретились, и они поняли друг друга.

– Приветствую тебя, о царица Сабы, на моей земле и желаю тебе долгих лет царствования и мира. Я охотился неподалеку. Какова была твоя дорога?

– Здравствуй и ты, о великий царь Соломон, сын Давида, царь иудейский. Приехала я на твое приглашение. Не часто я получаю столь любезные послания.

Соломон густо покраснел, потому что письмо гласило: «Придите ко мне предавшимися».

Царица улыбалась, глядя на его смущение, а Соломон не мог глаз от нее оторвать. Она была закутана в розовые шелка оттенка цветков миндаля. Шею украшал воротник из жемчугов с изумрудами. На обнаженных руках мерцали золотые браслеты, белый тюрбан скрывал ее волосы.

Огромные черные глаза, правильный маленький нос и полноватые губы отличались красотой от лиц ее придворных дам. Она смеялась и была совсем юной, но когда становилась серьезной – казалось, что она помнит начало времен.

– Ну что ж, интересно посмотреть на мудрость великого царя Соломона. Я путешествовала по своим владениям и решила заехать в гости.

Она взмахнула руками – и вдруг над головами придворных взлетел орел, описывая круги. Соломон хлопнул в ладоши – и взлетела орлица. Орлы закружились в голубом небе, выписывая узоры, а потом, сцепившись когтями, полетели камнем вниз. У самой земли, едва не разбившись между Соломоном и Македой, они расцепились и, взлетев в небо, исчезли в облаках.

И тут на холме появилась свора собак. Тут же перед ними возникла волчица с волчатами и едва не вцепилась вожаку в нос. Она нападала столь яростно, что собаки бросились наутек.

А на смену им вышла стая гиен, омерзительно зловонных и воющих. Из-за холма раздался рев льва, а потом и сам огромный лев вышел из кустов. Завидев льва, гиены бросились врассыпную и тоже исчезли.

Тогда прекрасная Македа пригласила царя в шатер, где был накрыт стол. А вокруг шатра собрались музыканты с барабанами и флейтами, танцоры и танцовщицы. И они танцевали и пели до утра. А царь и царица вместе с придворными вели занимательные беседы и веселились. Утром после завтрака Соломон простился с царицей, и она осталась отдыхать, а Соломон ускакал во дворец готовиться к торжественной встрече.

Продолжение следует

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Поэзия

196 **Юрий Михайлик**
Но там никого нет

201 **Владислав Китик**
Как возвратиться на круги свои

206 **Валерий Сухарев**
Я заблуждаюсь

215 **Игорь Потоцкий**
Из Мексики – о любви

219 **Евгений Ушан**
Романтические стихи

224 **Олена Олійник**
Навіяне часом

226 **Александр Мардань**
Я разный, но не всякий

Юрий Михайлик

Но там никого нет

* * *

Летний сон. Полночная прохлада.
Мягкий звук – во сне иль наяву?
Ты не бойся – там, во мраке сада,
абрикосы падают в траву.

Это отдаленный ритм прибоя
глухо отзывается вдали,
словно предназначен нам с тобою
краткий промельк жизни и любви.

Слабыми полуночными снами
мир и сад качается в стекле.
Ты не бойся – это было с нами.
Может, только с нами на земле.

Ничего другого мне не надо,
пусть приснятся, если доживу, –
сонный сад, июль, во мраке сада
абрикосы падают в траву.

* * *

Жизнь талантлива, поскольку она коротка.
Жизнь назойлива, поскольку прет изо всех дыр.
Жизнь слепа и глуха, ибо самая золотая строка
ничего не изменит в мире, и не сможет спасти мир.

Остается галдеть и гадать – кто ты и где ты.
А ты просто кот господина Шредингера – мертв и одновременно жив.
Достоверных ответов нет. Достоверны любые ответы.
Правдив любой приговор, который также и лжив.

Так что сиди-гляди на иссиня мятущийся бред,
который поближе к берегу похож на равнодушно зеленую быль.
И даже то обстоятельство, что тебя уже как бы нет,
не может служить доказательством, что ты был

то ли смыт волной, то ли занесен песчаной пургой
на другой стороне планеты, на другой стороне, на совсем другой…

* * *

Юлию Киму

Вот говорят, моржи не переносят лжи,
твердят, что вирус лжи противен их натуре.
Он выживет везде – на суше и в воде, –
но не в полярных льдах, не в той температуре…

А нас, увы, друзья, лепили из вранья,
из фальши, из брехни – за тем или за этим –
и в толпах наших лжей, ханжей и сторожей
отсутствия моржей мы просто не заметим.

Но все же иногда в нагроможденьях льда,
где синяя слюда в арктических проливах,
из темной глубины всплывают их стада –
полночные стада красивых и счастливых.

Ты музыку включи – там за бортом в ночи
их круглые глаза блестят в полярном мраке…
И, может быть, друзья, действительно нельзя
и Шуберта любить, и верить в наши враки…

Евг. Голубовскому

1.

Нас принесла волна в смутные времена,
где совместить невозможно лица и имена.
Как из-под толщи льда в немыслимые года
еще уловимо звучанье, но значение – никогда.
Будто бы на родном, но совершенно ином –
то ли на новорусском, то ли древнеблатном.
Что ж, помолчи со мной, старый товарищ мой,
на языке молчанья нас позовут домой.
Так коротка стезя, что не дойти нельзя,
там юны наши подруги, там живы наши друзья.

2.

Настоящее открытие новых земель
обычно сопровождается посадкой на мель,
особенно если под берегом прорастает коралловый риф.
Команда высаживается в мангровые леса,
обнаруживает кенгуру и прочие чудеса,
ищет пресную воду и чинит свой парусник,
когда позволяет отлив.
Потом возникает легенда, и тот, кто смел,
хриплым голосом распевает – кто кого съел,
хотя тут еды было вдоволь, и вода обнаружилась,
все приплыли обратно,
починились, и еще много новых и старых земель нашли,
проплывая первый раз вокруг земли,
а в общем итоге получилось, что троекратно.
Троекратно, как приветственные поцелуи
в московском аэропорту,
вставные челюсти старательно удерживая во рту,
хотя никто ничего, никаких земель, и даже рта – не открыл,
и вокруг ничего – ни мангров, ни кенгуру,
только голубые начальственные елочки
покачиваются на ветру,
отводя свои ветви от аборигенских лиц.

Рифма тут есть, просто она тоже упрятана кое-где,
как скрыта любовь к огненной воде,
и как замаскирована по периметру бдительная охрана,
и все товарищи хоннекеры (на лицах застарелой любви
и преданности печать)
поедут по праздничным улицам отвечать
и отмечать, как всеобщий пророк реагирует
на некоторые отступления от корана.
Все открытия новых земель похожи друг на друга,
хотя сами земли различны, но как бы в пределах круга,
а в конечном счете что Арктида, что Антарктида,
просыпаешься утром в спальном мешке или просто в мешке,
к ногам что-то привязано, похмельная боль в башке,
и уже никуда не денешься. Пустота. Холод. Обида.
Все открыватели новых земель горды собой,
и когда их на рифы выносит прибой голубой,
как однажды спела возлюбленная оперетта,
продолжают собой и своею судьбой гордиться,
пока в черный пробитый трюм поступает вода – водица,
и в ней тонут любимые неузнаваемые города,
и понимаешь, что все это никуда не годится.

3.

Вот оно и настало – время злобных чудес.
Они наблюдают за нами, вероятно – с небес.
Возможно – это пришельцы, гости с иных планет.
Они нас слышат и видят. Но там никого нет.

Спутники, беспилотники, дроны, системы глонас –
все пролетает над нами, не понимая нас.
Но мы хорошо помним уже несколько тысяч лет –
наверху нас видят и слышат. Но там никого нет.

Сверху все вроде бы правильно – сияние городов,
четкие прямоугольники разноцветных полей и садов,
пролетающий по дорогам белый и красный свет –
все сверху понятно и правильно. Но там никого нет.

Наверное, справедливей было позавчера –
в мире заточенной палки, в мире каменного топора,
а когда с высоты лупит лазерный смертельный стилет,
не успеешь поднять голову. Но там никого нет.

Хотелось бы верить, что кто-то увидит, услышит, поймет,
по голове погладит, за руку тихо возьмет,
кто-нибудь остановит долгий кровавый бред,
просто вздохнет – опомнитесь. Но там никого нет.

Хорошо бы позвать по имени. Имя не знает никто.
И что нам в глаза нацелено – нечто или ничто?
Настигает нас гнев господень или просто удар ракет?

Оно нас видит и слышит. Но там никого нет.

Сидней

Владислав Китик

Как возвратиться на круги свои

Одесским знакомым

Фанты те же. Ветер – свежий.
Зелень детства городского,
Говор улицы Манежной,
Близость гомона морского.

Бельевых прищепок бусы
От досады бесталанной
Отвлекут,
                но жить по вкусу
Все равно не по карману.

Под нетрезвые коленца
Шебутного переулка
Светской жизни кинолента
Преумножит эхом гулким

Чувства, что давно вне моды
И придирчивой морали.
Ночь.
        Вздыхают пароходы
В желтой ауре печали.

Только кто под небом южным
Оставался безутешным
Даже в полдень равнодушный,
Даже полночью кромешной?

* * *

Здесь был Австрийский пляж.
И синева…
И в якорях матросская братва,
И дембеля, поправшие рейхстаг.
Пила «ерша» по кругу стайка урок.
Здесь, кашлянув для бодрости в кулак,
Пыхтел завод, как маленький окурок,
Но именно сюда под настроенье
Приходишь ты, подобно моряку,
Что, маясь у судьбы на иждивенье,
Остаток дней на пресном берегу
Надумал посвятить стихосложенью.
И море, очертив урез воды,
Настолько долго бьет в пустые плиты,
Что стачивает грани монолита.
И, кажется, смывает все следы.

Весеннее

Пусть нет ни слова правды в новостях,
И стрелочников ищут на путях,
Есть передышка от житейских драм,
Когда в свистульки ласточки свистят,
И на асфальте камешки блестят,
И март разносит почту по дворам.

Пейзаж округи лучше, чем багет.
Рельефней шаг, чем многократный след,
Светлее двор, сто раз открытый вновь.
С весной иначе даже кран течет,
Сантехники, часам теряя счет,
Пьют «из горла»: наверно, за любовь.

А чем не повод?! На закуску сыр!
Один глоток – и ближе сердцу мир.

И осеняет умиротвореньем,
И золотится плюшевый от верб
На перспективу щурящийся сквер,
О, Господи, божественною ленью.

* * *

Весна уходит – остается сад.
Он сохранит ее влюбленный шепот.
Уходит время – остается опыт.
Которым горд, хоть сам тому не рад.

«Проходит всё», – изрек мудрец,
                но он
Не досказал: когда?
                Сплошной зарницей
Накатывает жизнь со всех сторон.
Закончиться грозит, но длится, длится.

Случайный миг, продленный любованьем,
Так просто, словно правду зеркала,
Тебе покажет, как луна кругла,
Не скучен сад, бессильно расставанье.

Пусть до утра горячка – поделом.
Утихнет боль – останется терпенье.
И ветки хруст, и розовый излом,
Как вычерченный угол.
…угол зренья.

* * *

Ты едешь в ночь, я ухожу наверх
По спуску.
                Медлю… Глохну под мостами.
Взлетев петардой, брызнул фейерверк.
Напомнил вновь, как грезят небесами.

Ты в неизвестность едешь, как во мглу,
Под монотонный гул таксомотора.
По лобовому черному стеклу
Текут цветные блики светофора.

Того, что не имел, нельзя отдать,
Как в числах видеть только чет и нечет.
И снова время тихое, как тать,
Крадет мечты, а говорят, что лечит.

Так под неверье проходных дворов
Под выдумки, чье место на подмостках,
По неземному счастью гаснет зов
Космических орбит и перекрестков.

Сверну,
                взгляну поверх домов туда,
Где желтый месяц кажется медовым.
Иная жизнь возможна,
                как всегда,
Но мы пока и к этой не готовы.

Французский бульвар

Тот бег пролетки, те особняки,
Ограды, город в солнечной сирени
От установок века далеки,
Как новострой от искры вдохновенья.

Но предстает, шагнув из-за угла,
Давя каноны, принципы и мерки,
Конгломерат бетона и стекла,
Куражась всласть, как черт из табакерки.

Не так ли мстит бездарность мастерам,
Им возразив архитектурной чушью
От градоустроительных программ,
Чужих в основе и по духу чуждых?

Теперь над бывшей дачею Рено
Клубится пыль: точней – над гаражами.
Тот город канул в летопись давно.
Здесь правят бал другие горожане.

Как возвратиться на круги своя,
Когда сошел с намоленного круга?
А двух культур не сходятся края,
И чем старей, тем дальше друг от друга.

* * *

Две жизни терпких на моей ладони,
две женщины разноименной масти,
невыносимо пристальны, брезгливы,
качающие кошек под предсердьем.

И те, кто оцарапают мгновенье,
когда оно случайно или зряшно…
Я знаю эти коготки свиданий
и сумочку забытую нарошно.

И кошкины повадки тоже знаю
(и что помаду лепят вам на щеки,
печатая бессмертную дугу,
в летучем поцелуе, – сумасшедший,

гневливый подставлятель щек); я знаю,
как пальцев паучиные разбеги, –
свое плетя, – снимают пыль колгот…
Была на даче кошка – Анемона.

Spell Б. Юзефпольской

в моем школьном и папином австрийском портфеле
пахло кедами и бутербродами и мне поутру еле-еле
хотелось идти в особняк в стиле модерн в прошлом – девиц
благородных пансион и я там учился не увидав девичьих лиц

но там были другие и тоже девичьи струящиеся ноги по
невероятным мраморным печеньям ступеней в кромешное депо
чердака где много чего отсвечивая и гудя из «о» чердака
(дважды в одной строке и дважды ноль) запылилось там на века

и пепел лет лег на веки мои наверное я был там как вий
а вурдалаками – орясины и я что-то мычал тогда о любви
а сам сделал так что ты словно на миг замерла и умерла
выпадая или точнее скользя из объятий и пыль плыла

по световому лучу чувственности и так беззащитны были
твои кружевные восьмеркою на лодыжках и уже объявили
о страшной и пугливой радости – быть – но не подругам и не
маме и бабушке в совместной их читательной в дому тишине

зачем я вспомнил тебя может тебя давно уже нет и биг
эппл сожрал твое сердце и высвистел душу и ты на миг

над проливом вися вспомнила этот чердак и в словах бардак
и меня вне закона патлатого и если ты есть ты как?

это не школьных анналов зовы и зевы лет за тридцать годов лет
я знаю кого уже нет имена не мемориал в чащобах моей мнемозины свет
советской лампочки ильича озирает аспидность доски и крохкий мел
и всегда сухую тряпку и сонно в окне урок английского sukharev spell

Транзит

О. Губарю

я заблудился в балтийском море по колени совсем туда
зашед думалось бо скоро вброд к финнам а дальше что
не тресковая и не шпротная схожа с бельмом молчаливая вода
дело в липком июне было и в спазматических небесах решето

пропускало случайные звезды и скулила подруга мол
если к этим замедленным бегунам то я водку и золото
продам им чтобы нам чего съесть и далекий маяк как дырокол
компостировал зрачки уплотняя зренье и было намолото

титанами хтонических лет побережье все в свалявшихся волосах
не русалок а дев которых некуда деть и мои душевные закрома
напоминали мне же кромку февральского льда на карнизе и пах
йодом и вечностью горизонт этой балтийской воды сводящей с ума

и то ли хотелось холодных советских котлет а то ли водки без
гмо и глазастой нефти и кабачковой икры нескромного цвета и
в забубенном ионишкасе под вечер пополняя местный ликбез
купить в крохотном местном магазине глобус мои и чужие твои

мысли вращая пальцем и стали на время даже материками случайно общими
и ты урча ела плацинду тек унылый жир и валилось из рук мясцо вот ела
провожая текучие огни авто вдоль трассы ты лучше меня никогда не обними
а то вытрешь пальцы не о полотенце а в душе невольно напачкаешь и дела

мне до тебя нетути мне в каунас а тебе куда-то жирная как гусеница
ночная прохлада с волосками дерев и кустов трепещет вдогон
тяжким дальнобойщикам и накрапывает и мне твоего смазанного лица
не разглядеть ты выкурила все мои сигареты и гроза в небесах как тромбон

хорошо в чужих краях налегке с рюкзаком где планшет потеет и до
местного вай фая километры накатанной трассы и потустороннее тихо так
наборматывает слева и справа что здесь и сойти с ума и что не тут твой дом
и подруга со страшными млечными взорами над асфальтом повисла и брак

местности в кругу мерцательных озер бормотал ты уходи отсюда ты
не прислушивайся к нордам над головой и ешь и пей только взятое и
эта сущность что рядом стояла прошла сквозь автомобиль за озерцом кресты
мазовецкие и гипсовые ангелы и там часовенка в струпьях с распятием

тогда у меня на душе был менделеевский чемодан и его же жидкость в запасе
так подбирая слова к своей судьбе вдруг остановишься указательный в небо и
ничего не грянули апокалипсисы и нет небесных тромбонов с геликонами и в кассе
закрытой навечно ничего и трассы что твои порванные в портмоне рубли такой наив

я распространяю что хочется вяло на обширные гималаи в офшорные зоны для
заблудших и узнающих себя по загранпаспорту несчастных призраков века
не допускайте меня пожалуйста ни к кому я вас не люблю и бак корабля мили меля
глубоко садится в волну сморкаясь и деревцо у библиотеки где у косяка силуэт имярека

Глядя в бинокль

Вприсядку, словно гекзаметр нетрезвого грека,
дурная волна ходит вдоль пирса, на нем человека
не замечая, хоть пой, хоть изгой; человеку полвека.

Стоит человек, не тянет рыб из глубин, листает
диоптриями простор, а иногда из расхристанной стаи
чаек баклана выцепит взором; последний растает

в новом весеннем небе, где уже пробный дымок
первого катера порожняком; человек в общем продрог,
но согрелся глотком и дальше стоит, как на распятье дорог

скифское идолище, бессознательный истукан,
что рассыплется в этом столетии, канув в карман
времени мятой купюрой; по песку наяривает доберман.

Ничего-то нет у него, ни понюшки, кроме кола и двора,
и женских сложных любовей да спазмов сердечных; пора
задуматься о высях и далях грядущих, только кора

его мозга мнительного настолько схожа стала с корой
каштана, глаза – с кошачьими, мысли – со снами, что ему порой
не вырвать себя из жужжащей жизни окрест; и он совсем не герой

и не жертва романа, дней и систем, он частнее любого лица,
лица как такового, как виньетки; и если его начать с конца,
то получится палиндромон с оксюмороном – от старца и до юнца.

И если тебе вдруг захочется его просто так обнять, –
он не осыпется штукатуркой, не растворится и вспять
не попятится, он с благодарностью будет на пирсе ждать.

Ему, как и тебе, некуда плыть и себя неохота куда-то девать –
ни в палестины чужие, ни на родные галеры, ни под кровать
или на пухлое облако с подогревом, где с ангелами горевать.

Ни длинно, ни коротко, и никак – жизнь вполне не удалась,
с точки зрения маститых больших величин; и легшую масть
не переменить и не переиграть, – так что стой себе всласть.

Старое новоселье

Снова сновала зрачком по полкам и корешкам,
книги приветливо щурились, тихо свое храня;
пространство комнаты она прибирала к рукам
несколько раз за единый день; и такого меня,

наблюдавшего, волновало – как и зачем она
что-то меняет по мелочам и на свой манер,
и как, отзываясь, сбивается занавески волна,
и как я сижу на диване – буддийский юннат; и мер

никаких не принимает мой свитер, подушку обняв, штаны
подвернули ноги – словно кто-то грянулся с высоты, упал
плашмя, лежит и умер; и уже вечереет, и всюду видны
гаргульи предметов в тени, и ночник бледен, точно опал.

Вторжение жизни в жизнь, вплетание речи в речь…
Все это ни к чему, как обычно, но идет своим чередом;
я не мешаю пыли лежать, звучать голосу, воздуху течь;
и если она – гоморра плоти, тогда я – задушевный содом.

И становясь обоюдной, жизнь пыталась срастись
в единое, переплестись, наподобье ствола и лианы;
сменялась зарею заря, и пыль опять поднималась ввысь,
сметаема смелым тряпьем, но штаны и не вставали с дивана.

Лавра

Е. Ж.

Храмовые кресты на фоне осеннего вечера,
гуляют небом грачи; туристы от нечего
делать – снимаются с певчими,
раскупают иконки и монастырские пирожки;
ветер взбивает листву по правилу правой руки,
и за витражами горят свеч огоньки.

И я, подветренный странник, жуя с капустой,
гляжу, как над Днепром фиолетово, желто и густо
гаснет заря, высвечивая захолустье
мыслей, довольно случайных; надвратный
храм запирают, и я ухожу в приватный
сумрак Киева, рыже-бардовый и ватный.

Игорь Потоцкий

Из Мексики – о любви

*

Между двух слов – «уходи» и «постой» –
целая жизнь, остальное – неважно.
Вот ты смеешься вновь надо мной,
смейся и дальше. Мне это не страшно.
Кем ты была – поцелуйной лафой,
лавой, где, впрочем, одно твое тело,
вовсе не злой, но совсем не простой,
бабочкой мне на ладонь прилетела.
Бабушка нам напророчила мед
уст и касание взглядов и пальцев,
жизнь, что, как скорый вагон, проскользнет,
только любви не должны мы бояться.
Девочка-девушка-женщина-мать,
я научился тебя понимать!

*

Прости, что ты с другим, а я с другой,
что в городе безумств и одиночеств
ты снова затерялась между строчек,
написанных дрожащею рукой.

*

Ты вздрагивала, а я замирал.
Луна в окно подглядела,
как медленно я постигал
ноты твоего тела.

*

Пан играет на свирели,
облака порозовели,
море плещется волной
под вечернею луной.
А в соседнем перелеске
возникает свет не резкий,
не боящийся утрат,
ангелы над ним парят.
Свет задумчивый и строгий
вспыхнет на витой дороге,
а потом погаснет вдруг,
будто выскользнет из рук.
И вот этой ночью сладкой
поцелуемся украдкой
от деревьев и луны,
и войдем друг другу в сны.
Что там в снах, поймем едва ли,
будто не туда попали,
будто утро стелет дым
над отчаяньем своим.

*

От тебя осталось много и мало –
губ летящих облако, злая пурга,
осень, где ты по небу легко летала,
и ручей звенящий, и злая река.

На ее стремительных поворотах
миллионы брызг и немыслимых слез,
а потом твой дом, перед ним – ворота,
а над ним горошины крупных звезд.
Мы с тобою были – как две мишени
для друзей, приятелей и родни.
Обо мне говорили они: мишугенер,
на него с любовью ты не смотри.
Я таким и был – сумасшедшим малость,
я тебе читал чужие стихи,
заставляя питаться небесной манной,
сочинял немыслимые грехи.
По Одессе шлялись мы днем и ночью,
целовались всласть и в любви клялись.
Я не телом владел твоим – только дрожью
твоих длинных, словно столетье, ресниц.
Ты одна мои странности понимала,
никогда со мной не была строга…
От тебя осталось *много* и *мало* –
губ летящих облако, злая пурга.

*

Нет заботы, нет печали,
черти были и пропали,
все заметены песком,
и внезапно грянул гром.
Он гремит напропалую,
он хохочет и басит,
он не верит в никакую
славу, от нее бежит.
Он несется, как собака,
слепленная полумраком,
он рычит, как страшный зверь,
и куда-то ищет дверь.
Осень. Время листопада.

Дождь. По телу снова дрожь.
Листьев желтая громада
спрашивает: ты идешь?
Я мечусь, как птица, в клетке,
и как соловей на ветке,
я стараюсь подпевать
рати. Но откуда рать?
Рать дождинок очумелых
не вернет своих коней.
Только вдруг кристально белый
снег ложится у дверей.

Евгений Ушан

Романтические стихи

* * *

Крутые тротуары февраля,
Прохожие буксуют неуклюже.
Ворчу спросонок, окунаясь в стужу.
И в спешку озабоченного дня,
А рядом внук, похожий на меня,
Скользит по хрупким застекленным лужам.
Весь этот мир восторженно любя:
Застывший парк, живого воробья,
Мохнатых раскрасневшихся прохожих –
Как странно вспоминать в тебе себя.
Прошедшего, на целый мир моложе,
Где мне уже не греться у огня.
Как мы с тобой пронзительно не схожи,
Как радостно похож ты на меня.

* * *

С утра на площади Соборной
Шумел футбольный наш народ:
О судьях, о пенальти спорных,
О том, кто в сборную войдет.

Но затухали разногласья,
Когда, улыбчив и высок,
Центрфорвард Москаленко Вася
К нам забегал на огонек.

Пусть в матчах мазал он нередко,
Ему прощали всё, любя,
Когда вколачивал он в сетку
Свой гол
В прыжке
Через себя.

А после по полю, как Будда,
Шел, отрешенный от всего.
И не забыть мне это чудо,
Тот гол из детства моего.

Давно со мной простилось детство,
Исчезла юность навсегда.
И только ты, моя Одесса,
Цветешь, как прежде, молода.

Все те же яхты на приколе,
Все те же чайки на волне.
Но спорим мы не о футболе,
А о майданах и войне.

Но мрак не вечен, боже правый,
Еще увидим, что почем, –
И вновь на смену балаклавам
Придет пацан с тугим мячом.

Придет улыбчивый и дерзкий
И обязательно забьет
Свой главный гол,
Мой гол из детства.
Через себя,
Вразножку,
Влет.

* * *

Когда невзгоды за спиной,
Когда иду ко дну,
Я прихожу на пляж ночной
Послушать тишину.

Как славно отдохнуть от бед,
Не думать ни о чем
И пить неспешно лунный свет
Глоточек за глотком.

Глоток добра, глоток любви,
Глоток былого сна.
И только Бог мой визави,
Лишь Бог и тишина.

И понимаешь, смерти нет,
И это навсегда:
Пустынный берег, лунный свет,
Полночная звезда.

И повторится все не раз,
И возродится вновь:
И первый вдох, и первый класс,
И первая любовь.

И будут чайки вновь кричать,
И в звездной тишине
Ты, словно в юности, опять
Бежишь навстречу мне.

* * *

Цепочкой незримой и прочной
Мы связаны с миром всегда –
Буксир протрубит полуночный,
И с неба сорвется звезда.

И вроде без всякой причины,
От мысли,
От эха вдали
Грохочут, срываясь лавины,
И тонут в морях корабли.

Есть связь между вспышкой сверхновой
И градом, побившим поля, –
Мы все в этой связке суровой
Плывем на ковчеге «Земля».

Какая вселенская тайна
Нам Господом Богом дана –
Обидишь кого-то случайно –
И в мире начнется война.

* * *

Ты помнишь, Лида, тот причал
В полночной тишине –
Соленый бриз тебя качал
На призрачной волне.

Мерцали звезды с высоты,
Прибой баюкал нас –
И на меня глядела ты,
Как будто в первый раз.

Как будто знала наперед
Или узнала вновь –

Звезда упавшая блеснет,
И кончится любовь.

Ты тихо всхлипнула тогда,
Не к месту, невпопад,
И не забыть мне никогда
Твой беззащитный взгляд.

Шумит, как встарь, Эвксинский Понт,
Волна о берег бьет –
Давно ушел за горизонт
Мой белый теплоход.

Шуршал песок, шумел прибой,
Глядел в пространство Дюк,
И где влюблялись мы с тобой,
Теперь гуляет внук.

В глазах его отражены,
Как праздник бытия,
И синь небес, и блеск волны,
И молодость моя.

Олена Олійник

Навіяне часом

Бігла боса Життям зустрічати Світанок.
Посковзнулась на розлеглій заздрості.
Падаючи, зачепилася Душею за місяць.
Зависла у нічному просторі.
Вдивляюсь у темряву.
Сова…

Привселюдно вила Вовчиця.
Вже не від болю й страждань.
Від жаху за свій стрибок.
Готувалася…

Якщо надірване серце обкласти шматками криги,
Воно охолоджуватиме Душу.
Все…

По дорозі йшов чоловік.
На собі ніс важкий дубовий хрест.
Протягнула йому яблуко.
Не взяв. Хрест несе…

Сонячне проміння доторкнулось до морської хвилі.
Віджахнулись злякано. Обпеклись.
Море гарячим промінням. Проміння крижаною водою.
Не зрозуміли…

Стояла на порозі. Виглядала Долю.
Вона постукала у заднє вікно хати.
Кострубатою палицею.
Досі відлуння…

Кохання тримало Розум за ґратами.
Загинуть обоє.
Всесвіт…

На швидкості стрибнула в потяг Успіху.
По дорозі відчепили сходи.
Скачуть тепер сходи зі мною по колії.
Життя…

Забаглося жабі стейку.
Стрибнула у хлів. Лизнула волове копито.
Стейкхауз…

Александр Мардань

Я разный, но не всякий

ПМЖ (постоянное место жительства)

Небо смотрит на землю,
Как всегда, свысока,
На земле много грязи,
А на нем облака.

Как наряд у невесты,
Бел, прозрачен и нов.
Не на небе нам место,
А в тени облаков…

Необратимость

Термометр разбитый ты не склеишь,
Свои слова назад не заберешь,
Усы на фотографии не сбреешь,
О чем собака выла, не поймешь…

Вечерние новости

Убийства – новостей основа,
Они вкусней ласкают слух,
Соседа пала бы корова,
Или он сам разбился в пух.

Мы греемся чужим морозом,
В котором мерзнут далеко.
Так покорять вершины можно,
Не поднимаясь высоко.

Автопортрет с рюмкой

Я разный, но не всякий,
Обидчивый, до драки,
Спокойный, когда вольный
И сам собой довольный.

Голодный я под утро,
Но сытый ближе к ночи.
Как для других – я мудрый,
А для себя – не очень.

Я не люблю поездки,
Что схожи на скитания.
Милей мне занавески,
Что выгорели в спальне.

Люблю я умных слушать,
А с глупыми молчать.
Со всеми люблю кушать,
С друзьями – выпивать.

Я не люблю повестки
Судов и партсобраний,
Суждений крайне резких
И долгих ожиданий.

Я улыбаюсь редко,
Давно не раб вещей,
Стрелял когда-то метко,
Как прежде – книгочей.

Я радуюсь удаче,
Она мне – не всегда.
Не жду от жизни сдачи.
За все плачу сполна.

Я разный, но не всякий.
Во мне тревога есть
Не потерять во мраке
Ту, что зову я Честь.

Вдохновение

«Каждой бабе по мужику –
Каждому мужику по две бабы».
Из программы партии Жириновского

Где честной музе мужа взять?
И мужику, конечно, выбрать сложно.
Их девять, и какую замуж звать?
Истории, зовется Клио, а можно
Талию – иронии и смеха мать,
Уранию, что звезды мастерица открывать,
Эвтерпу с Каллиопой для обмена.
Еще есть Терпсихора, Мельпомена,
Полигимния и Эрато, наконец.
Любую можно сразу под венец,
Если придет. Проблема, что не ходят
Они по незнакомым мужикам.
А на знакомство с ними жизнь уходит.
Поэтому другие бабы ходят к нам.

Иерархия потребностей

Я ягоды хочу с лозы снимать губами,
Зубами мясо рвать хочу с кости,

В музее к древностям дотронуться руками
И смысл слов моих до зала донести.

Хочу, чтоб солнце не пекло так сильно,
И пусть февраль пройдет без холодов,
А в мае пусть идут дожди обильно,
И было чем зимой кормить коров.

Еще хочу, чтоб не гремели взрывы
Под окнами знакомых и чужих
Людей, чтоб не калечили призывы
Вражды, что делает зверями их.

Ожидание багажа

Плывут на ленте чемоданы
Чужие, нет там моего.
Какие их послали страны,
Что в них лежит и для кого?

Мне это все неинтересно,
Мне нужен мой, но нет его.
От них на ленте уже тесно,
Но не хватает одного.

Уносят пассажиры ношу,
Пустеет лента на глазах.
Я не уйду один, не брошу
Мой скарб, что собран впопыхах.

В нем то, что клеит меня с бытом:
Одежда, обувь и носки,
Роман о прошлом позабытом
И виски, средство от тоски.

Билет назад, пока без даты,
Как у летящих на юг птиц,
Еще блокнот, где мысли сжаты
Между обложек и страниц.

В нем боль разлуки, грусть и ревность,
Свободы календарь и верность
Идеи, планы, голод знаний,
И время, время ожиданий.

Вот наконец он появился –
Один на карусели всей.
Я взял его и удивился,
Зачем так много мне вещей.

Первые шаги

232 **Анна Малицкая**
Плацкартное

Анна Малицкая,
студентка 1 курса украинского отделения филфака ОНУ

Плацкартное

Плацкартный шум – это древний танец, где вечность пляшет у края рельс. Неважно, кем ты в том мире станешь, неважно, что назовешь ты «Здесь»: Варшаву, Хельсинки, Лондон, Бруклин – все встречи будут в короткий срок…

Клубок дороги ложится в руки и тянет нити в сплетенье строк, в туман рассветов, в раскаты грома – с тропинки больше нельзя свернуть бродягам, ищущим поезд к Дому и выбиравшим длиннейший путь, чтоб насладиться протяжным шумом, впитать глазами далекий свет.

Теперь уж поздно о рае думать и, сожалея, что там нас нет, просить маршрут изменить до неба, судьбе закладывать жизнь на спор…

Дорога в рай – не такая небыль, как то, что ждет нас за склоном гор.

И разве стоит, отдавшись свету, оставить рельсы истлеть в пыли, когда твой Дом ожидает где-то на грани вечно родной Земли?..

Горячий чай, пирожки со станций, дожди и снег за одним окном, дороги плачутся вслед: «Останься…» – да только скажешь ли им о том, что путь, которым ты долго мчишься, – стремленье к Дому длиною в жизнь?

Ведь ты, мой странник, совсем мальчишка, но так за поездом тем бежишь, как будто выведал тайны судеб и заглянул в черноту их ртов.

Ты не узнаешь, что дальше будет, но все ж прошепчешь себе: «Готов!».

Билет в кармане, поклон порогу, калитка ласково в путь толкнет, клубок отмерит клочок дороги словами первых стихов в блокнот, плащом укроет чернильный вечер, от звезд и странствий уже седой.

Вокзал, платформа, рюкзак на плечи – здесь оставаться легко собой, бродить по свету и быть свободным, пока дороги к рассвету есть; и танцевать под небесным сводом старинный танец у края рельс…

До отправленья – еще минута, и вечность – чтобы судьбу творить.

Клубок дорог беспощадно спутан, но что с того, если все – твои?

В «Эолиане»

И гул затих. Ты вышел на подмостки,*
Почти что нищий, слишком смел и юн…
Казалось, мир стал просто отголоском,
Далеким эхом грустных слов и струн,
А голос твой, волнующий и нежный,
Из чаши неба вылился за грань.
Ты был, как море в звездном безбережье,
Ты был самою песней. Та игра
Рождала в людях золото рассветов,
Срывала слезы с их застывших глаз.
Так облетают в осень листья с ветви,
И пляшет ветер свой последний вальс,
Так летний дождь целует небосклоны,
Так зелень трав ложится в даль пути…
О, жизни свет! Его ты пел с Алойной,
Ответившей из тьмы на твой мотив!
И пусть не все бывает в нашей воле –
На взлете в вечность рвется вдруг струна.
Но пальцы, пряча след забытой боли,
Ласкают шесть. Мелодия верна,
Как будто сердце в ней горит, сплетенной
Из трехголосья звуков, слов и чар!
О, ты ведь знал, певец: острее терна,
Больней ударов молний и меча

* Видоизмененная строчка знаменитого стихотворения Б. Пастернака «Гамлет».

Был твой напев любви, войны, разлуки,
Связавший песни каждой из дорог…
И всякий помнил: в кровь изранив руки,
В «Эолиане» пел в тот вечер бог.

Я зажгу маяки…

На безбрежьи морей, где сберечь в своей памяти надо
Верный курс к континенту и каждый с него поворот,
Я зажгу маяки. В них, как в искры небесной плеяды,
Верит каждый скиталец с дорог океанских широт.

С незапамятных дней корабли все блуждают по свету,
Ищут странствия, страны и молят в надежде богов,
Что с безмолвных высот маяки непременно ответят,
Если шторм их настигнет вдали от родных берегов.

Одиноким гудкам, заблудившимся здесь, в океане,
Поборов непогоды в беззвездной опасной ночи,
Я зажгу маяки. И проводят суда над туманом
Из сорвавшейся бури на свет путевые лучи.

И дойдут корабли до чужих, неизведанных далей,
А когда они вновь пожелают вернуться назад,
Я зажгу маяки. Там, где странников в вечности ждали,
В горизонт устремляя волнительно-радостный взгляд.

И причал расцветет в серебре накативших прибоев,
И с высоких утесов другим кораблям подмигнут
Огоньки маяков, что на пустоши вечного моря
Освещают матросам в родимую гавань маршрут.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Искусство – жизнь – искусство

236 **Евгений Голубовский**
«Не мемуары, а свободная повесть»

242 **Вадим Перельмутер**
Фрагменты о Пушкине

265 **Валерий Шерстобитов**
Топчий – певчий из Одессы

278 **Валентина Голубовская**
«Будут бить поэта Шенгели»

285 **Роман Бродавко**
Маэстро

290 **Евгений Деменок**
Вторая одесская гастроль Давида Бурлюка

Евгений Голубовский

«Не мемуары, а свободная повесть»

До сих пор не написана история журналистики в Одессе. И, боюсь, не будет написана. Тут нужен новый Олег Губарь, который на десятилетия ушел бы в библиотеки, в архивы. Но клонирование оказалось мистификацией, а выращиванию естественным путем новых подвижников не способствует наше время.

Конечно же, отдельные яркие фигуры интересовали исследователей. Публиковались фельетоны В. Дорошевича и В. Жаботинского, были собраны очерки Александра Дерибаса, не вошедшие в его книгу. Недавно О. Киянская и Д. Фельдман вернули из забвения журналиста, художника Якова Бельского. Естественно, что были и другие исследования, касавшиеся некоторых журналистов. Но цельной картины, панорамы не было и нет.

Хоть, впрочем, яркая картина, вобравшая в себя всего два года, была написана. И было это не исследование, не мемуары, а великолепная повесть Константина Паустовского «Время больших ожиданий».

Почему я сейчас вспомнил об этом? Да потому что держу в руках эту книгу, изданную в 1960 году в Москве.

Подробнее напишу именно об этой книге, той, что держу в руках, дальше. А сейчас хочу рассказать, какое впечатление повесть произвела на меня в далеком 1959 году, когда я прочел ее на страницах журнала «Октябрь».

Уже название повести, «Время больших ожиданий», совпало с ощущением конца пятидесятых – начала шестидесятых годов. Смерть усатого палача, начало реабилитации невинно замученных, расстрелянных вновь воскресили надежды, пробудили большие ожидания. Что с того, что опыт мог подсказать, что

большие ожидания чаще всего оканчивались печально? Но так хотелось верить…

Паустовского я читал и раньше, мне нравились его рассказы, но «Время больших ожиданий» очаровало. В книге была любовь к Одессе, знание Одессы, понимание Одессы. И, конечно, главным героем повести для меня был Исаак Бабель. Совсем недавно реабилитированный, уже прочитанный в недавно изданном сборнике, он представлял собой загадку, которую хотелось понять. Образ, созданный Константином Георгиевичем, как бы вписывался в «Одесские рассказы», делал Бабеля понятней и ближе.

Прошло более чем полвека. У меня сохранилась любовь к этой повести и смутное ощущение теплоты, радости от того, что прочитал в 1959 году. Время от времени какая-то фамилия заставляла меня пересматривать, перелистывать повесть. То это был Николай Иванович Харджиев, в повести Коля Ходжаев, то Василий Регинин, который позже, в Москве, опубликовал «Двенадцать стульев», то Ловенгардт…

Каюсь, мое внимание не привлек Аренберг. Может, потому что я знал, что с ним знаком Саша Розенбойм, который встречался, беседовал с ним, а раз так, то выспросил тотально, и надеяться на какую-то находку казалось уже бессмысленным. Каюсь, ошибался…

Недавно во Всемирном клубе одесситов мой старый приятель, журналист Вадим Кигель, лукаво улыбнувшись, спросил меня:

– Кому подарить книгу Паустовского с его автографом?

– Мне, – ответил я, еще, признаюсь, не веря его словам.

– А кому подарил ее Константин Георгиевич?

– Моему дяде, журналисту Аренбергу…

И вот уже дома, вечером, я вновь открываю «Время больших ожиданий».

«Начали собираться сотрудники. Пришел репортер Аренберг, плотный человек со смеющимися глазами.

Он бурно радовался любой новости, будь то приход в порт норвежского парохода «Камилла Гильберт» или землетрясение в Аравии.

Его возбуждал самый ход жизни, все перипетии и подробности ее движения, все ее перемены, независимо от того, что это может

принести с собой: беду или счастье. Это было для него вопросом тоже важным, но все же второстепенным».

Эх, если бы была написана история одесской журналистики, как много интересного можно было бы прочитать об Александре Анисимовиче Аренберге! Многое я узнал уже сейчас из книги, подготовленной Е.Н. Гнединой, куда вошли тексты Александра Розенбойма и многих других.

В 1896 году, в восемнадцать лет, Аренберг начал работать репортером в газете «Одесские новости». Он родился в Тирасполе 21.1.1878 года. Окончил 3-классное училище, а дальше – самообразование. Он был знаком с К. Чуковским, С. Уточкиным, Л. Утесовым. Он брал интервью у В. Жаботинского, И.Бунина, Ф. Сологуба, А. Федорова, К. Костанди и П. Нилуса… Если бы он написал воспоминания! Но, как он сказал Александру Розенбойму: «Слишком много воды утекло… – помолчал и добавил: – И крови».

Эти строки из замечательного труда Ростислава Александрова, а это псевдоним Александра Розенбойма, «Путешествие внутри книги», исследования, посвященного «Времени больших ожиданий», книге, которую Саша любил, изучал, пропагандировал.

После «Одесских новостей» был «Моряк». Был Аренберг собкором «Правды» и «Соцземледелия».

А потом и его накрыл большой террор.

В упомянутой книге я прочитал об Аренберге: «…был арестован и сослан на 10 лет за анекдот, рассказанный в кругу друзей». Не совсем, оказывается, так. Но об этом не знал ни Саша Розенбойм, ни Е.Н. Гнедина…

Интересно устроена жизнь. Именно в те дни, когда я вчитывался в биографию Аренберга, литературовед Оксана Киянская опубликовала на Фейсбуке страничку расстрельного дела одесского журналиста Б. Флита. И там промелькнула фамилия Аренберга. Я попросил Оксану Ивановну дать мне возможность прочесть это дело (вместе с Аленой Яворской она будет его публиковать), объяснив, что меня интересует другой подельник – Александр Аренберг. И, получив это дело, прочитав все протоколы допросов, я понял, что дело было не в анекдоте, что «выдал» Аренберг государственную тайну – наличие голода на Украине в 1933 году…

26 апреля 1935 года одновременно был произведен арест двух журналистов, одесских друзей – Бориса Флита, жившего в то время уже в Москве, и Александра Аренберга, приехавшего в Москву из Одессы в связи с увольнением из газеты. Обоих обвинили в… контрреволюционной агитации.

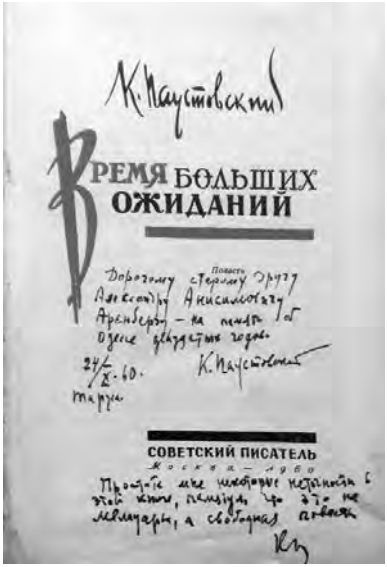
Александр Аренберг

А конкретно Аренбергу поставили в вину, что два года тому назад, в 1933 году, приехав в Москву, он рассказывал на квартире Флита в кругу старых одесских знакомых о голоде в Одесской области, а в 1935 опять же в компании журналистов говорил о том, что провален сев и вновь возможен голод.

Следствие не интересовало реальное положение дел. Сам факт сообщения о голоде был контрреволюционным.

Три месяца длилось следствие. И хоть Аренберг отрицал участие в антисоветских разговорах, но Особое совещание приговорило его к трем годам ссылки. Можно сказать, что ему повезло, и срок был «вегетарианским». Борису Флиту повезло меньше. Осужденный также на три года, он затем в ссылке повторно был приговорен к расстрелу.

Аренберг через три года вышел из заключения. Помог ему Константин Паустовский. Сегодня уже не узнать, как и чем. Но сохранился черновик письма Аренберга Паустовскому, в котором он писал: «Дорогой Константин Георгиевич! Люди познаются в беде. В отдельных случаях этот признак, конечно, излишен. Не нужно было никаких несчастий, чтобы всегда видеть в Вашем лице человека чуткого, отзывчивого, лишенного какой бы



то ни было черствости. И хоть не нужны были никакие доказательства, они пришли помимо моей воли. Лучше было бы, конечно, если бы не надо было проявлять ко мне свойственную Вам сердечность. Но факт налицо. Ничего не попишешь…».

«Ничего не попишешь» (двусмысленная фраза) – это урок самому себе. В журналистику Александр Аренберг не вернулся. Не попишешь… Приехав в Одессу в 1939 году, пошел работать на киностудию. Мемуаров не писал… Умер в Одессе 21 марта 1966 года.

Дружеские отношения с Паустовским сохранялись всю жизнь. И вот у меня в руках одно из вещественных доказательств этих отношений. Книга «Время больших ожиданий», изданная «Советским писателем» в Москве в 1960 году. Из Тарусы в Одессу прислал ее Константин Георгиевич. На титульной странице две надписи. Первая – дарственная.

«*Дорогому старому другу Александру Анисимовичу Аренбергу – на память об Одессе двадцатых годов.*

К. Паустовский

24.10.60.

Таруса».

А дальше, рискну предположить, что Константин Георгиевич представил, как будет читать книгу старый одессит, знающий каждый камень в родном городе, и продолжил:

«*Простите мне некоторые неточности в этой книге, памятуя, что это не мемуары, а свободная повесть.*

КП»

Трудно подобрать более точные слова.

Константин Паустовский

Конечно же, повесть – художественное произведение.

Конечно же, свободная. Насколько можно было быть свободным в дни «оттепели».

И еще – круг ассоциаций…

Помните, у Пушкина: «И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал».

От свободного романа, где есть глава об Одессе 1820-х, тянутся нити вдохновения к свободной повести об Одессе 1920-х годов. Менялись годы, власти, оставался город. И море – свободная стихия…

Такие мысли неожиданно вызвал автограф Константина Паустовского, прочитанный в 2017 году, в котором 31 мая исполнилось 125 лет со дня рождения писателя.

И когда так ждешь новой свободной повести…

Вадим Перельмутер

Фрагменты о Пушкине

Из «Записок без комментариев»

Три вопроса, на которые должен ответить – себе – текстолог на подступах к любому из своих исследований:

Что сказал автор?

Это ли он сказал?

Он ли это сказал?

Следуя этому правилу, Ахматова не приписала бы Вяземскому *отказа* от Пушкина, *предательства*, выведенного ею из фразы – да еще в пересказе Софьи Карамзиной, – что он «закрывает свое лицо и отворачивает его от дома Пушкина». То бишь именно от *дома*, где происходит нечто, чего он видеть не может и не хочет.

А Гершензон не поместил бы предварением к первому изданию «Мудрости Пушкина» – в виде *скрижали*, эстетического credo Пушкина – факсимиле переписанной пушкинской рукою страницы из Жуковского…

С пушкинскими *неоконченными* вещами дело обстоит, пожалуй, сложнее, чем мне до сих пор представлялось. Начиная с Ахматовой, ему приписывались *хитрости*, которых, скорей всего, не было. Конечно, после него остались вещи, работа над которыми была оборвана гибелью, я бы назвал их *прерванными*. Но сюда не относятся более ранние, вроде «Арапа» или «Русалки».

Была особенность дара (кстати, вполне *переводимая в прием*, как, например, поступали *поэты-пушкинисты* – Ахматова или Ходасевич), которую несколько условно можно определить как нахождение кратчайшего пути *к сути*. Он стремительно приходил к *главному*, к самому существенному, дальше – ясно, потому –

неинтересно, вещь закончилась, хотя сам автор – в силу традиции профессиональной – вполне мог считать ее незавершенной, даже пытаться вернуться к ней и сокрушаться – вполне искренне, – что «продолженье впредь» никак не дается…

Собственно, что может быть далее в «Арапе» или в «Русалке»? Все видно, все дальнейшее уже известно, а подробности, в общем-то, несущественны…

Подобные вещи иногда «сами собой» происходили у Шенгели (скажем, «Черный погон»), у Ахматовой и других *поэтов-пушкинистов*.

Впрочем, тут – граница сознательного и бессознательного, где слишком многое *гипотетично*, чтобы выстраивать *теории*. Однако если вспомнить о «презумпции гипотезы»…

Напомню: если выводимая на читательский суд гипотеза не противоречит ни одному из известных фактов и в последовательном изложении ни одного из них не игнорирует, она имеет право на существование, автор ее вполне может ограничиться повествованием – «бремя доказательств» ложится на того, кто примется за опровержение.

«Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь»… Но Моцарт *знает*, что – *не* бог. Что его музыка – лишь приблизительное, посильное, *земное* воспроизведение тех божественных звуков, которые ему слышны. Что *исполнение* его несовершенно. И потому так приветлив и щедр со слепым скрипачом, со своим *двойником*, исполняющим творения Моцарта, право, не хуже, чем Моцарт – музыку Творца. Для Сальери: «маляр негодный… пачкает Мадонну Рафаэля». Для Моцарта: и Рафаэль дает лишь намек, туманное подобие образа.

Сальери убивает то, чего не понимает. Того, кого считает богом…

Об этом был фрагмент, разумеется, более подробный, несколько страниц, в статье Александра Белого на тему пушкинской трагедии. Я долго и впустую бился над тем, чтобы убедить автора – оставить только это, сделать из большой, страниц в тридцать, статьи шестистраничное эссе-исследование для *читающих Пушкина*. Ему, однако, представлялось куда более важным обнародовать

свои *концептуальные* наблюдения и соображения о библейских и евангельских мотивах, интонациях, ассоциациях, короче – о *пушкинском православии*, вдоль и поперек обсужденном еще в середине тридцатых эмигрантскими религиозными философами, а в конце восьмидесятых стремительно вошедшем, даже ворвавшемся в моду среди крещеных пушкинистов метрополии.

Статья была напечатана *как есть* и осталась незамеченной. И это – самая большая моя редакторская неудача.

Может быть, «Маленькие трагедии» – *болдинское* сведение счетов со всеми, донимавшими Пушкина до женитьбы, нечто вроде подведения итогов на пороге vita nuova: с отцом («Скупой Рыцарь», задуманный еще в Михайловском – в пору «сыновнего бунта»), с друзьями-литераторами («Моцарт и Сальери»), с женщинами («Каменный гость», где есть и прямо об этом), наконец, загнавшая в долгий и далекий *карантин* холера («Пир») etc.

Занятно также, что «отец наш Шекспир» всего дважды – с пятилетним перерывом – *посещает* Пушкина *основательно* – и оба раза в вынужденном заточении: в Михайловском («Борис Годунов») и в Болдине. Оба раза Пушкин устраивает таким образом нечто вроде *театра для себя*…

Вообще, *автобиографичность* «Маленьких трагедий» бьет в глаза. Даже в наиболее, казалось бы, отрешенном «Пире», где ассоциация с «холерой» очевидна и поверхностна, важнее сцена со священником. И, конечно, – «Девы розы пьем дыханье»…

Слова цыганки, нагадавшей ему «смерть от белого человека», что, конечно, соблазнительно сопоставить с *белокуростью* Дантеса, отзываются явлением к Моцарту «черного человека» (и только ли «слова»? – как знать! – быть может, и антрацитовый цыганский глаз, и мрак волос?)…

А объяснение Дон Гуана с Донной Анной перекликается с «Тебя, моя Мадонна»…

В споре двадцатых годов прав Ходасевич, считавший пушкинское творчество *насквозь автобиографичным*, а не Щеголев с Томашевским, уличившие его в ошибочном – «биографическом» – толковании «Русалки». Они раскопали и документально дока-

зали, что девушка, которую *совратил* поэт, вовсе не утопилась, а жила и здравствовала, ребенка растила, да еще отец ее «заботы» от Пушкина домогался. Но ошибка Ходасевича лишь в чересчур буквальной интерпретации именно этого сочинения, которое, разумеется, тоже *автобиографично*, только связь тоньше. Примеренный на себя сюжет «Бедной Лизы» оказался не впору. Завершать его стало неинтересно. Да и стоит ли таким образом испытывать судьбу?..

На первый взгляд, здесь – броское отличие «Маленьких трагедий» от «Бориса Годунова», где ничего *личного*, вроде бы, не просматривается. Но… не сказалось ли в нем острое предчувствие «смуты», о подготовке которой Пушкин знал – и которая могла дать ему шанс (и дала, правда, на иной лад) выбраться, наконец, из ссылки? И случайно ли Пушкин выбирает в истории *слом*, приведший на престол Романовых, с одним из которых у него как раз в ту пору – беспросветный конфликт?..

Там же, в Болдине, «лета к суровой прозе клонят». К семейной жизни. К «Повестям Белкина». С «пушным» (пуш-кинским) псевдонимом: белка в колесе с ободом-карантином…

В приданое за невестой Пушкину была обещана «медная бабушка» – статуя Екатерины Великой, художественной ценности не имевшая, но, будучи продана в переплавку, способная принести изрядную сумму: медь ценилась недешево. Однако он так и не получил ее. Окончательно это стало ясно через несколько лет после женитьбы. Примерно тогда, когда он сел сочинять… «Медного всадника».

По молодости лет он «екатерининского века» не застал. Отстал от него на целое царствование. И, в отличие от старших современников, решительно отдавал предпочтение петровским временам.

Впрочем, Пушкин-историк, начавшийся с «Годунова» и сложившийся, опять же, ко времени женитьбы, занимается ими обоими. Историей Петра – и… «Историей пугачевского бунта», кульминацией екатерининского правления, крестьянской войной на фоне расцвета «под рукой императрицы».

К столетию со дня смерти Пушкина обнаружилось, что в европейских странах с развивающейся университетской русистикой сложился *свой* образ поэта. В самом деле, кому как не югославам исследовать «Песни западных славян». А полякам – переклички с Мицкевичем или подтексты «Медного всадника», чье «тяжелозвонкое скаканье» еще отдавалось эхом в этой бывшей вотчине российского императора…

Впрочем, связь не всегда столь очевидна. «Заболевший» русской поэзией еще в пору личного знакомства с поэтами Серебряного века итальянец Этторе Ло Гатто издал свой перевод «Евгения Онегина» – не без намека на «жанровое родство» *романа в стихах* с читанной Пушкиным поэмой Джузеппе Парини «День». Не без удивления выяснил я, что никто в Италии (из славистов, разумеется) не озаботился поглядеть – как *соотносятся* эти два сочинения (в частности, прием «лирических отступлений» – общий для них).

К слову, Джузеппе Парини умер в год рождения Пушкина.

Первая зарубежная работа о *театре Пушкина* – книга Ринальдо Кюфферле – тоже вышла в Италии, в 1937 году. Не потому ли, что здесь отношение к театру, пожалуй, динамичней, более ценится разнообразие форм и *сценическая легкость*, чем в не менее *театральных* странах – Англии или Германии?

История изящной словесности – паутина эха, где слух летит по нитям, тормозя на узелках.

…И бездны мрачной на краю.

Прозрение на границе бытия с небытием, где неизбежность *чумы* – не псевдоним эпидемии, но синоним смерти. И это подчеркнуто ассоциацией-цитатой, строкой-инверсией из державинской оды «На *смерть* Мещерского»:

Скользим мы бездны на краю…

Для первых читателей трагедии Пушкин – младший современник Державина. Век спустя учебники развели их по разным эпохам.

Рифма – не рифма, так, ассонанс: Пушкин – Воронцова, Маяковский – Брик. Обе старше – зрелей – *прочно замужем*. Сколько бы ни было прежде женщин, эта – первая, с которой он чувствует себя – и становится – мужчиной. И связь остается, даже когда чувство притупляется, отдаляется от рампы. Оба *вытесняют* этих женщин другими – с успехом, так скажем, дискуссионным…

В старости Воронцова почти ослепла. Пушкинские письма-признания были драгоценностью памяти. Все, связанное с поэтом, что появлялось в печати, она требовала читать ей вслух. Однажды выслушала несколько только что опубликованных писем Пушкина к Анне Керн. И в ярости бросила свою связку в камин. Узнала…

Подобные «повторы» она могла бы обнаружить не только в письмах. Были и стихи – напечатанные: всех книжек не сожжешь.

В 1826 году обращенное к Александре (Алине) Осиповой «Признание» завершалось: «Но притворитесь! Этот взгляд Все может выразить так чудно! Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!».

Тремя годами раньше – к ней, к Воронцовой: «Я умолял тебя недавно Обманывать мою любовь»…

Иллюзия сочинительской легкости, внушенная Пушкиным читателю, срикошетила в историков литературы и прочих гуманитариев, вплоть до врачей и юристов – соблазном писать о Пушкине, тем более властным, что у каждого есть «мой Пушкин».

Как известно со времен Оскара Уайльда, «лучший способ справиться с соблазном – поддаться ему».

Неудачи на этом поприще – разного калибра. Самая, на мой взгляд, сокрушительная – книга Милюкова «Живой Пушкин». И дело, конечно, не в том, что вся она, начиная с заглавия, *покоится* на вышедшем за год до столетия со дня гибели поэта томе Вересаева «Пушкин в жизни».

В конце концов, автор «Прогулок с Пушкиным» в своих тюремных досугах тоже ограничился вересаевской хроникой, однако употребил ее для собственных мыслей и размышлений, взял *свое* там, где нашел.

В середине двадцатых годов главный редактор Милюков выдворил из «Последних новостей» Ходасевича, десять лет спустя –

Цветаеву. Поэтов, лучше всех в эмиграции читавших, знавших, писавших о Пушкине.

Беспредельно эмоциональные, остро субъективные цветаевские очерки *на грани прозы и стиха* он, так сказать, по праву *серьезного ученого* мог игнорировать. Но от Ходасевича – особенно после бесспорного успеха изданного в 1931 году «Державина» – все ждали превосходной книги о Пушкине.

«Державин» был, если угодно, *репетицией*: написанный «по Гроту», он, надо думать, предполагал в дальнейшем писание «по Анненкову». Но при ближайшем подступе к *теме* обнаружилось, что анненковские «Материалы к биографии» – лишь часть, а целое куда обширней, разно- и противо-речивей.

Ходасевич не написал этой книги по той же причине, по какой не состоялся роман Тынянова «Пушкин». Оба замысла сгубили избыток «сведений» и непомерный пиетет к *герою*: невозможно отобрать, отсортировать для себя более и менее существенное, все, до мелочей, – равно важно.

О Державине Ходасевич знал несравненно меньше – как Тынянов о Грибоедове или Кюхельбекере, – потому было пространство воображения, свобода толкований и дерзость гипотез.

В Пушкине оба просто-напросто *утонули*. В нем – для них – *главным* было все. И для *свободного* письма не хватало воздуха…

Судя по всему, Милюков не знал, что работа, едва начавшись, зашла в тупик, – и торопился обогнать «конкурента», *после* которого его труд предстанет читателю на безнадежно проигрышном фоне. Похоже, что у него нет времени не только *выйти за пределы* Вересаева, но и просто подумать. Иначе, вероятно, не стал бы утверждать, что Татьяна Ларина писана с Анны Керн, живущей «в разъезде» с мужем, «старым генералом»…

Вероятно, только репутация Милюкова помешала почтительным рецензентам заметить, что его книга о Пушкине выглядит до странности *по-советски*.

Однако удивительного тут не так уж много, если вспомнить его выступление на литературном вечере в Париже семью годами раньше: «Русская литература периода классического, до Толстого

включительно, была периодом реализма. Его сменил период романтизма или «символизма». Сейчас, в то время, когда в России литература возвращается к здравому реализму (sic! – **В. П.**), здесь, в эмиграции, часть литераторов… продолжает оставаться на позициях отрыва от жизни»…

«Витийство лишнее природе злейший враг…» (Вяземский).

Впрочем, как сказал знаменитый француз, «несовершенство предела не имеет».

Книга о Пушкине, сотворенная в конце семидесятых почтенным Б.И. Бурсовым, как бы сама собой раскрылась передо мной на странице, где было сказано, что «Пора, мой друг, пора» написано в 1834 году (что вряд ли!) и свидетельствует о наступившем… разочаровании поэта в красавице жене и намерении сбежать от нее куда-нибудь подальше *с другой подругой*. Тут впору и захлопнуть том: если в нем и прочее так же…

Много лет Бурсов считался авторитетнейшим исследователем «Матери» Горького. Когда *потеплело*, неожиданно выпустил страниц, как минимум, шестьсот о Достоевском – по скудости советских писаний об «архискверном» авторе эффект получился чуть ли не оглушительный. Однако поэзии предпочитал не касаться. С чего бы сменил пристрастия?

Будучи как-то в Комарове у Геннадия Гора, дачного бурсовского соседа и давнего приятеля, поделился своим недоумением. Оказалось, он уже спрашивал неопушкиниста о том же. И получил в ответ, что литературовед, не написавший о Пушкине, не имеет шансов остаться в истории русской литературы.

Пушкин начал «Евгения Онегина» в Кишиневе, продолжил в Одессе. Потом был Крым, беглый взгляд на Кавказ…

В Михайловском воспоминание о тех временах просочилось в совсем иной пейзаж: «Гонимы вешними лучами, С окрестных *гор* уже снега»…

То бишь окрест «деревни, где скучал Евгений»…

Несколько лет спустя Кавказ увиделся *по-среднерусски*: «На *холмах* Грузии»…

Даже странно, что никто из литературоведствующих психоаналитиков до сих пор не удосужился защитить диссертацию на тему: «Пушкин как фаллос русской литературы».

Ведь *оплодотворяющую* роль Пушкина никто не ставит под сомнение.

Можно только гадать, почему пушкинисты не относят, пусть гипотетически, «Я памятник себе воздвиг» к томящему их воображение «каменноостровскому циклу». Хотя стихи прямо-таки напрашиваются в соседство к «Из Пиндемонти», под «вакантный» номер V. *Подлинность* мистификации (Пиндемонти) подтверждается ее окружением: перевод псалма, переложение итальянского сонета, Гораций…

Посредственность норовит выдать чужое за свое. Гений нередко поступает наоборот, как бы смягчая тем самым прямоту, остроту высказывания.

«Недорого ценю я громкие права» и «Слух обо мне пройдет» очень похоже на ответ: критике, уж года два как твердящей, что он «исписался», читателю, исступленно ищущему нового кумира…

Без вины пострадавшим оказался этот самый *кумир* – Бенедиктов, чья первая книга (1835) вызвала поток безудержных похвал.

Только восторженная слепота публики помешала заметить в ней то, что должно быть очевидным даже при беглом перелистывании. Множество «пушкинских» реминисценций, ритмическую зависимость младшего от старшего.

Да и сам Бенедиктов перед Пушкиным благоговел. Послав книгу, робко выискивал возможность услышать о ней хоть два слова.

И услышал – *два*. О свежести рифм и об удачном сравнении неба с «опрокинутой чашей».

Обе похвалы вовсе не столь *ироничны*, как принято считать. Пушкину к тому времени «созвучия» приелись, он рифмовал неохотно и вообще все больше склонялся к прозе. А метафора и впрямь недурна, особенно если помнить, что тогда была внове.

Вдуматься – Пушкин, и не вчитываясь особенно, заметил в молодом поэте главное и отрадное: отношение *к форме*, отношения *с формой*.

Этого нечаянного успеха *ревнители классики* Бенедиктову так и не простили. В предисловии к посмертному изданию его стихотворений (1883) Полонский не преминул напомнить, что «восторги происходили именно в то время, когда публика все больше холодела к высокохудожественным произведениям Пушкина».

Замечательно пишет *поэт о поэте*: «высокохудожественным произведениям»…

Подумать спокойно: что за резон ломать копья – оспаривать выхваченный в советское время из пушкинской биографии молодой «афеизм». И доказывать (кому? – никто не возражает – разве что друг другу), что Пушкин был *христианин*.

А кем, собственно, еще он мог быть – *там и тогда*? Буддистом?

В Китае, как известно, все люди китайцы…

Религиозного рода ассоциации, цитаты, реминисценции, изловленные в его сочинениях, ни о чем не свидетельствуют. Они – из *словарного запаса* времени. И только.

Однако бьющая в глаза полемичность писаний на эту тему настораживает. Не очередная ли попытка – привлечь Пушкина в союзники своих, теперешних забот и затей?

«А был он, дети, *православным*»…

Как говорят физики, недоказуемо, потому что неопровергаемо…

Чем меньше остается времени, тем быстрее оно мелькает. И нет ничего глупее, чем тратить его *с умом*.

«Вместо мудрости – опытность»… Она-то и помогает обходиться – по возможности – без лишних движений.

Тут – разница между движением и суетой.

Мандельштам в «Разговоре о Данте» пишет, что «учитель быстрее бежит». Потому что легко выбирает кратчайший путь.

Так за Пушкиным почти никто из современников не успевал – и еще долго мало кто из потомков.

«Зачем от гор и мимо башен Летит орел, тяжел и страшен, На черный пень?..»

Черный более относится к следующему стиху, где *чернота* не названа, но подразумевается: «Зачем *арапа* своего»…

Пушкин знает, что арап/эфиоп – не мавр/араб. *Арап* – это его прадед Ганнибал, от которого и в нем самом – нечто *арапское*.

Он сознательно усиливает, удваивает контраст Отелло – с мраморною белизной «младой» Дездемоны…

Придворный Золотой петушок, если разобраться, – не совсем «петушок». Этот выходец из фольклорно-мифологического Птичьего двора – литературный гибрид. От одного из гусей, что «Рим спасли», – и «жареного петуха» с золотистой («золотой») корочкой, который клюет – известно, когда, куда и как…

В многочисленных попытках *приспособить* классику к современности Тютчев оказался «неудобным гением», будучи человеком *государственным*, но умным, остался *не у дел*. Чуть что: «Умом Россию не понять»… Можно, конечно, «верить». Однако известно: верую – потому что абсурдно…

Как говорят поляки: «не до вяры»…

Поэту-государственнику Пушкину вроде бы удалось нацепить статус «государственного поэта». Не держится, соскальзывает. Кажется, присутствует поэт при сем при всем, дня не проходит, чтобы где-либо не мелькнул. А не участвует ни в чем, ускользает. Только след остается, напоминание: был…

«Сижу за решеткой в темнице сырой, Вскормленный в неволе орел молодой… И вымолвить хочет: – Давай улетим! Мы вольные птицы»…

Игра судьбы: орел или решка/решетка, или – или, неволя-воля, зло-добро etc.

Странности ассоциаций – и реализованных метафор…

Бунин яростно возмущался *кощунственным* созвучием у Блока в «Двенадцати»: «пес – Христос». Совершенно позабыв, что

всего-то полутора годами ранее именно он, Бунин, – до Блока – ввел эту рифму в русскую поэзию:

Помилуй Бог, спаси Христос,
Сорвался пес, взбесился пес!

Почти полвека спустя «пес» превратится в «собаку». А Сергей Чудаков будет хвастаться *кощунственной* рифмой *интеллигентного* окраса:

В неурожайные поля
Бежит бродячая собака,
И кем-то вскопана земля
На бывшей даче Пастернака…

При всем при этом как-то забылось, что начало подобным поэтическим *вольностям* положил, опять же, Пушкин:

Румяный критик мой, насмешник толстопузой,
Готовый век трунить над нашей томной музой…

Пушкинисты бились над *загадкой адресата*, вроде бы сошлись в конце концов на том, что это Вяземский чем-то приятеля задел, вот и получил щелчок. Так что в напряженных этих исследованиях им, пушкинистам, было не до созвучий. Которые у поэтов застревают в памяти сами собой, без усилий сознания. Чтобы потом отозваться причудливым эхом…

Когда пишешь, в руку приходит то, что не приходило в голову.

…Ну, самое простое, всеми наизусть знаемое: «Я помню чудное мгновенье»… Где «мгновенье» тут же отзывается «мимолетностью», «помню» через пять строк превращается в «забыл», «явилась» непременно повторится, потому как «явление» это явно «божественной» природы.

И если в «помню» была «чистая красота», то в «забвении» она отодвинется в «небесные черты». Где «пробуждение» непременно

аукнется с «воскресением» (опять же – «явление», «небесность»), потому как первым делом воскресло «божество» («небесные черты»), поелику «Бог есть любовь», то к «любви» все стихотворение и сойдется в точку, ежели угодно, «обратное» движение вселенной, сперва из точки разлетевшейся Бог весть как далеко, а после – силою «пробужденья» – сведенной воедино настойчивым – семикратным! – рефреном «и»: все строки последнего катрена с «и» начинаются, в двух первых – по одному разу, потом – дважды, наконец – трижды (из шести слов); а до того союз сей употреблен лишь дважды – где «забыл» и где «вспомнил» («опять явилась»), причем – совершенно симметрично: седьмая строка сверху – и седьмая снизу…

Сделать так нарочно – никак невозможно, но вот это внутреннее знание-ощущение связи всего со всем ведет и вадит…

Ай да Пушкин! Ай да наше все!..

В середине девяностых – «Пушкинская годовщина» в Остафьеве. Шестое июня. С утра – молебен в ближней церкви. Вероятно, под впечатлением его первый же оратор – в парке, у памятника – читает «Отцы-пустынники и жены непорочны». Стоящий рядом с ним *очередник* видимо нервничает – и тем обращает на себя внимание. Когда начинает говорить, причина смятенья становится внятной: он *заготовил* то же стихотворение и, видать, судорожно искал – чем бы таким же *христианским* его заменить, да не нашел. И читает – что поделаешь! Среди прочих ораторов вскоре обнаруживаются его товарищи по проблеме, почему-то выбравшие для праздничных своих речей именно тему пушкинского православия – и не в силах свернуть со счастливо найденного пути… к тому же стихотворению.

При звуках четвертого, то ли пятого декламатора задремавший на скамейке рядом со мной американский профессор-славист Джон Мальмстад очнулся, повел вокруг слегка затуманенным взором и тихо молвил, что автограф «Отцов-пустынников» пребывает у них, в Бостоне, в библиотеке Гарвардского университета, о чем, быть может, и стоило бы здесь сообщить…

Пушкинская тема «Поэт и царь» – не только воспоминание: «Видел я трех царей»… Или декларация: «Ты царь: живи один»…

В 1827 году написано:

…Бежит он, дикий и суровый,
И звуков, и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы…

Шесть лет спустя:

На берегу пустынных волн
Стоял *он*, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко…

Царь-плотник, если кто забыл, начинал с… *ялика*…

И таким вот образом – еще тремя годами позже – «Медный всадник» связывается с «Я памятник себе воздвиг»…

Блоковское: «Мне мешает писать Лев Толстой», – толкуется обыкновенно как некое бессилие поэта перед гением-прозаиком (у большинства – перед поэтом – Пушкиным).

Но я думаю, что *мешало* Блоку вовсе не это – но толстовское отношение к поэзии, к стихам, этой «пахоте вприсядку», – и соответственно настроенная, поклонявшаяся Толстому публика.

Пушкин о Лунине: «Он был легок».

Поэт всегда говорит о себе.

Именно легкости не могла Пушкину простить весомая поступь Льва Толстого.

Литературовед Александр Михайлович Гуревич в одной из работ своих происходившее (и, добавлю от себя, происходящее) «вокруг Пушкина» иронически обозначил остроумным неологизмом «уваризация». На мой пессимистичный вкус, верней сказать – «уварезание»…

Пушкинская ирония подчас не улавливается либо недооценивается.

«Чистейшей прелести чистейший образец». Это, напомню, – о любимой женщине: «образец». И громогласно удвоенная превосходная степень эпитета. «Чистее некуда» – ни *прелести*, ни *образцу* оной…

Или, прошу прощения, в «энциклопедии русской жизни». Даже как-то не верится, что гениальный поэт и «умнейший человек России» всерьез сообщает о своем герое, с которым уже успел неплохо нас познакомить, чуть ли не срываясь в театрально-драматическую тавтологию: «*В тоске безумных сожалений* К ее ногам упал Евгений». Если на кого и похоже, то скорее на Ленского. Которому, напомню, от автора досталась ирония очевидная. Впрочем, героиня отвечает не хуже: «…я тогда моложе, Я лучше, кажется, была». Во втором, интонацией подчеркнутом эпитете не очень уверена. Недаром фраза вошла в обиход, чуть ли не поговоркою стала…

Или еще. «Отелло не ревнив, он доверчив», – бросились повторять, не задумавшись, что *очень умный человек* сказал – и у него почему-то Отелло куда более доверяет Яго, нежели собственной жене.

Отелло промахнулся…

Михаил Леонович Гаспаров настаивал на том, что он – филолог, потому имеет дело *с текстом и только с текстом*, а касаться *психологии творчества* не считает себя вправе. Думается мне, он, обыкновенно скрупулезно-точный, тут сказал не совсем то, что сказать хотел. В запале полемики с наводнившей литературоведение приблизительностью мысли, оправдываемой разного рода «психологизмами», чему, на его взгляд, можно противопоставить только *точные* методы исследования.

Понять можно, однако с *таким* высказыванием наотрез не согласен. Потому что *фило-* без *психо-* – все равно что «любовь» без «души»…

Поэты, читая чужие стихи, говоря про них, знают, что так не бывает.

Ходасевич в своей пушкинистике не сомневался в *слитности* авторского замысла/воплощения. Отсюда – особенный интерес

его к пушкинским самоповторам, то явным, то едва различимым пунктиром прочерченным через многие сочинения.

И тут любопытно: где причина? – где следствие? То ли интерес этот – из собственного тяготения Ходасевича к самоповторам, то ли Пушкин его в том утвердил/убедил – и примером своим *утешил*.

По этой же причине удалось Ходасевичу «реконструировать» целиком одно из стихотворений пушкинских, много лет публиковавшееся разорванным надвое: «Румяный критик мой, насмешник толстопузой» и «– Куда же ты? – В Москву…».

«Между началом и окончанием – пять томов собрания сочинений», – констатировал он. И соединил фрагменты – так стихи и печатаются с тех пор. Пушкинисты-современники, готовившие советское издание пушкинского собрания сочинений, разумеется, знали автора «реконструкции», но упомянуть о нем, эмигранте, в комментариях, естественно, не могли. Странно только, что теперь, когда лет тридцать уже «можно», о том не вспомнили.

Первый успех искушает продолжить. Не устоял и Ходасевич, перечитывая стихи, при жизни Пушкина не печатавшиеся. И следующая «реконструкция» – попытка соединить написанные одним размером «Когда за городом задумчив я брожу» и «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит» – оказалась несостоятельной. Разве что страстной увлеченностью берусь объяснить себе – как Ходасевич, обычно столь внимательный к *движению* стиха, мог на сей раз не заметить, что именно *движение* «александрийца» в этих двух вещах не совпадает: в первом цезура как будто приглушена, куда менее акцентирована, чем во втором…

Из диалогов поэтов

Ужель и впрямь и в самом деле
Без элегических затей
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
И ей ужель возврата нет?
Ужель мне скоро тридцать лет?

1827

Друзья мои, мне минет тридцать лет,
Увы, итог тридцатилетья скуден.
Мой подвиг одиночества нелеп,
И суд мой над собою безрассуден.

1967

Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунью рифму гонят,
И я – со вздохом признаюсь –
За ней ленивей волочусь.

1826

А правило – оно бесповоротно,
Всем смертным надлежит его блюсти:
До тридцати – поэтом быть почетно,
И срам кромешный – после тридцати.

1974

Проза – как стихи: «Беда, барин, буран»… Опасность подчеркивается разверстым – на три ударения – «а» и аллитерацией – с двумя лишь из десяти не совпадающими звуками: «*барин – буран*»…

«Октябрь уж наступил – уж роща отряхает Последние листы с нагих своих ветвей»… Первый «уж» пролез в стихи, чтобы выполоть и поглотить *звук-сорняк*, гласный *призвук* предыдущего слова – «октяб/ы/рь», который у стихотворцев прорастает в подобных случаях нередко (тем же занят «уж» и в «Онегине»: «Театр уж полон, ложи блещут»…), Пушкин тут впускает первого «ужа», не задумываясь, на слух, можно сказать, машинально. А второй – в том же стихе – появляется, дабы сообщить об осени *северной*, где «последние листы» спадают наземь в начале октября…

…граница между мастерством и ремеслом, между «Шипенье пенистых бокалов И пунша пламень голубой» – и «Чуждый чарам черный челн»…

Даже зная про обилие *цитат* в русской поэзии первой половины девятнадцатого века – из современников, из предшественников, из иноземных авторов, на русский перелагаемых, – мы едва ли можем представить себе истинную множественность этого цитирования. Читатели книг исчислялись несколькими тысячами, стихов – и того меньше, «круг чтения» – на нескольких языках – был более или менее общим, а его *русская* часть не утомляла, не перегружала читательскую память, так что цитаты и фрагменты иноязычных *переложений* тоже опознавались при чтении, как правило, без особых усилий, комментарии-сноски в подобных случаях – без надобности.

У Вяземского в стихотворении 1820 года: «Мой Аполлон – негодованье!» – просто стихотворный (то бишь ритмизованный – четырехстопным ямбом) перевод прозаической строки Руссо: «Мой Аполлон – это гнев» (которая, впрочем, тоже могла бы стать стихотворной – дактилической, найдись охочий до этого автор).

Тогдашний читатель Руссо читывал – и неплохо, внимательно.

Однако бывали случаи посложнее. Некоторым из них довелось по сию пору – вот уж скоро два столетия – считаться хрестоматийно-авторскими сочинениями, подчас – чуть ли не программными.

Но «гений берет свое везде, где находит».

Например, так: «Поэты, по-настоящему намеренные создать что-то ценное, должны отказаться от пиров с друзьями, от приятной столичной жизни, а также от всяких других развлечений и даже обязанностей и – как они сами говорят – удалиться в леса и рощи, то есть в одиночество».

Пушкинское «Пока не требует поэта…» – стихотворное переложение тирады Марка Апера из тацитова «Диалога об ораторах».

Пушкин впервые упоминает Тацита в лицейских стихах 1814 года.

Четыре года спустя в эпиграмме на Каченовского, опубликовавшего «антикарамзинскую» статью: «Наш Тацит на тебя захочет ли взглянуть?». Для пушкинских современников сравнение Карамзина с Тацитом, которого они тоже читали, не выглядело преувеличением.

Девять лет спустя написаны «Замечания на «Анналы» Тацита».

Еще через два года – «Поэт», редким пушкинистом не упоминавшийся.

Тацита не приметили…

Пушкинское: «Бочка по морю плывет… Вышиб дно и вышел вон…» – Диоген: выход философа изнутри вовне (из «идеального» в «реальное»); *идеальный мир* – плавание в бочке по волнам-извилинам мысли-мозга…

Гумилев просил Ахматову убить его, если – или когда – он станет «пасти народы». Эта реминисценция из Пушкина любопытна *в контексте* тогдашних взаимоотношений с классиками: от «Пушкинских штудий» Брюсова до пресловутого футуристического «парохода современности».

Пушкин – Катенину: «Наша связь основана не на одинаковом образе мыслей, а на любви к одинаковым занятиям».

В Тифлисской опере первой серьезной ролью Шаляпина был Мельник в «Русалке». Ну, а *прикосновение* к Пушкину, у которого «певец» и «поэт» – синонимы, как известно, без последствий не обходится. Вскоре после того с Шаляпиным происходит нечто подобное случившемуся с юным Пушкиным: десятки значительнейших людей России того времени *сообща* помогают *одному* гению вполне созреть и реализоваться.

Завершающий штрих: в 1937 году в Париже Шаляпин наотрез отказался *бесплатно* участвовать в пушкинских торжествах.

Начало напечатанного Вяземским в «Сыне Отечества» некролога: «Угасло одно из светил поэзии нашей, лучезарнейшее ее светило! Державина нет!»

Двадцать лет спустя «цитата по памяти» сорвется с пера Владимира Одоевского, потрясенного гибелью Пушкина.

Обозначенного таким образом *гелиоцентризма* русской поэзии хватило на сто лет – до Блока…

Лотман, само собой, легко определил в «Я помню чудное мгновенье» цитату из Жуковского: «Как гений чистой красоты». И… указал на «Лаллу Рук» (1821), где – «гений чистый красоты»: эпитет, сдвинутый в инверсию, относится совсем не к «красоте». И вообще – хорей. Иной смысл, *другая* цитата.

Жуковский о «гении чистой красоты» пишет дважды: в прозаических размышлениях о Рафаэлевой «Мадонне» и в стихотворении «Я музу юную, бывало», завершенном в конце 1824 года. Несколько месяцев спустя Пушкин, естественно, *ссылается* (что еще и делать-то – *в ссылке*!) на эти стихи, читателям уже известные, на «певца любви неразделенной»…

«Природой здесь нам суждено В Европу прорубить окно»… *Прорубить* – потому что: Царь-Плотник. Он именно «рубит» – Россию-Дом, Империю-Сруб. С *дверью* – в Европу. Но поэт сказал: «окно». Разумеется, не ради рифмы, понадобилось бы – зарифмовал бы что угодно. И в звуковом движении к образу *сказалось* точнее, чем у историка, ищущего в событиях логики и целесообразности.

Петр хотел одно – вышло другое. Не дверь – окно. Не выйти-войти, но выглянуть-заглянуть. Не потому ли связь России с Европой всегда была как бы не совсем легальной. Из России в Европу – всегда, по ощущению, «через окно», неизменно похоже на бегство (для сравнения: «окно на границе»). Из Европы в Россию – тоже. Не отсюда ли традиционное недоверие к иностранцу – как «залезшему в окно».

Да и взгляд друг на друга – такой же, оконной рамой ограниченный: что в ней уместилось, то и представляется *всею картиной*…

Для Пушкина Петр – не просто основатель, но краеугольный *камень* империи. А его прадед – верный *слуга* Петра. Субординация незыблема.

Иначе – с Александром Первым. Тут взгляд – вровень. Потому что сам Пушкин – Александр Первый русской поэзии, литературы вообще.

Выборы «короля поэтов» Северянина – в феврале восемнадцатого, при недолгом плеске всеобщей *выборности* и… за четыре дня до выхода в свет «Двенадцати» – только подчеркнули,

что Пушкин – единственный не выборный «властитель дум», но *коронованный* избранными, посвященными, отмеченный Богом *помазанник*.

Тем любопытней, что ни до, ни после Пушкина – ни у какого другого русского поэта коллизия «Поэт и царь» не возникает. В Европе ее и раньше не видно – иное положение литературы, движущейся исторически-постепенно, вместе с обществом, потому и роль у нее иная: *одноклассник* не может быть пророком…

У Державина тема вполне традиционна: слуга, *дослужившийся* до высоких чинов и звездопада на грудь, иной раз даже «истину царям» может говорить, но не иначе как «с улыбкой».

У Лермонтова до нее и дойти не может: этот путь уже отрезан в «Смерти поэта».

Пушкинская коллизия, в сущности, – не спор с властью, но спор о власти. О *разделении властей*: телесной и духовной.

Европейская культурная прививка – на свой лад – сродни принятию христианства на Руси: не сразу, но неизбежно возникает *тяжба о владениях*, о правах на внешнюю и внутреннюю жизнь каждого из живущих в России. Сто лет ее тянут государство и церковь, от Ивана до Петра. И столько же – государство и литература (опять же, не без сопротивления «старообрядцев» – «Беседа» etc.)…

Дата гибели Александра Второго – 1881 – нечто вроде *цифровой анаграммы* года его рождения – 1818.

Он был убит в первый день весны.

Не прошло и двух недель, как Московская городская дума приняла решение возвести памятник в Кремле, близ Малого Николаевского дворца, где родился этот единственный – после основания Петербурга – российский император – уроженец Москвы.

В середине весны был объявлен конкурс на лучший проект памятника. Международный: допускались – и участвовали – не только российские архитекторы и скульпторы. Оказалось, что органически вписать новый памятник в архитектурный облик Кремля совсем не просто. Ни один из участников конкурса с этим не справился.

Два года спустя попытку повторили – объявили новый конкурс. И с тем же результатом, то бишь без оного.

Еще через четыре года – третья попытка. На сей раз, казалось, сделали все, от них зависящее, дабы рассчитывать на успех. Даже пригласили – персонально – к участию пятерых скульпторов-академиков: Марка Антокольского, Александра фон Бока, Николая Лаврецкого, Александра Опекушина и Матвея Чижова. Независимо от итогов им было обещано солидное вознаграждение – по пять тысяч серебром. Не помогло.

После этого от замысла не то чтобы отказались, но пребывали в растерянности, надеясь разве что на случай…

И он заставил себя ждать всего пару лет. В 1889 году к Александру Третьему пришел художник Павел Васильевич Жуковский. Он родился в Германии. Рано оставшись сиротой, бóльшую часть жизни провел в Европе. В юности увлекся живописью и скульптурой, изучал их самостоятельно, благо замечательных образцов европейских в достатке, а талант у него был, не особенно яркий, но несомненный. Он принес императору свой эскиз памятника его отцу. Эскиз императору понравился – и он отправил автора к архитектору и реставратору памятников российской архитектуры Николаю Султанову. Тот довел эскиз до окончательного проекта, скульптуру для которого заказали Опекушину.

В 1898 году в Кремле был открыт памятник воспитаннику Жуковского, созданный по эскизу Жуковского-сына и с работой скульптора, за несколько месяцев до гибели Александра Второго прославившегося по России памятником другому воспитаннику Жуковского, «победителю-ученику».

Жизнь придумывает сюжеты лучше нас…

Двадцать лет спустя, весной, сразу после бегства-переезда большевистского правительства из Петрограда в Москву, тот памятник был взорван – одним из первых при новой власти. Аккурат к столетию со дня рождения царя-освободителя.

Между тем все десятилетия советские благополучно простояли на своих местах памятники его прабабке, деду (целых два!), отцу и сыну (этот, правда, работы Паоло Трубецкого, с места убрали и задвинули в угол музейного двора, и над забором с улицы виднелись голова и плечо). Не повезло только дяде – таганрогский памятник Победителю Наполеона перестал существовать лет через десять после памятника племяннику…

К слову, вторым – после императорского – свалили в Москве, в том же восемнадцатом, памятник освободителю Болгарии генералу Скобелеву. И тут же – на его месте, на Тверской площади, – возвели обелиск Свободы – по замыслу большевистского вождя, призванный символизировать советскую конституцию (еще не существующую, дожидаться ее пришлось лет шесть) и положить начало *монументальной пропаганде* новой власти, убеждать, что она сама, эта власть, каменно-монументальна, установилась навсегда. В тридцать шестом прежняя конституция была переписана Сталиным. И, видимо, довольно быстро *Свобода* стала вовсе без надобности. В сорок первом обелиск снесли. В ночь на двадцать второе апреля. Ко дню рождения Ленина. Но той *символики* уже никто не заметил.

«Уничтожая памятники, сохраняйте постаменты – могут пригодиться» (*Станислав Ежи Лец*).

«Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет, придите княжить и владеть нами» (*Славянские послы к варяжскому племени русь. IX ве*к).

«Россия – государство обширное, обильное и богатое; да человек-то глуп, мрет себе с голоду в обильном государстве» (*Н. Щедрин. XIX век*).

Куда ты скачешь, гордый конь, и где отбросишь ты копыта?..

Мюнхен

Валерий Шерстобитов

Топчий – певчий из Одессы

Одесса всегда была городом музыкальным, и не просто музыкальным, а со своими школами: им. Столярского, им. Неждановой, а были и самородки – Петр Лещенко, Леонид Утесов, Валерий Ободзинский, Лариса Долина, всех не перечислишь. Но были и целые кланы.

К таким самородкам можно отнести и род Топчий.

Итак, глава рода Георгий Иванович Топчий (1860 – 29.06. 1916 г.), простой рабочий, занимался реставрацией церквей. И вот в один знаменательный для всего рода Топчий день он, как всегда, работал. Красил купол очередного храма и что-то напевал, но, надо заметить, голос его был такой, что проходивший священник остановился и некоторое время слушал, и был потрясен чистотой и силой голоса. А у Георгия Ивановича был бас, которому позавидовал бы сам Ф. Шаляпин, ведь когда он пел, то гасли свечи на алтаре!

И уже с 1880 г. он служил псаломщиком. В 1890 г возведен в сан диакона и определен к одесской Сретенской церкви, где 2.09.1904 г. был переведен на штатное диаконово место. Преподавал Закон Божий в местной церковно-приходской школе. Женился на дворянке Александровой Митрадоре Александровне (1860-1938 гг.), отец которой капитан Александр так назван в честь покровителя гусарского полка Св. Александра Невского, того самого Гусарского Александрийского полка, в котором в чине подполковника служил ее дед Александр Андреевич, участник русско-турецкой войны 1829 г. Кстати, Александр, будучи капитаном, женился на дочери генерала, и у них было 10 детей: Анна, Евгения, Мария, Варвара, Мария, Митродора, Елена, Ольга, Екатерина (ее муж Карташов был директором цирка) и Андрей, который был женат

Из альбома А. Дроздовского «Одесса на старых открытках»

на чешке Елене Францевне Фексе, а отец ее – Франтишек Антонович Фекса – был модельщиком, и по его модели была отлита чугунная решетка, обрамлявшая дуб в Александровском (Шевченко) парке.

Отец и дед похоронены на военном участке Старого кладбища (бывший парк Ильича, ныне мемориальный парк).

В 1905 году в Одессе начались еврейские погромы. Так вот, Георгий Иванович спас от гибели более 50 иудеев, спрятав их в церкви. В семье было 9 детей, которых поднимала мать Митродора Александровна. Все шестеро братьев (Леонид, Нил, Иван, Евгений, Феодосий, Александр) и трое сестер (Александра, Лидия и Мария) обладали голосами и музыкальным слухом.

Мальчики учились в Одесском духовном училище, а девочки – в Епархиальном женском училище на Успенской, 4.

Все они пели в церковном хоре, постигая азы музыки. А пятеро – Нил, Александр, Мария, Лидия и Александра – стали профессиональными певцами и выступали на сцене Одесского театра оперы и балета, причем многие годы одновременно.

Нил Георгиевич Топчий, 13 (25).11.1893, Одесса – 31.10.1980, Одесса, артист оперы (лирико-драматический тенор). Заслуженный артист УССР (1956). Пению обучался частным образом. В 1913-16 пел в хоре Одесского оперного театра, солист театра в 1926-1933, 1941-1960 годах. Выступал также на оперных сценах Харькова (1926-1927), Свердловска (1933-1939). Первый исполнитель партий: Харлампия («Кармелюк» В. Костенко, 1930), Инспектора («В плену у яблонь» О. Чишко, 1931); в Свердловске – Пантелея Мелехова («Тихий Дон» И. Дзержинского, 1936).

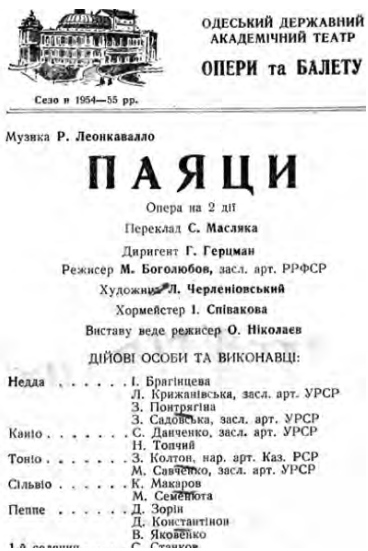
Георгий Иванович, его супруга Митрадора Александровна, дети: Нил, Феодосий, Евгений, их наставники, в нижнем ряду – Александра, Ваня, Лида

Наибольшей славы добился Нил Георгиевич – один из крупнейших певцов в истории Одесской оперы, заслуженный артист УССР. Он пел около шести десятилетий в театре и восемь – в церковном хоре.

У него был лирико-драматический тенор широкого диапазона, позволявший справляться с разноплановыми партиями – от Ленского до Радамеса. А начинал он путь в искусстве скромно, поступив в 1911 году в хор Одесской оперы. В «Евгении Онегине» Топчий спел небольшую партию Запевалы, удостоившись признания авторитетнейшего музыканта И.В. Прибика (кстати, в хоре Одесской оперы около двух десятилетий пела супруга Нила Георгиевича Мария Федоровна. Они поженились в 1913 году и прожили вместе пять с половиной десятилетий, вплоть до ее кончины).

В ряде опер Н. Г. пел по нескольку партий. Так, в «Евгении Онегине» кроме Запевалы он исполнил Трике, а затем – Ленского; в «Паяцах» – сперва Беппо-Арлекина, потом Канио; в «Фаусте» –

Пинкертон в опере «Чио-Чио-Сан». 1938 г.



ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР

ОПЕРИ та БАЛЕТУ

Сезо н 1954—55 рр.

Музика Р. Леонкавалло

ПАЯЦИ

Опера на 2 дії

Переклад С. Маслака

Диригент Г. Герман

Режисер М. Боголюбов, засл. арт. РРФСР

Художник Л. Черленіовський

Хормейстер І. Співакова

Виставу веде режисер О. Ніколаєв

ДІЙОВІ ОСОБИ ТА ВИКОНАВЦІ:

Недда . . . . . І. Брагінцева
Л. Крижанівська, засл. арт. УРСР
З. Понтрягіна
З. Садовська, засл. арт. УРСР
Каніо . . . . . С. Данченко, засл. арт. УРСР
Н. Топчий
Тоніо . . . . . З. Колтон, нар. арт. Каз. РСР
М. Савченко, засл. арт. УРСР
Сільвіо . . . . . К. Макаров
М. Семенюта
Пеппе . . . . . Д. Зорін
Д. Константінов
В. Яковенко

молодого и старого Фауста; в «Борисе Годунове» – Юродивого, Самозванца и Шуйского (а однажды в один вечер, выручая театр, – Самозванца и Шуйского, благо герои не встречаются). В этом отразился и высокий профессионализм, преданное отношение к делу. И еще один пример. Обычно после спектакля вокалисты молчат хотя бы один день. Топчию довелось утром принять участие в опере Юрасовского «Трильби», а вечером, «спасая афишу», в «Мадам Баттерфляй» Пуччини. Подобные примеры в практике певцов достаточно редки.

У Н. Г. был обширный репертуар. В операх западноевропейских композиторов кроме упоминавшихся партий он пел Хозе, Туридду, Джеральда, Каварадосси, Альфреда, Герцога… В операх отечественных авторов – Дубровского, Князя в «Русалке», Княжича в «Чародейке», Тучу в «Псковитянке», Синодала, Лыкова, Андрея в «Мазепе», Германа…

Так уж сложилось, что у него было не много премьер, но он пел их преотлично. Например, в 1946 году рецензент «Пиковой дамы» писал: «Голос співака бринить мукою кохан-

ня, він привертає симпатії глядача своїм глибоким почуттям до Лізи… Інтерпретація образу поглибива».

11 лет спустя после премьеры «Мазепы»: «Партию пылкого казака Андрея, влюбленного в Марию, прекрасно исполняет Н. Топчий. Свежо, взволнованно звучит приятный голос артиста, умело передающего чувство безграничной преданности любимой». Остается добавить, что певцу было тогда 64 года!

Н. Г. уделял внимание современной опере. Он пел Богуна в «Богдане Хмельницком» (его связывала творческая дружба с К.Ф. Данькевичем, они вместе гастролировали). Пантелея и Гришу в «Тихом Доне» Дзержинского, Инспектора в опере Олеся Чишко «В плену у яблонь» («Яблуневий полон»), ряд других партий.

Он был признан профессионалами. Н.Д. Шпиллер тепло благодарила за совместный спектакль «Царская невеста», П.Г. Лисициан – за «Евгения Онегина», известный режиссер Л. Баратов советовал поступить в Большой театр. Нил Георгиевич не решился: «Там ведь Лемешев (его любимый певец. – **Авт.**), Козловский».

Ленский в «Евгении Онегине»

Высоко отозвался об искусстве Н. Г. гастролировавший в Одессе в сороковые годы дирижер из Италии Ф. Молинари-Праделли. Когда заболел Ю.О. Кипаренко-Доманский, Топчия пригласили «спасти» спектакль в столичной опере, чем он гордился, так как чтил искусство выдающегося певца. Когда Н. Г. был удостоен почетного звания, из Киева пришли поздравительные телеграммы от корифеев оперного искусства М. Гришко и Е. Чавдар. Его уважали и ценили такие мастера, как М. Бем (они вместе пели в опере Палиашвили «Даиси», премьера которой состоялась в самый канун войны), Н. Савченко, В. Попова, М. Егорова, С. Ильин, И. Тоцкий. Галина Анатольевна Поливанова писала об Н. Г.: «Прекрасный певец-актер и изумительный человек».

А простые люди, меломаны, чтили его за честность, демократичность, доброжелательность. Только один пример. Когда в театре появился молодой тенор Д. Донатов, без преувеличения, ставший кумиром публики, очень немногие артисты приняли его благожелательно. В их числе был Н. Г. Это требовало от человека мужества, душевной чистоты.

Его трогательно любили зрители. Подполковник в отставке А. Туровец вспоминает: «В 1945-м наша воинская часть расквартировалась в домах Пале-Рояля. Офицеры и матросы, соскучившиеся по настоящему искусству, начали паломничество в оперу… «Тоска». В роли Каварадосси – Нил Топчий. Высокий, подтянутый, статный. После первой арии бурные аплодисменты, требование биса. Красивый задушевный голос с чудесными верхами очаровал… Последнюю арию заставили спеть трижды»…

Н. Г. любили за доброе сердце, которое отражалось в звучании голоса, в обаянии сценического облика персонажей.

Жизнь Н. Г. складывалась непросто. С точки зрения современного ему общества, он был «неблагонадежен»: не член партии и даже не общественник, не заискивал перед власть имущими, не просто верующий (это сегодня доблесть, а тогда…), о ужас, поющий в церкви. Вот и обходили его наградами, премьерами, гастролями. Первое и последнее почетное звание он получил в 63 года, проработав на сцене 45 лет.

И дело еще в том, что Н. Г. находился в Одессе и работал в оперном во время оккупации. Большим другом Нила Георгиевича был

режиссер и оперный певец Н.П. Савченко (см. очерк о нем в 1-й части серии книг «Реквием XX века» – В. Смирнов).

Частенько неразлучная парочка Нил и Николай на Новом базаре пристраивались к одиноко стоящему нищему и начинали петь, и на несчастного сыпался звенящий дождь из серебряных монет, прерывающийся шуршанием бумажных купюр почтенного достоинства. Нищий возводил руки к небу и шептал: «Бог есть, бог есть».

А во время обороны Одессы артисты как могли поддерживали бойцов на передовой. Вспоминает Вера Белоусова: «Больше двух месяцев длилась оборона Одессы, 73 дня. Жутковато было. Электричества нет. Все магазины закрыты, продуктов нет. Жгли керосинки. С июня по октябрь 1941-го я с артистической бригадой от Одесской филармонии выступала на призывных пунктах, выезжала с концертами в воинские части. С нами выступали заслуженные артисты Украины Нил и Николай Савченко, Гонта и Лесневский, солисты Одесского театра оперы и балета». И далее из ее воспоминаний: «В Одессе по соседству с нами (ул. Новосельского, 66) жила семья солиста оперного театра Нила Топчего, он в оперном театре служил. Солистом был. Петру Константиновичу общение с Нилом явно доставляло удовольствие. Тогда, в 42-м году, меня это удивляло. Думала, ведь Петр Лещенко – мировая известность, а так по-мальчишески восторженно-почтительно смотрит и слушает Нила. Не отрицаю, солиста замечательного, гордость театра, но солиста местной значимости. Уже в Бухаресте Петр Константинович часто вспоминал, как они пели с Нилом в церкви, дома. В письмах своих к моей мамочке Петечка, как всегда, опасаясь называть имена, часто спрашивал о Ниле: «Как поживает наша Опера, привет другу сердца моего».

…Когда мама с братьями после окончания войны вернулась домой из Бухареста, обнаружила в нашей квартире чужих людей. Ни дома, ни вещей не осталось. Нашу семью приютил Топчий. Думаю, ему было непросто это сделать. Ты был знаком с Нилом, по выходным вы, оперный певец и эстрадный, ходили в церковь и пели в хоре во время службы. Тебе это было нужно, как воздух, как жизнь. За десять лет нашей с тобой жизни, гастролируя в разных городах, я в этом убедилась. Ты всегда находил время, чтобы пойти в церковь, и не только на службу. Церковное пение

оставалось для тебя высшим блаженством, оно было для тебя даже значимее сцены. Почему? Один наш разговор с тобой приоткрывает эту тайну. Однажды я заметила, когда мы вышли из церкви:

– Красиво пели сегодня. Прихожане слушали как зачарованные.

– Родной мой ребенок, в церкви не для прихожан поют. Я не пою, я с Богом говорю…» (из книги Веры Лещенко «Скажите, почему?»).

Последним спектаклем Н.Г. Топчия стала опера Леонкавалло «Паяцы». Певцу было около 70, но голос его звучал действительно хорошо – насыщенно, бла-

городно, не стерся его светлый «лунный» тембр. Позднее Г.А. Поливанова, вспоминая этот спектакль, писала: «Как трудно было мне, Недде (роль Поливановой в этом спектакле. – **Авт.**), любить Сильвио, когда глаза мои излучали тепло и восхищение Канио-Топчием, а душа плакала, потому что это последний спектакль с моим родным хорошим Нилом Георгиевичем».

А тогда во время чествования она сказала: «Дай Бог нам, молодым, звучать в 40 так, как вы звучите в 70!». Увы, такое дано не многим.

Бенефицианта приветствовали главный дирижер театра Н. Покровский, многолетняя партнерша А. Мацкевич, корифей Одесской оперы С. Ильин, от театра оперетты – Ю. Дынов, от Русского театра – А. Маренников, прочитавший стихи. Вот несколько строк:

Прекрасней в мире нет венца,
Чем венчавший Вас по праву:
Ваш трудный путь к достойной славе
Лег сквозь народные сердца.

Чествование Н. Г. происходило в антракте между первым и вторым актами, а в финале публика долго не отпускала певца, и он завершил свой прощальный вечер бисированием ариозо Канио. Артист оперетты Дашевский приветствовал своего друга такими шуточными строчками:

Поздравляю! Счастлив, Нил,
Я от радости запил.

Он простился со сценой, не побежденный временем, и еще почти два десятилетия пел в церкви. Он ушел из жизни в 1980 году, оставив о себе светлую память как человек и как артист. Его имя принадлежит истории Одесской оперы, истории культуры нашего города.

Отпевали его в церкви на 2-м Христианском кладбище при большом стечении народа и хоровом пении. «Ты всю жизнь пел для людей, и сегодня люди поют для тебя», – сказал в прощальном слове проводивший обряд прощания.

Анатолий Нилович

Георгий Нилович

В заключение надо вспомнить всю певучую семью Топчих: сестры Мария, Александра и Лидия, брат Александр пели в опере, а Феодосий и Иван (артист Украинского театра) пели в церковном хоре. Сыновья Нила: Анатолий служил в оперетте, другой сын, Георгий, – в ансамбле Одесского военного округа (ОДВО), дочь Александра сорок лет пела в хоре оперного театра.

Завершить повествование об этой удивительной семье хочется словами песни, которую написала Галина, племянница Ивана, дочь его родной

Лидия Георгиевна

Мария Георгиевна

Александр Топчий

Александра Топчий

Леонид Топчий

Иван Топчий

Феодосий Топчий

сестры Александры, через несколько дней после кончины Ивана, как его назвали, «Последнего из Могикан»:

Начинал Леонид, а подхватывали Нил,
Феодосий, Александр,
А Иван им басил:
«Проведем, друзья, эту ночь веселей,
Пусть наша семья соберется дружней.
Их давно уж нет, но дух Топчинский жив –
Дети, внуки, правнуки их подхватят мотив.
Проведем, друзья, эту ночь веселей,
Пусть наша семья соберется дружней!»

Валентина Голубовская

«Будут бить поэта Шенгели»

Впервые это имя – Шенгели – я прочла в далекой юности, читая Константина Паустовского, именно в этой фразе. Из афиши Вечера одесских поэтов. Провокативная строка на афише оказалась пророческой, хоть на поэтическом вечере поэта не били. Били потом – цензура, издательства, критики, собратья по переводческому и поэтическому цеху, бездомность, голод… Почти всю жизнь.

Фамилия Шенгели мне понравилась своей неординарностью, но стихи этого поэта, недоступные в те годы (в Научную библиотеку школьников не записывали, а в доступных библиотеках их не было), пришли ко мне позже, когда я вышла замуж. Уже тогда у Жени был один (или два) из первых сборников стихов Георгия Шенгели, изданных в начале 20-х годов. Но за эти полвека сложилась своеобразная шенгелиана. Но о ней дальше.

Я пишу эти строчки под впечатлением от прочитанной недавно книги Василия Молодякова «Георгий Шенгели (1894-1956): биография» (М.: Водолей, 2016)».

Огромный том в 618 страниц. Огромный труд. Особенно удивительно, что автор – японист, профессор Токийского университета и, судя по книге, страстный библиофил и собиратель русской поэзии.

В книге, как говорится, шаг за шагом, год за годом, от предков, от рождения до кончины, через мытарства и непродолжительные передышки, проходит жизнь поэта Георгия Аркадьевича Шенгели.

В книге много имен, связанных с Одессой. Не только знаменитых поэтов и прозаиков, но и вроде менее известных, хоть это определение и не очень точное. Как много сделали Сергей Зенонович Лущик и Александр Юльевич Розенбойм (Ростислав Александров)! В книге ссылки на них. И на альманах «Дерибасовская – Ришельевская», где оба печатались…

Мне было необыкновенно интересно читать переписку Георгия Аркадьевича Шенгели и его жены Нины Леонтьевны Манухиной с Иваном Ивановичем Пузановым, последние десятилетия его долгой талантливой жизни были связаны с Одессой. Иван Пузанов – не только крупнейший ученый, боровшийся с «учением» Трофима Лысенко, но и переводчик, и поэт. Из этой части его наследия не многое было издано. И верный друг двух поэтов – Максимилиана Волошина и Георгия Шенгели. Волошин присылал Пузанову в письмах свои акварели размером в открытку, чтобы поместилась в конверт. Одна из таких акварелей хранится у нас.

И еще о дружбе. Георгий Аркадьевич Шенгели и Владимир Алексеевич Пяст.

Владимир Пяст отбывал в 30-е годы ссылку в Одессе. Мы дружили с его падчерицами Натальей Филипповной Полторацкой и Татьяной Филипповной Фогт-Стояновой. Евгений Голубовский успел переиздать книгу стихов Владимира Алексеевича Пяста «Ограда» со своим предисловием. «Вне ограды». Это была последняя книга, которую Наталья Филипповна держала в руках перед кончиной. Несколько лет назад зять Н.Ф. Полторацкой Анатолий Катчук издал в Одессе два тома из наследия Владимира Пяста. В последние годы появилась не одна публикация о Владимире Пясте за пределами Одессы. Не знаменитый Пяст, но и не забытый. Поэтому мне кажется, что упомянутый в стихотворении Шенгели Владимир – «Он знал их всех и видел всех почти: Валерия, Андрея, Константина, Максимильяна, Осипа, Бориса, Ивана, Игоря, Сергея, Анну, Владимира…» – конечно же, не Маяковский, из-за которого была в немалой степени исковеркана жизнь Георгия Аркадьевича. И даже не Владимир Нарбут, как пишет, ссылаясь на своего научного редактора В.А. Резвого, автор книги, а Владимир Алексеевич Пяст. При всем уважении к автору и научному редактору за книгу о Шенгели, на мой взгляд, все же скорее

упомянут Владимир Пяст. «Сюда нередко вхож и част Пестецкий, или просто Пяст. В его убогую суму Бессмертье бросим и ему». Велимир Хлебников. По мировоззрению, по судьбе, не ласковой к ним обоим, по «убогой суме» он был ближе Георгию Шенгели. Но это всего лишь мое предположение.

Не стану писать об упоминаниях других одесситов, но об одном, не упомянутом в этой «Биографии Георгия Шенгели», мне хочется здесь вспомнить. Я ведь не рецензию пишу, а свои впечатления, может, даже скорее воспоминания читательницы, которые вызвала эта действительно замечательная книга. И здесь я возвращаюсь к нашей шенгелиане.

Шенгелиана – громко сказано. Он не был тем поэтом, за сборниками которого Голубовский гонялся. Он тогда искал (и находил!) литографированные книжечки, которые делали Хлебников, Крученых с Натальей Гончаровой и Михаилом Ларионовым, книжечки издательства «Омфалос» и одесские альманахи того же времени. Но когда у какого-нибудь букиниста попадалась книжечка Шенгели, непременно покупал и радовался приобретению. Иногда книги дарили. И об одном дарителе мне и хочется вспомнить. Тем более что подарил он Жене несколько книг. И на всех подаренных, а иногда купленных, стоит владельческая надпись «Из библиотеки Алексея Борисова».

Но прежде чем вернуться к Шенгели, несколько слов об Алексее Михайловиче Борисове, который о себе тоже мог сказать словами Шенгели: «Он знал их всех…».

Чуть ли не в мальчишеском возрасте, во всяком случае, в ранней юности он послал какую-то заметку о рабочих в Одессе в один из первых номеров «Правды». И остался на протяжении жизни старейшим рабкором. Хоть в «Правду» со временем писать перестал. А был он молотобойцем на заводе Гена, выпускавшем сельхозтехнику. В 1941 году этот завод, уже переименованный в ЗОР, стал выпускать для обороны Одессы легендарные танки «На испуг» – тракторы, облицованные металлическими листами. А сам Борисов во время обороны Одессы был ранен и отправлен в эвакуацию. Семен Гехт, добравшийся до Одессы через две недели после ее освобождения, вспоминал друга юности и жалел, что не довелось встретиться с Алексеем Борисовым, тот еще не вер-

нулся в родной город. Писал в молодости Алексей Михайлович стихи, ходил в поэтические кружки, где познакомился с Багрицким и другими, еще только начинавшими поэтами. Не пропускал поэтические вечера. Был знаком со всеми одесскими поэтами и прозаиками. Даже у нас несколько книг из его библиотеки с добрыми надписями от старых друзей. Его вспоминали многие. В книге Семена Гехта с его дарственной надписью Алексею Борисову много самых теплых слов о старом друге. Много лет Гехт помнил его адрес на Молдаванке – Степовая, 38.

Уже в преклонные годы Борисов работал в отделе писем областной газеты, и его вспоминает Феликс Кохрихт в очерке «Пять редакторов», опубликованном в альманахе «Дерибасовская – Ришельевская»: «В отделе писем работал старейший журналист, очень скромный и добрый человек Алексей Михайлович Борисов».

А.М. Борисов ходил в Дом ученых на заседания секции библиофилов. Там он с Женей и познакомился. Приглашал к себе. Какие-то книги Женя у него покупал. Но книги с дарственными надписями ему Алексей Михайлович не продавал, а передаривал. Так среди других он подарил «Дон Жуан» Байрона в переводе Георгия Шенгели с автографом переводчика. На титуле автограф «Дорогому Алексею Михайловичу Борисову – другу героических лет. Г. Шенгели. Москва. 20.7.48 год». Здесь же запись «Из библиотеки Ал. Борисова. 26.7.48 года».

Алексей Михайлович рассказал, что 1948 году Георгий Шенгели приезжал в Одессу и подарил тогда «Дон Жуан». Потом достал визитную карточку, оставленную ему Георгием Аркадьевичем. На обороте надпись почерком Борисова: «Лондонская. К 5 часам». Визитка была приложена к «Дон Жуану» и тоже подарена. Хранится.

Думаю, что своеобразным вкладом в шенгелиану могут быть две публикации. Одна давняя, другая уже последних лет.

В 1969 году Евгений Голубовский и Сергей Калмыков побывали у Нины Леонтьевны Манухиной. Вдова Шенгели любезно передала двум одесситам пачку машинописных страниц со стихами Шенгели. В машинке была красная лента, сверху черными чернилами почерком поэта написано: «Георгий Шенгели». Сергей

Калмыков сфотографировал портрет Георгия Аркадьевича работы Вильгельма Левика и рукописную страницу, на которой со многими отрывками, исправлениями и пометками начало стихотворения «Панцирь» с эпиграфом из В. Жуковского. Вернувшись в Одессу, Голубовский в «Комсомольской искре» опубликовал два стихотворения:

Мы живем на звезде. На зеленой.
Мы живем на зеленой звезде,
Где спокойные пальмы и клены
К затененной клонятся воде.

Мы живем на звезде. На лазурной.
Мы живем на лазурной звезде,
Где Гольфштром извивается бурный,
Зарождаясь в прозрачной воде.

Но кому-то захочется славой
Прогреметь навсегда и везде, –
И живем на звезде, на кровавой,
И живем на кровавой звезде.

31.VII.1942 Фрунзе

И второе стихотворение – «Поэт»:

Черт его знает, как он это делал,
И что тут было: чудо или фокус,
Или гипноз?.. Он заходил в харчевни,
В кофейни, в школы, в частные дома;
Войдет, промнется, поглядит налево,
Направо, тронет вещь какую-либо
И вдруг метнет, ладонь расправя, руку,
А на ладони – синий мотылек.
Громадный, синий, бархатный, бразильский!..

И фото портрета Шенгели, написанного переводчиком, поэтом и художником Вильгельмом Левиком. Сделанное Сергеем Калмыковым. Эту публикацию Женя предварил своим небольшим вступлением, которое начал словами Юрия Олеши из письма для первого после смерти вечера памяти Георгия Шенгели, показанное Ниной Леонтьевной. Олеша болел, письмо прочитал ведущий вечера, переводчик и поэт Сергей Васильевич Шервинский.

Георгий Шенгели. Эту фотографию Нина Манухина подарила Сергею Калмыкову

«Он поразил меня, потряс навсегда. В черном сюртуке, молодой, красивый, таинственный, мерцая золотыми, как мне тогда показалось, глазами, он читал необычайной красоты стихи, из которых я тогда понял, что это рыцарь слова, звука, воображения… Одним из тех, кто был для меня ангелами, провожавшими меня в мир искусства, и, может быть, с наиболее пламенным мечом, – был именно Георгий Шенгели. Я славлю его в своей душе всегда!»

Это была, пожалуй, первая публикация двух стихотворений Георгия Шенгели после его кончины.

После этого наша шенгелиана долго не пополнялась. Ее пополнением в последние два десятилетия мы обязаны, прежде всего, Вадиму Перельмутеру. Так появились, среди других, «Иноходец», «Сонеты» и «Избранное» Шенгели. И книжечка стихов жены Георгия Шенгели Нины Манухиной «Смерти неподвластна лишь любовь». Правда, это вторая книжечка стихов Нины Леонтьевны Манухиной. Есть еще одна – прижизненное издание с автографом:

Нина Манухина. Не то… Лирика. 1920 год. Москва. Издание автора. Автограф: «Милой-милой Наталье Николаевне вместо письма. Не судите строго детские стихи, ценные только искренностью. Нина».

Радуясь возвращению стихов Шенгели из насильственного забвения, Голубовский огорчался, что не вошли в эти издания «Еврейские поэмы». И републиковал их в сборнике Одесского литературного музея «Дом князя Гагарина». Выбрал из двух изданий – харьковского и одесского – это: Георгий Шенгели. Еврейские поэмы. Изд-во «Аониды». Одесса. 1920 год. 340 экз.

Так что наша скромная шенгелиана приобретает все более объемный характер.

Вот и книга Василия Молодякова о Шенгели, надеюсь, не последняя в этом собрании.

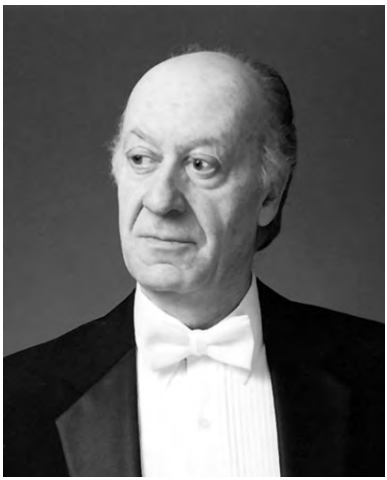
И все более ярко возникает образ поэта Георгия Аркадьевича Шенгели.

Как в заключительных строчках стихотворения о поэте:

Так он скитался. Жил он без прописки.
Он не платил ни податей, ни пошлин.
Был некрасив, бедно одет. – И звали
Его слегка насмешливо: «поэт».

Роман Бродавко

Маэстро



Известный композитор, дирижер и педагог Юрий Фалик родился 30 июля 1936 года в Одессе. Его отец Александр Фалик был артистом оркестра Оперного театра и часто брал сына с собой на спектакли. Одаренный мальчик с ранних лет был погружен в музыку, но война разрушила прекрасный мир детства. Погиб отец, мать и сын оказались в эвакуации в далекой Киргизии и на долгие несколько лет были отлучены от музыки. Глубина и сложность переживаний раннего детства повлияли не только на склад личности, но и на искусство Юрия Фалика.

– Мама и близкие делали все возможное, чтобы трагедии войны не ранили мою душу, – вспоминал Юрий Александрович. – Но избежать острой боли утрат было невозможно. Они были повсюду, в каждой семье, в каждом доме. И отголоски этой боли никогда не уходят из сердца.

В послевоенные годы его судьба складывалась относительно благополучно. После окончания школы имени П.С. Столярского Юрий поступил в Ленинградскую консерваторию. Он блистательно

завершил свое образование сначала как виолончелист (в классах А. Штримера и М. Ростроповича), а потом и как композитор (в классах Ю. Балкашина и Б. Арапова). Перед ним открылась блестящая карьера солиста-виртуоза (он стал лауреатом первой премии Международного конкурса виолончелистов в Хельсинки), но этой карьерой он пренебрег ради композиторского и дирижерского творчества, и педагогической работы. Четыре десятилетия Ю. Фалик преподавал в Ленинградской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, был профессором кафедры композиции этого прославленного вуза.

Активной дирижерской деятельностью Юрий Александрович начал заниматься в 60-е годы. В течение нескольких лет руководил камерным оркестром студентов Ленинградской консерватории, с которым исполнил обширный репертуар – от Баха, Генделя, Моцарта до Хиндемита, Стравинского, Вебера. Маэстро выступал с лучшими оркестрами мира. Под его управлением звучала редко исполняемая классика, музыка XX века, собственные сочинения и сочинения его коллег композиторов.

Юрий Фалик – автор большого количества сочинений самых разных жанров. Среди них – опера-буффа «Плутни Скапена» по Ж.-Б. Мольеру, хореографическая трагедия «Орестея» (по Эсхилу), Легкая симфония для оркестра, Симфония для струнного оркестра и ударных, симфония «Кадиш», Скрипичный концерт, Первый концерт для оркестра по мотивам легенд о Тиле Уленшпигеле, концерты для хора a cappella на стихи И. Северянина, Б. Пастернака, М. Цветаевой, А. Пушкина, концерт для духовых и ударных «Скоморохи»... Произведения Ю. Фалика широко исполняются и издаются в России и за рубежом: в США, Италии, Голландии, Финляндии, Венгрии, Чехии, странах Балтии и многих других.

Юрия Александровича нельзя безоговорочно причислить ни к новаторам, ни к традиционалистам. Великолепный мастер, владеющий всеми видами композиторской техники, он был не чужд новым приемам и одновременно искал и находил скрытые резервы в традиционных жанрах и формах. На первом плане у Юрия Фалика всегда были яркость замысла, убедительность решения, захватывающая интрига музыкального развития, красота звучания.

Композитор в шутку говорил, что он «музыкальный авантюрист»:

– Мне было тесно в одном жанре, поэтому перешел на дирижерскую и композиторскую работы. Никогда не дирижирую авторские концерты. Составляю программу таким образом, чтобы в нем были одно свое произведение, классическая, редко исполняемая и современная музыка. Однажды в Нижнем Новгороде сыграл концерт, который назывался «Три Чайковских»: в первом отделении работал композитор, ректор питерской консерватории Александр Чайковский, затем Борис Чайковский исполнил произведения Александра Чайковского, ну и, конечно же, звучали произведения Петра Ильича Чайковского. Наутро в одной местной газете вышла заметка, мне она очень понравилась, под заголовком «Чайковских много не бывает».

Мастерство нашего земляка всегда было своеобразной гарантией качества концертной программы. В этом мы постоянно убеждались, когда маэстро Фалик дирижировал Национальным одесским филармоническим оркестром.

В 2002 году Юрий Александрович выступал в Одессе со своим однокашником по школе имени П.С. Столярского известным виолончелистом Савелием Шустером, который уже много лет живет и работает в США. Тогда одесские слушатели познакомились с его интереснейшими произведениями для виолончели с оркестром.

В нашем городе под управлением автора состоялось премьерное исполнение Третьей симфонии «Canto in memoria». Она посвящена памяти выдающегося музыканта, многолетнего концертмейстера оркестра Евгения Мравинского, а затем главного дирижера Северо-Нидерландского оркестра Виктора Либермана, с которым Юрия Александровича связывала многолетняя дружба.

Вольтеру принадлежат слова: «Память – мать муз». Действительно, любое художественное произведение – это отпечаток эмоций, раздумий, впечатлений, пережитых автором недавно или в далеком прошлом. Однако наиболее острыми являются, как правило, сочинения, которые вызваны чувством невосполнимой утраты. В небольшом по объему произведении Ю. Фалик создал мир человеческой души, стоящей на пороге Вечности. Наплывами приходят разные эпизоды жизни, светлые и грустные, образы тех, кто ушел навсегда… Композитор великолепно использовал инструменты

оркестра, у каждого из которых свой голос в передаче сложных эмоциональных состояний. Проникающие в самые глубины создания соло кларнета, альт-флейты, альта, арфы, затихающий ритм сердца, переданный ударными… Жизнь уходит, но остается животворящий свет памяти, которая – надолго. Третья симфония – произведение на редкость глубокое по мысли и на редкость современное по языку.

Как дирижер Юрий Александрович всегда был интересен точными, выверенными исполнительскими трактовками, безупречным чувством стиля, ярким артистизмом. Его прочтение классики всегда было художественно убедительно и интересно.

Создание симфоний было для Чайковского, по его словам, «музыкальной исповедью души», «чисто лирическим процессом». Вторую симфонию великий композитор написал в возрасте 32 лет. Он в шутку называл ее «Журавель», имея в виду мелодию украинской народной песни, которую использовал. Премьера прошла в январе 1873 года. Оркестром дирижировал Николай Рубинштейн. Успех был полным: Чайковского увенчали лавровым венком и подарили на память серебряный кубок. И все же в сравнении в великими Пятой и Шестой симфонией Вторая проигрывает. Наверное, поэтому исполняется не часто. Однако это отнюдь не снижает ее художественной ценности и значимости.

Во второй симфонии Чайковского, исполненной с одесским оркестром, Ю. Фалику удалось, не жертвуя яркостью каждого отдельного эпизода музыки, показать их в гармоническом единстве творческого замысла тогда еще молодого композитора. Произве-

дение в трактовке дирижера предстало масштабным, цельным, захватывающим. Восхождение от одного кульминационного пика к другому было предельно выверенным, и мы, словно по ступеням, взошли к яркой коде финала.

Поразительно, насколько всегда полным было взаимопонимание Юрия Александровича и оркестра. Судя по всему, музыканты разделяли его взгляд на исполняемые произведения, им была понятна наглядно-образная, обостренно-эмоциональная пластика дирижера, и они с уверенностью выполняли любое его требование.

Юрий Александрович был не только разносторонне одаренным и высокообразованным музыкантом. Он был на редкость обаятельным, милым, располагавшим к себе человеком. В нем привлекали тонкое остроумие, широкая эрудиция, искренность и сердечность. И еще: на редкость молодое восприятие жизни.

Он ушел из жизни в январе 2009 года, оставив потомкам много прекрасной музыки. Важно, чтобы новые исполнители не прошли мимо нее и продолжали дарить слушателям радость общения с великолепным композитором.

Евгений Деменок

Вторая одесская гастроль Давида Бурлюка

Зимой 1914 года культурная жизнь в Одессе бурлила. В город приехал с гастролями Давид Бурлюк.

Да-да, не удивляйтесь. Имя «отца русского футуризма» стало к тому времени нарицательным, и это неудивительно – выходец из провинции смог не только дать колоссальный толчок развитию нового искусства в России, но и объединить вокруг себя самых талантливых представителей русского авангарда, художников и поэтов. С Михаилом Ларионовым он организует первые выставки, Василия Каменского учит живописи, Алексею Крученых подсказывает идею знаменитого «Дыр был щыл», публикует первые произведения Велимира Хлебникова и дает решающий толчок Владимиру Маяковскому на пути его становления как поэта.

Именно с Владимиром Владимировичем Маяковским и Василием Васильевичем Каменским приезжает в январе 1914-го в Одессу Давид Давидович Бурлюк.

Давид Бурлюк познакомился с Владимиром Маяковским осенью 1911 года в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, куда он поступил после окончания Одесского художественного училища. Начавший регулярно писать стихи во многом благодаря влиянию Бурлюка, Маяковский очень быстро «расправляет плечи». Игорь Северянин, который предложил Маяковскому и Бурлюку участвовать в «Первой Олимпиаде российского футуризма», писал в начале декабря 1913 г. поэту Вадиму Баяну (В.И. Сидоров): «Я на днях познакомился с поэтом Влад. Влад. Маяковским, и он – гений». В декабре 1913

года Давид Бурлюк, Василий Каменский и Владимир Маяковский начинают «гастроли кубофутуристов». После выступлений в Харькове, Симферополе, Севастополе и Керчи (в Крыму вместе с ними выступали также Игорь Северянин, с которым Маяковский и Бурлюк в итоге рассорились, и Вадим Баян) троица кубофутуристов приезжает в Одессу, где к ним присоединяется критик Петр Пильский. Благодаря стараниям Василия Каменского вечера футуристов в Одессе рекламировались уже с 11 января 1914 года. Основной «приманкой» для зрителей, жаждавших скандала и раскупивших все билеты, была раскрашенная в футуристическом стиле кассирша.

«13 января в Одессе, у подъезда Русского театра был повешен плакат с надписью: «Здесь обилечиваются на футуристов». Обилечивала кассирша с позолоченным носом», – писала «Южная мысль» 14 января 1914 года. А через день в газете «Одесские новости» появилось сообщение о том, что на лекции футуристов «будет дежурить усиленный наряд полиции».

15 января в Одессу приехали Каменский, Маяковский и Бурлюк. «Появление их на улицах города вызвало всеобщее отвращение, хотя толпы зевак и ходили за ними по пятам» – писал некто Гр. Ф. в статье «Футуристы в Одессе», опубликованной 16.01.1914 г. в газете «Вечерняя южная мысль». Оставим отвращение на совести Гр. Ф., но то, что футуристы вызвали всеобщий интерес, неоспоримо. Известна история о том, что когда наши герои зашли в один из одесских ресторанов, чтобы скрыться от внимания толпы, уже через несколько минут все столики в ресторане были заняты, после чего хозяин отказался брать с футуристов деньги за заказанное ими пиво.

В общем, на первом вечере 16 января 1914 года Русский театр был полон. «Вчера вся Одесса обчаялась, обужиналась, окалошилась, ошубилась, обиноклилась и врусскотеатрилась. Сбор был шаляпинский», – писал Незн. в заметке «На футуристах» (Одесские новости, 17.01.1914 г.). Все ждали скандала, но особого скандала не получилось.

Да, к столу, за которым сидели поэты, был привязан зеленый воздушный шар. Да, Маяковский выступал в розовом смокинге, а Бурлюк демонстрировал картины свои и брата Владимира,

которые вызывали гомерический хохот в зале. Но и приехали ведь не за этим. Давид Давидович Бурлюк, Владимир Владимирович Маяковский и Василий Васильевич Каменский приехали, чтобы пропагандировать новое искусство.

Выступали по очереди: Петр Пильский со вступительным словом о футуризме и футуристах; Василий Каменский – с отповедью критикам футуризма и рассказом о достижениях футуристов в творчестве; Давид Бурлюк с лекцией о кубизме и футуризме, ретроспективой истории искусства от барбизонцев до новейших групп и течений в русском искусстве; и в конце – Владимир Маяковский с рассказом о достижениях футуризма. После этого Каменский, Бурлюк и Маяковский читали свои стихи. И не только свои – Маяковский прочел «О, рассмейтесь, смехачи!» Хлебникова и несколько вещей Северянина («Шампанский полонез», «Это было у моря» и другие), несколько пародируя северянинскую манеру монотонного распевания стихов. В конце концов, если бы не ссора в Керчи, Северянин должен был бы выступать с ними (он и приехал в Одессу на полмесяца позже, выступив 7 февраля, а затем еще дважды во второй половине февраля вместе с Виктором Ховиным и Софией Шамардиной).

Вот как вспоминал первое выступление футуристов в Одессе Василий Каменский:

«Едва я коснулся литературной богадельни седых творцов, кумиров и жрецов, как в партере зашикали, загалдели, и на галерке захлопали. Замечательно, что каждый город защищает какого-нибудь одного из писателей, которого никак трогать нельзя. В Одессе таким оказался Леонид Андреев… Я было «тронул» Андреева за убийственный пессимизм, но меня затюкали. С таким же «успехом» выступил и Маяковский, остроумно «наподдевавший» малокровных символистов… Коньком Маяковского явился Бальмонт».

Одесская критика наперебой писала о футуристическом вечере. Особо отметили репортеры выполненный Владимиром Бурлюком кубистический портрет Петра Пильского – как раньше на втором «Салоне» портрет Владимира Издебского. Вот что писал Лери в заметке «Звуки дня. Футуристы» («Одесский листок», 17.01.1914 г.):

«Трое с собакой возле причала». 1950-е гг. Холст на картоне, масло, 35,4×45,5 см
Частная коллекция

«Особенный успех сам собою выпал на долю произведения самого лектора (Давида Бурлюка. – **Прим. авт.**) и его не менее одаренного брата. Очень понравился портрет г. Пильского кисти Владимира Бурлюка. Писанный по-футуристски. Не кистью, брандспойтом. И изображавший не Пильского, а пирамиды под снегом. Очень удачный портрет».

Некто А. в статье «У «смеяльных смехачей» («Одесские новости», 17.01.1914 г.) написал: «Гомерический хохот вызвало демонстрирование на экране кучи треугольников, долженствовавших изобразить «портрет Петра Пильского». – Узнаю дорогие черты, – шутит за кулисами артистка Кузнецова. И закулисная публика заливается от хохота…»

19 января в Русском театре состоялся второй вечер кубофутуристов. «Каждый из участников произносил стихи на фоне ширмы-панно, разрисованной им самим», – писали «Одесские

новости» 19 января 1914 года. Там же можно прочесть заметку от 20 января, где отмечено, что «после выступления в Русском театре Д. Бурлюк «экспромтом» выступил в Литературно-артистическом кружке, где прочел свое стихотворение «Незаконнорожденные». Построенное на сниженных образах и вульгарной лексике, оно вызвало бурный отклик у аудитории».

Из Одессы тройка футуристов и примкнувший к ним Петр Пильский уехали выступать в Кишинев. Это был последний приезд Давида Бурлюка в наш город. И последняя демонстрация его работ – хотя в этот с помощью «волшебного фонаря» были показаны лишь их репродукции. А до этого Бурлюки выставлялись в нашем городе неоднократно. В 1900-1901 годах Давид Бурлюк отучился год в Одесском художественном училище; в 1906 и 1907 годах он экспонировал свои работы на двух выставках ТЮРХ – XVII-й и XVIII-й (вместе с сестрой Людмилой и братом Владимиром).

Осенью 1910 года Давид Бурлюк вновь поступает в Одесское художественное училище – вместе с братом Владимиром. Но до этого они представляют свои работы на первом «Салоне» Издебского, который открылся 4 декабря 1909 года в бывшем помещении Литературно-артистического общества – дворце князя Гагарина, и проработал в Одессе до 24 января 1910 года, и переехал затем в Киев, Петербург и Ригу. Давид Бурлюк был представлен на первом «Салоне» 8-ю работами, значившимися в каталоге под № 62-69: «Портрет», «Сирень», «Сад», «Весна», «Весенний свет», «Аллея», «Nature morte» и «Лето» – причем последняя была указана как собственность Владимира Издебского. Владимир представил три работы, обозначенные как «витражи»: «Рай», «Павлин» и «Ландшафт» (№ 70-72). Кроме того, на «Салоне» экспонировались семь работ, в основном этюды, мамы многочисленного семейства Бурлюков Людмилы Иосифовны, которая выставлялась под девичьей фамилией Михневич. Ее работы значатся под № 491-497. Семейные узы были у Бурлюков необычайно крепкими – сыновья старались представить на выставках работы матери при малейшей возможности.

Интересно, что многих участников выставки подбирал сам Давид Бурлюк. Г. Издебская-Причард пишет о том, как Владимир Издебский выбирал авторов для выставки: «В Париже ему помогал Мерсеро, в Мюнхене – Кандинский, в Москве и Петербурге –

Давид Бурлюк, Ларионов и Камышников».

Кубофутуристическая композиция «Скоротечность бытия». 1950-е гг. Холст на картоне, масло, 40,4×50,4 см Частная коллекция

На втором «Салоне», прошедшем в Одессе с 6 февраля по 3 апреля 1911 года по адресу улица Херсонская, 11, Давид Бурлюк представил уже 26 работ, обозначенных в каталоге под № 12-37. Семья Бурлюков была представлена на втором «Салоне» практически полностью – из рисующих отсутствовали только работы Людмилы. Владимир Бурлюк представил 12 работ, обозначенных в каталоге под № 38-49. Людмила Иосифовна представила пять работ (в каталоге под № 289-299; № 293-298 в каталоге отсутствуют); кроме того, в отделе детских рисунков (замечательная инициатива Издебского) среди прочих были представлены работы двенадцатилетней Надежды Бурлюк («Салон» Вл. Издебского, «Одесские новости», 13.02.1911).

Работы «левых» художников на втором «Салоне» вызвали скандальную реакцию в среде местной публики. Это была уже не просто критика – произведения Гончаровой, Ларионова, Кончаловского, Владимира Бурлюка и Кандинского были попорчены чернильными карандашами. И тем не менее Давид Бурлюк был одним из самых «продаваемых» авторов второго «Салона». 26 февраля 1911 года «Одесские новости» писали: «Несмотря на явное недружелюбие, питаемое большой публикой к новому искусству, картины левых художников, выставленные в «Салоне», очень бойко продаются». Среди приобретенных названы, в том числе, 9 работ Давида Бурлюка. Продан был даже вызвавший столько шума портрет Владимира Издебского работы Владимира Бурлюка. Вообще, успех второго «Салона» превзошел все ожидания – выставку посетило более 3 тысяч человек. «Распроданы почти все картины Давида Бурлюка», – писал «Одесский листок» 11 марта 1911 года.

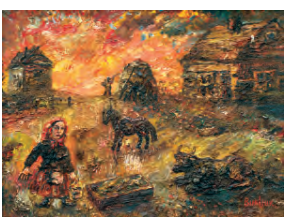
Давид Бурлюк принимал также участие в организованном Владимиром Издебским публичном диспуте «Новое искусство, его проблемы, душа, техника и будущее». Диспут состоялся в зале «Унион» на Троицкой, 43.

После 1911-го оригинальные работы Давида Бурлюка в Одессе не выставлялись, более того, в одесских музеях нет ни одной его работы. В Ильичевске, в Музее изобразительных искусств имени Александра Белого, хранится отличная работа Давида Бурлюка «Весна. Сирень», датированная 1907 годом. Эта работа находилась ранее в коллекции самого Александра Моисеевича.

Однако же ряд работ украинского «отца русского футуризма» находится в частных коллекциях как в Украине, так и в Одессе. И спустя более чем сто лет группа любителей творчества Давида Бурлюка решила показать одесситам его работы. Автор этой статьи объединил свои усилия с Музеем современного искусства Одессы и галереей «Евро-Арт» из Ровно, в коллекции учредителей которой, Леонида и Аллы Волошун, находится немало работ мастера. Предоставил свои работы для выставки известный киевский коллекционер Андрей Адамовский. Раннюю работу Бурлюка обнаружил в коллекции одессита Виталия Лесничего директор МСИО Семен Борисович Кантор. Всего на выставке, которая открылась в МСИО 18 апреля, было представлено более пятидесяти живописных работ Давида Бурлюка, представляющих различные периоды его творчества – от ранних работ российского периода (первое десятилетие прошлого века) до поздних работ американского периода (1950-60-е годы). Кроме того, автор данной статьи предоставил для выставки уникальные графические портреты самого Бурлюка, выполненные его российскими, чешскими и американскими друзьями: Николаем Циковским (портрет 1924 года), Рафаэлем и Мозесом Сойерами, Василием Каменским-младшим (портрет 1956 года), Вацлавом Фиалой (два портрета 1957 года), а также портрет, выполненный в 1957 году в Праге его сестрой Людмилой Кузнецовой-Бурлюк.

«В бане». 1940-е гг.

«Прага». 1957 г.



«Маруся на закате». 1940-е гг.

«Казак уходит на войну». 1960-е гг.

«Улица Нью-Йорка». 1951 г.

Публикации

298 **Елена Кассель**
Андрей да Марья…
Публикация Александра Бирштейна

308 **Лев Славин**
Страницы дневника
Публикация Алены Яворской

Елена Кассель

Андрей да Марья…

Предлагаемый отрывок из книги воспоминаний Лены Кассель рассказывает об очень близких друзьях Лены и ее мужа поэта и переводчика Василия Бетаки. Сама Лена математик, но и во многом соавтор мужа. Совместно они подготовили несколько книг, в том числе и переводы стихов Сильвии Плат для «Литературных памятников». После смерти мужа Лена пишет воспоминания о нем. Условное название будущей книги «Эхо».

Несколько лет назад я рассеянно раскрыла московское издание книжки Синявского «Иван-дурак». В глаза тут же бросилась фраза: «А пробор у Лешего справа, тогда как у людей он всегда слева».

Никаких сомнений не возникло – уж Синявский-то несомненно знал, с какой стороны у Лешего пробор.

Впервые я увидела Синявского в начале 80-х годов в Бостоне на конференции «Литература в изгнании». Маленький, заросший седой бородой, с виду усталый и двигался по-стариковски. А рядом большая Марья Васильевна в балахоне.

Когда Синявский начал по бумажке читать доклад, возникло то же ощущение избранности и приподнятости, которое обычно возникает, когда слушаешь неаффектированное чтение хороших стихов.

Доклад был о первой поездке в Италию, а на самом деле о прочности европейского культурного пространства и о том, как, входя в него, обретаешь некий душевный покой. Образы роились –

коза, мирно обгладывающая куст у стены с коммунистическим плакатом на окраине какого-то итальянского города, падуанский университет, синие древние холмы Прованса. И голос у Синявского оказался совсем не стариковский, глубокий и очень слышный.

Надо сказать, что эта конференция как-то явно показала, что возраст – явление чисто психологическое. Мальчик Аксенов помогал спуститься с эстрады старику Коржавину, разумно говорил человек средних лет Войнович.

К Синявскому с его стариковской походкой понятие возраста оказалось неприменимо. И в самом деле, что такое возраст Пхенца или Лешего? А может быть, все-таки Домового?

Ведь на самом деле он обитал в доме, у себя в комнате, где стоял старый-престарый макинтош, на котором он так и не научился переставлять абзацы. А Марья на что?

Из лагерных писем.

«*Старичок как ребенок. То пойдет в зоопарк к знакомой антилопе, то в кино. И старичку весело жить, отрешившись от взрослых забот и воротясь в детство, на пенсию. Он бы прыгал на одной ножке, если бы позволило здоровье. Но и так ему хорошо, на солнышке, как котенку, обдумывая, во что еще поиграть в этой просторной и такой одинокой жизни*».

Честно говоря, сказать точно, что Синявский умел, а чего не умел, было достаточно сложно. Вообще-то, он не без выгоды для себя морочил людям голову – ведь так удобно чего-нибудь не уметь, так удобно было переложить на Марью всю скучную-занудную часть жизни, где надо пользоваться чековой книжкой, брать по карточке деньги, платить налоги, заниматься хозяйственными мелочами.

Марья очень любит рассказывать про то, как в самом начале их совместной жизни у них в комнате перегорела лампочка в люстре, и Синявский заставил ее позвать монтера, потому как лампочка была особенная, непростая была лампочка, и без монтера с ней было не справиться. Монтер пришел, ввинтил лампочку и ушел, получив деньги.

С тех пор Синявский был отстранен от всех домашних работ. Остается только гадать, не было ли в этой истории тайной цели.

Впрочем, при мне, в связи с рассказом о нашей поездке на машине в Англию, Синявский посочувствовал трудностям, связанным с перестановкой руля на правую сторону, проявив тем самым осведомленность в вопросе о том, по какой стороне в Англии ездят.

Один раз в разговоре за столом Синявский очень четко сформулировал свои жизненные взгляды. Он как-то, между прочим, сказал, что хорошо быть генеральшей. Народ не понял, и Синявский очень спокойно пояснил, что генерал работает, а генеральша книжки пишет. Ну что ж, Марья ведь в чине фельдмаршала.

С неумениями бывали проколы. При мне он прокололся дважды – один раз с неумением говорить по-французски, а второй раз с неумением быстро ходить. С французским было очень просто – рассказывая историю женитьбы одного приятеля на француженке, он сообщил, что с француженкой приятель познакомился в Москве, у него в доме, а к нему в дом эту приезжую француженку прислали, потому как больше не к кому было – никто по-французски не говорил. Потом уже я услышала от Наташи Рубинштейн, очень близкого обоим Синявским человека, что Андрей Донатыч как-то при ней с большим увлечением рассказывал о заседании кафедры в Сорбонне. Заседание, ясное дело, велось по-французски.

С неумением быстро ходить было еще проще – как-то раз, подходя к дому Синявских, мы столкнулись нос к носу с хозяином, выходившим из ворот стремительной походкой. Увидев нас, он страшно засмущался и пояснил, что направляется на почту.

По субботам Синявский читал в Сорбонне курс о русской поэзии 20 века. На лекции приходили очень разные люди – французские студенты, студенты из Америки (в основном, ребята, которых в детстве увезли из России и которых в юности вдруг потянуло к русской культуре), старушки – божьи одуванчики, еще из первой эмиграции.

Лекции были четкие, очень подготовленные, естественно, с чтением стихов. Больше всего в чтении Синявского меня поразил «Левый марш» – он не просто мощно и трубно его читал, он его читал с наслаждением, очень лично.

После этого грохочущего чтения наступил положенный перерыв, и божьи одуванчики принесли усталому старенькому профессору кофе из автомата.

Когда Синявский пришел читать лекцию сразу после возвращения из первой поездки в Россию, его, естественно, стали расспрашивать, – он отвечал сначала не очень охотно, но потом разговорился и с некоторым удивлением сказал, что не ожидал, что его так помнят, что, дескать, он думал, что ему обрадуются только какие-нибудь старые знакомые девочки, и тут же поправился – не девочки, старушки…

Из лагерных писем.

«*Предмет, удвоенный в зеркале или в воде, кажется цельнее, он не раздваивается, а удваивается, помножается сам на себя. Он замыкается на себе в этом пребывании на границе своей иллюзии.*

В отражении важно, во-первых, что оно перевернуто, во-вторых – подернуто рябью, дымкой, оно струится и дышит, и проступает из тьмы, со дна водоема. Это как бы тот свет предмета, его психея, идея (*в Платоновом смысле*)*, заручившись которой, тот крепче стоит и красуется на берегу. Зеркало его подтверждает, удостоверяет и вместе с тем вносит долю горечи, тоски, недостижимости прекрасного далека, становясь по отношению к миру легендой о граде Китеже*».

Не знаю, в какой мере он тогда понимал, что для людей моего поколения он был символом истинной независимости. Кроме Синявского разве что еще Бродский мог бы по праву сказать, что разногласия с властью у него стилистические, то есть самые глубокие. Политические разногласия значат куда меньше.

Из лагерных писем.

«*Наверно, время воспринимается здесь как пространство, и в этом суть. По нему как будто идешь, и это тем более странно, что сидишь на месте, не двигаясь, и увязают ноги, и относит как бы назад, в прошлое, так что, придя в себя,*

удивляешься, что прошел уже год и опять весна. Здесь не верна пословица: жизнь прожить – не поле перейти. Нет, именно поле. И перейти».

«...здешняя моя жизнь в психологическом отношении похожа на пребывание в вагоне дальнего следования, когда роль поезда исполняет ход времени, которое своим целенаправленным движением порождает иллюзию осмысленности и насыщенности самого пустого времяпрепровождения, поскольку чем бы ты ни занимался, – «срок все равно идет» и, значит, дни проходят недаром, а как бы работают на будущее и за счет этого становятся содержательнее. И как в поезде, пассажиры не очень-то склонны заниматься полезным делом, потому что их существование оправдано неуклонным приближением к станции назначения. Они могут позволить себе жить в свое удовольствие, насколько это доступно, – играть, гулять, пить кофе, болтать, не угрызаясь этой растратой свободного времени: отбывание срока во все вносит долю полезности.

Меня эта путевая психология не очень устраивает, и я тихо бешусь, слыша постоянные: «да, куда вы торопитесь», «у нас же столько-то лет впереди», «почему вы не хотите развлечься» и т. п. Жить на иждивении у будущего мне неохота. Но дело не во мне, а в парадоксальности ситуации, восполняющей отсутствие смысла жизни осмысленностью ее изживания. Иногда кажется, что в таком состоянии, поджидая, когда исполнится срок, люди могут быть счастливее, чем в условиях свободы, но только не вполне сознают эту возможность».

Когда Синявский вышел из лагеря и решил, «что надо уезжать», Марья сообщила куда следует, что на Западе уже лежит написанная в лагере разоблачительная книга, и что если их выпустят, то, так уж и быть, книга не выйдет в свет, но если нет – пусть органы пеняют на себя.

Книга, написанная в лагере, существовала, – Синявский переправил ее по частям в письмах Марье – это «Прогулки с Пушкиным».

Для тех, кто не знает, «Прогулки с Пушкиным» – о Пушкине и о русской культуре – как и следует из названия.

Уехали Синявские на поезде – со всем скарбом – и с авоськой еды в дорогу…

Примерно через год органы призвали Марью к ответу. Прибывший в Париж гб-шник попросил о встрече. Марья пригласила его в кафе. Перед тем как отправиться на свиданье, она предупредила «французов» и спрятала в карман магнитофон.

Я не помню всех красочных подробностей – кратко – беседу Марья записала, гб-шника повязали, ночь он провел в кутузке, а утром был отправлен в Москву.

У Синявских же потребовали, чтоб они немедленно взяли французское гражданство – им его предлагали сразу по приезде, но они отказались – некоторая часть политических эмигрантов тогда гражданства не брала, ощущая себя русскими в изгнании.

В последние годы жизни Синявский успел много раз съездить в Россию и пообщаться с людьми, которые им восхищались. Эти поездки были очень важны для Марьи, а вот для него – не думаю, по-моему, он так боялся не успеть, что все, что не сидение за письменным столом – поездки, люди, развлечения, – было только помехой.

Из лагерных писем.

«*…меня раздражало и до сих пор из себя выводит – с каким шумом и тупостью люди целыми днями, годами дуются в домино или в шашки, стучат по столу, так что все подпрыгивает, с размаха, с повторением одних и тех же формул, ругательств, обязательно стучать, приговаривая «пошел! пошел!», круговорот, круг Ван-Гога, его же кафе, но за всем этим вторая действительность, ибо действительностей много, и развлекающиеся в домино игроки обретают интересный сюжет существования, переживают острую драму побед и поражений, испытывают близость судьбы, – поработал на станке, поиграл в шашки для поддержания интереса, игра вообще заключает в себя схему жизни, полную приключений, событий, и за недостатком таковых их воссоздают на доске, проходя не в люди, а в дамки, такая же большая действительность, как у меня, например, чтение, когда ныряешь в книгу,*

как в сон, и живешь параллельно движением речи, более интересным, чем собственная судьба, и все эти плоскости, составленные под углом друг к другу, торчащие в разные стороны, образуют огромное, запутанное бытие человека, живущего сразу в нескольких направлениях».

Когда они с Марьей приходили вечером в гости, Синявский довольно рано начинал беспокоиться о том, что на следующий день надо рано встать, ведь надо работать.

Он писал роман «Кошкин дом», и он все-таки успел его дописать, хотя Марье и пришлось после его смерти проделать колоссальную работу, разбираясь в том, куда же он хотел вставить последние написанные абзацы, и каков окончательный порядок глав.

Много разговоров с Синявским происходили в темной машине, когда мы их домой отвозили. Я очень четко вижу ветреный дождливый вечер, мы едем в машине, и он так медлительно говорит, что есть два лучших запаха на свете – псины и старых пыльных книг.

Как-то у них кошка заболела, даже в больницу на ночь попала, и потерянный Синявский сказал, что очень ему перед кошкой совестно, что человек, ежели заболеет, так ведь понимает, попав в больницу, что либо выздоровеет, либо помрет, а кошка-то не понимает.

Кошка у них была нагловатая и вороватая, жила в комнате у Синявского на втором этаже, спускалась вниз у него на руках и ела у него с вилки. Кроме того, ловила в крошечном пруду перед домом рыбок – лапой из воды выдергивала и бросала на дорожку. Один раз испугала до полусмерти какого-то гостя, ночевавшего в одиночестве на втором этаже, разбудив его ночью стуком в оконное стекло – она взобралась по глицинии и попросилась в дом. Совсем как в рассказе Конан-Дойля про профессора, превращавшегося в обезьяну из-за омолаживающих порошков!

Много было замечательных «звериных» историй – про пуделиху Мотечку и спаниеля Осечку. Осечка, судя по всему, был умен и надменен – один раз даже деньги на улице нашел и домой принес. Мотечка была простодушна и глуповата, никак не могла примириться с тем, что собакам не надо связываться с ежами, а ежи на улицах Фонтене-о-Роз ей попадались довольно часто.

Синявский рассказывал про Осечку одну душераздирающую историю: однажды, когда они с Марьей путешествовали по Северу, в какой-то деревне Осечка забежал на поле, где паслись лошади, и они за ним погнались. Синявский еле сумел, бросившись в поле, собаку схватить. Потом ему объяснили, что лошади Осечку приняли за медвежонка и могли бы просто затоптать.

Люди, мало знавшие Синявских, считали, что Марья все время лезет вперед, отталкивая Синявского, первая отвечает на вопросы во время разного рода встреч. На самом деле, как мне представляется, тут была ролевая игра, Синявскому было чрезвычайно удобно самоустраняться, чтобы его не беспокоили, а Марья, конечно же, получала удовольствие от общения, от возможности высказаться, да и от возможности иногда просто подразнить людей, при этом оберегая покой своего Синявского.

Конечно же, она наслаждалась, рассказывая про него разные истории, – ну, Санчо Панса должно было нравиться рассказывать смешные истории про Дон-Кихота.

Однажды мы к ним пришли ужинать, и Марья, показывая на Синявского, облаченного в белые штаны, с гордостью поведала, как он в этих белых штанах перед приходом приличных гостей плюхнулся на земляничное пирожное, почему-то оказавшееся на стуле, и как она, Марья, замазала пятно белой жидкостью для замазывания ошибок на бумаге.

У Синявских неподалеку от дома был любимый китайский ресторанчик, где Андрей Донатыч ел всегда одно и то же – надо сказать, минимально китайское – суп и голубцы.

Ресторанчик был как-то неудачно расположен, и народу там бывало очень мало, несмотря на действительно первосортную еду.

Когда Синявский заболел, они, естественно, перестали там бывать.

Умер Синявский в феврале, а к «китайцам» они не ходили с лета. И вот после похорон Марье захотелось повести людей в любимый ресторан Синявского, она позвонила своим «китайцам», и выяснилось, что ресторана больше нет, закрылся.

Такое вот колдовство?

Вместо того чтоб идти к «китайцам», мы пошли «на уголок» – в маленькую пивнушку у самого их дома. На углу. Эта пивнушка тоже играла некоторую роль в жизни Синявского – стоило Марье куда-нибудь отправиться, как Синявский шмыгал из дома «на уголок», выпивал там с соседскими мужиками, общаясь на неизвестном ему французском.

Через несколько месяцев после его смерти Марье захотелось купить в местном цветочном магазине розовый куст, и вдруг цветочник предложил ей этот куст за половинную цену – половину цветочник скостил «для Месье». Он был одним из мужиков, с которыми Синявский выпивал.

Синявский заболел в августе, и где-то с октября по январь у него была ремиссия, наверно, благодаря Марьиным невероятным усилиям – особой диете, лекарству из акульих плавников… Не верилось, что он умирает. Он сидел у себя наверху. Работал, читал, перечитывал детские книги.

В январе ему стало резко хуже, и все пошло очень быстро. За две недели до смерти привезли специально оборудованную больничную кровать. Синявский практически не общался, не разговаривал, лежал с закрытыми глазами. И вот мы втроем с Марьей и Васькой, пытаясь его расшевелить, на-

чали говорить всякие глупости про прибытие этой чудо-кровати, про то, какая она замечательная. И вдруг он рассмеялся своим обычным очень веселым смехом, приговаривая: «господи, а они про кровать…».

Это было последнее, что я слышала от Синявского.

Васька – Василий Павлович Бетаки, поэт и переводчик;

Марья – Мария Васильевна Розанова-Синявская, жена Андрея Донатовича Синявского.

Публикация Александра Бирштейна

Лев Славин

Страницы дневника

Страдания молодого Льва

Лев Славин. Одесса, 1920

Славиных в конце XIX века в Одессе было много. Все они были мещанами: и мстиславский Копель, и брест-литовский Арон, белозерский Хаим, гонидзский Фишель, бобруйский Симон, кишиневский Мордко, рогачевский мещанин Тихвинского общества Мордух.

И были два велижских мещанина Витебской губернии – братья Ицко (старший) и Липка (младший) Симоновы Славины.

12 марта 1895 г. Ицко Симонов Славин, 25 лет, женился на дочери турецко-подданного девице Фрейге Симе Ицковне Ярославской, 25 лет. Обряд совершил исполняющий должность раввина И.В. Айхенвальд. А 15 октября 1896 г. в книге раввината появляется запись о рождении первенца – сына Льва у велижского мещанина Витебской губернии

Ицко Симонова Славина и жены Фрейды Симы. Именно Льва, хоть других новорожденных записывали Лейбами.

С 1909 года семья жила на Нежинской, № 16 (сейчас там установлена мемориальная доска). У Славина были две младшие сестры – Анна и Мария (по-домашнему Нюся и Муся).

Из ворот этого дома выходил юный Лев, направляясь в гимназию Илиади, а затем в Новороссийский университет.

Александр Юльевич Розенбойм нашел в архиве дело студента юридического факультета Новороссийского университета Льва Славина. Зачислен он был сверх еврейской нормы. В деле копия паспортной книжки отца, где указаны приметы: рост 2 аршина 5 вершков (примерно 166 см, как у Пушкина), волосы светлые. И особая примета – на правой руке шесть пальцев. Здесь же паспортная книжка дяди Самуила Симовича, ратника ополчения из запасных 1 разряда, в паспортную книжку вписана жена Рашель.

Аттестат Льва: обучался он с 31 августа 1906 по 28 мая 1916 и «при отличном поведении обнаружил нижеследующие знания» – далее оценки: две пятерки (латынь и французский), четверки по русскому и церковнославянскому языкам и словесности, философской пропедевтике, немецкому и истории, тройки по математике, физике, географии, законоведению. В университете проучился он всего лишь полгода, а потом попал на фронт.

В 1931 выйдет его роман «Наследник». Главный герой – внук еврейского купца и графа, действие происходит во время первой мировой. Картины мирной жизни и батальные сцены, ирония ситуации – как говорит один из персонажей главному герою:

«Вы даже не человек. Вы выдуманы. Вы выдуманы Чеховым.

– Ничего подобного! – сказал я, ужасаясь непонятности его слов. – Вы сами неправдоподобный, у вас спина неправдоподобная. Такие, как вы, не бывают. Вот вы действительно не человек. Вы…

– Позвольте, – сказал Духовный холодно и сел на стул. Он продолжал с большой учтивостью: – Вы закатываете истерику, а я вам дело говорю. Ваш дед граф Шабельский? А другой – Абрамсон? Так. Ваш отец Николай Алексеевич Иванов? Кончил самоубийством? Все совершенно сходится. Ваша матушка Сарра Абрамсон, иначе Анна Степановна, умерла от чахотки? Так. (…) Все это персонажи из драмы Чехова «Иванов». Там все это описано. Ну, я ведь не отвечаю за ваше незнание классической литературы».

Роман был популярен. Через четыре года Марк Тарловский напишет стихотворные мемуары об Эдуарде Багрицком «Веселый странник».

Начинается поэма с разговора пяти юношей на бульваре. Это Олеша (бонапартоид), Славин, Катаев (артиллерист), Ильф (пегий лентяй) и Багрицкий, рассуждающие о некоем человеке, втащившем «тюк по лестнице с приморского вокзала». И у каждого – своя версия. Версия Славина полностью укладывается в сюжет его романа:

«А вы всё в эмпиреях, – перебил
Бонапартоида сидевший рядом. –
Библееман – плохой библиофил,
И я не к притчам склонен, а к балладам.
Не два крыла, попавшие в пике,
Чей фюзеляж надгробен и глазетов, –
Нет, может, быть для прозы в том тюке
Лежат узлы запутанных сюжетов;
Быть может, жив там теплый дух таверн,
В отчаянной кривой «Тристрама Шенди»,
Быть может, этот путник – старый Стерн,
Чья фабула теперь нам снова взбрендит.
И может быть, переплелись вконец
Там нити небывалой родословной,
Где ходит в пейсаховичах отец,
А мать зовут, наоборот, Петровной.
Дед по мамаше – русский феодал,
Дед по папаше – хедерский Меламед,
И внука рвут на части, и – скандал,
И неизвестно, кто переупрямит».
Так следовавший справа говорил
И чем-то с виду был незауряден:
Взгляд, позаимствованный у горилл,
Горел на дне глазных подбровных впадин.
Казалось, что тысячелетий даль
Не властна здесь, что юноша – потомок
Людей, чье кладбище – Неандерталь,
У чьих костров редела ткань потемок;
Что не под крышей – средь зверья скорей

Был задан «брис» ему или крестины…
Так живописно из пещер ноздрей
Росли кусты некошеной щетины;
Так разбегались от бровей, от губ
Лучи наследственных ассоциаций…
Он все же был опрятен и не груб
И не на шкуре спал, а на матраце.
Его гортань, как медная труба,
Играющая в бархатном футляре,
Ласкала ухо, но была слаба
Для зычных, для господствовавших арий.

Примечательно, что через много лет, в 1977, Валентин Катаев назовет почти ту же компанию – Ю. Олеша, Е. Петров, И. Ильф, Э. Багрицкий, Л. Славин. И, как и у Тарловского, Славин «наследник»:

«…в Мыльниковом – поселился я, приехав в Москву, а следом за мною через мою комнату прошли почти все мои друзья, ринувшиеся с Юга, едва только кончилась гражданская война, на завоевание Москвы: ключик, брат и друг, птицелов, наследник и прочие».

Любовь часто подкрадывается незаметно. Впервые Софочка Лившиц увидела Льва, когда ей было 14 лет. Она была племянницей Рахили Славиной, жены младшего брата отца Самуила (Липки или Сени – в дневнике). Встретились в лавочке, в дачном районе за городом, Софа показывала дорогу на какую-то дачу, Славин рассказывал что-то о римских легионах. Потом Лившицы переехали в Киев, были встречи, общение, но любовь пришла позже, в 1922 году. Судя по записям в дневнике, Рахиль (Рашель Григорьевна) была очень недовольна романом племянницы, дело дошло до разрыва отношений.

Конечно, и до этого Славин влюблялся, но «то все была водица, а это настоящее вино». И он, взрослый человек, прошедший войну, вел себя, как мальчишка: страдал, мучился, ревновал, совершал нелепые поступки, падал духом, не смея надеяться, и тут же возносился до небес.

Но Славин – писатель, пусть и начинающий. Свои раздумья, счастье, отчаянье он выплескивает на страницы дневника. «Если я пишу для того, чтобы разобраться, – я своей цели не достигаю. Положение как было запутанное, так и остается. Если я пишу для того, чтобы описать и закрепить то хорошее, что происходит со мной, то я своей цели не достигаю.

Чтобы описать предмет или предложение, нужно отстраняться от него в пространстве и во времени. Если иногда то, что я пишу, выходит художественным, – это помимо моей воли и независимо от нее, – разумеется, художественных замыслов у меня нет. Я пишу без цели; всякий дневник безумен. Пока я пишу, мне приятно: это близит меня к Софе. Часы разлуки ужасны, я их скрадываю».

Позднее в его текстах будут почти дословные цитаты из дневника.

«Я до сих пор не знал, что у меня есть сердце. Не было таких вещей, которые заставили бы его усиленно биться, за исключением разве бега на три тысячи метров, – законное сердцебиение стайера после второго километра, успокаиваемое короткими вдыханиями через рот. Но теперь, после двух шагов прогулки с Катей, оно начинало жужжать, как муха в кулаке, оно хлопотало в своем левом углу (жалкий паразит, которого я выкормил в своей груди!), в одну минуту сводя на нет весь труд тренировки и гордости – от взгляда, от встречи локтей, от темноты кинематографа. Мне делалось больно» («Наследник», 1931).

«Ни одна фотография не похожа на тебя, потому что у тебя очень подвижное лицо. Подойди ближе. Еще ближе. Твои волосы щекочут мой висок. Это лучше всего. Приложи свою щеку к моей. Так. Она холодней, чем моя. Ты всегда была чуть прохладней меня. Мы видим одно. Как хорошо» («Дело под Картамышевом», 1939).

После смерти Льва Исаевича Софья Наумовна передала большую часть архива в РГАЛИ. Но страницы о бурном и непростом времени одесской осени 1922 оставила себе. Позднее племянник Славина Владимир Рубцов передал дневник в дар Одесскому литературному музею.

Записи в дневнике начинаются 7 сентября 1922 с отчаянной фразы «Вот уже 2 часа дня, а я все еще не люблю Софочку. Я беспокоюсь этим. Уже скоро 16 часов, как я ее не люблю. Неужели разлюбил, и без всякой уважительной причины» и обрываются 12 ноября: «Что мне делать! В Киев тянет все сильней, тут Софа бомбардирует письмами «Приезжай…»

Дневник полон Софочкой (когда царит гармония) и Софой (когда отношения становятся прохладными). Больше никто не нужен. «Я никого не хочу видеть. Ни друзей, ни женщин. Я хочу одну Софочку. Мне больше не надо. Все недоумевают: отчего меня нигде не видно? Где Лева? Куда пропал Славин? Ах, Боже мой, какое мне дело до всех вас! Я возле Софочки, там мне хорошо, я не хочу знать всех вас».

Мимоходом Славин упоминает Илю (Ильфа, самого близкого друга в те годы) и Эдю (Багрицкого), с восторгом пишет о встрече с талантливым Анатолием Резниковым. И с Багрицким, и с Бабелем он познакомит Софочку уже после свадьбы.

Славин мучается безденежьем, которое на дает соединиться с любимой. Но он все же нашел выход. Какой? Сейчас уже не узнать. Может, помогла работа в библиотеке железнодорожников, о которой упоминается в дневнике.

Он получил два дня отпуска, приехал в Киев за Софочкой. Ее отец строго сказал: «Без загса из дому не выпущу». Но, как вспоминала Софья Наумовна, в загсе были огромные очереди, никакие уговоры не помогли. Когда расстроенные жених с невестой и свидетели вернулись домой, их встретили цветами и шампанским. Признаться было невозможно, свидетели хохотали до слез, Лев с Софьей едва успели на пятичасовый поезд.

«Из Киева в Одессу в свою семью муж привез меня 18 февраля 1923 года. Мы шли через двор, вдруг муж сказал:

– Держись левее, она может выпасть из окна.

Я оглянулась – из всех окон флигелей, окаймлявших двор, на нас глядели. Большей частью женщины, иногда с детьми. Я спросила:

– Что это?

Лева сказал:

– Ну, как же? Они узнали о важном событии – Левочка Славин женился! Интересно посмотреть, кого привез», – писала Софья Наумовна.

Она вспомнила и первую встречу с Бабелем:

«–Познакомьтесь, Исаак Эммануилович, моя жена – Софья Наумовна Лившиц.

– Как?.. А я думал, она – русская. Вы же знаете… Я считаю, что надо смешиваться… Мы живем где?

– Ну, что поделаешь, на этот раз не удалось! – сказал мой муж.

Эта его неудача длилась шестьдесят один год, пока он был на этом свете».

Воспоминания Софьи Наумовны о первых днях совместной жизни были опубликованы в 37 номере «Дерибасовской – Ришельевской».

А сейчас из дневника Льва Исаевича можно узнать о трех осенних месяцах, наполненных солнцем и дождем, счастьем и отчаянием,

поцелуями на Ланжероне и ссорами на бульваре, встречами в буфете Краснощека и в консерватории. О случайных встречах и отчаянных надеждах. О любви.

Алена Яворская

7/IX.

Вот уже 2 часа дня, а я все еще не люблю Софочку. Я беспокоюсь этим. Уже скоро 16 часов, как я ее не люблю. Неужели разлюбил, и без всякой уважительной причины. И все время в голову прут женщины, которых любил. Их было не очень много. А все-таки достаточно. Многих не помню. Других вспоминаю, но имена бесследно забыл. А иных буду помнить всегда. И, прежде всего Тусю, конечно! А Леночка? Я ее встретил гимназистом. Был пьян тогда. Благодаря ей узнал неизбывную сладость женского тела. Потом она пропала. И снова встретил в 1918 году. Опять полюбились.

9 часов. Вернувшись от Софочки. Я люблю эту проклятую женщину, я не могу от нее отстать и никогда не отстану. Я хочу кончить о Леночке. Это была высокая худощавая и гибкая женщина. Пикантная мордочка. Отсутствие зуба впереди увеличивало ее пикантность. Она была очень искусна в любви. Ее пальцы я помню доныне. Она сделала огромные успехи в промежутке, что я ее не видел. Люди воевали и делали революции, она в это время училась любви; она не теряла времени даром. До нее я не знал, что такое поцелуй. И после нее не встречал никого, кто бы так целовался. Это какая-то удивительная композиция из губ, зубов, языка и дыхания.

Некоторыми чертами Леночка напоминала Соню. Все же ей далеко до Сони. О Соне я вспоминаю с нежностью, о Лене думаю без всякого сожаления, с облегчением. А когда недавно встретил ее – почему-то рыжую – даже неприятно сделалось, смотря на нее. Скоро я оставил ее.

Юлочка в Инсаре? Она меня прельстила тем, что в ней была какая-то английская хрупкость, блондинка – я мало знал блондинок. И другая Лена там же, грубая веселая сестрица, в ней было веселое распутство, толстые ляжки, контральто, вино хлестала, как воду. Кто еще? Августина? Ел. Д? Грубые мгновенные соединения. Люся? Глупость.

И Титуся, моя любимая Титуся, моя первая чистая любовь. А ведь ее любил сильнее и дольше всех. Я любил ее очень долго. Я думал, что всегда буду любить ее. А полюбил 14-летним мальчишкой, отбил у лучшего товарища и не переставал любить только ее одну в продолжении 8 лет. Потом это угасло. Какое это было нелепое и очаровательное время! Как я был робок! И она робко шла мне навстречу. Сумасшедшие письма, что я ей слал в Одессу отовсюду, даже из самой Одессы. Вызовы по телефону в 2 часа ночи. Идиотские стихи. Объяснения через подруг. Слежки на улице. Будто бы случайные встречи. Цветы от неизвестного, когда она играла в Консерватории. И, наконец, вместе. Вместе слушали итальянский у Мочульского и ничего не понимали. Вместе шлялись по кино маленьким грязным и блаженствовали, сидя в длинном зальце где-то позади. Французский бульвар в ярком лунном свете, я бегу как сумасшедший, я кричу неизвестно от чего – от радости жить. Перебирались по камням в какие-то заброшенные купальни и, свесившись над перилами, плевали в темную воду.

Умная девочка, и гораздо образованнее меня, старалась меня многому научить, в многом я был невеждой перед ней, пожалуй, ни с одной женщиной не было у меня духовного общения, кроме Титуси. Блондинка, полное тело на стройных ногах, я с ней сошелся чрезвычайно. Она была бы идеальной женой. Никто не понимал меня лучше ее. Между нами было полное согласие. Чудесная женщина, чудесный товарищ, равный, если не превосходивший меня по уму, во всяком случае, ее духовные интересы были несравненно шире моих, – и все, и только – в области искусства. Его она знала и изучала широко и подробно. Она часто изумляла меня обширными своими познаниями в живописи какого-нибудь Ренессанса, или театра эпохи Плавта. Золотые косы, от нее всегда благоухало нежным девичеством. Но я ее разлюбил. Она позже вышла замуж, уже за границей, за старого художника. Недавно писала из Вены, что имеет девочку.

Прочих не стоит вспоминать после Титуси.

А теперь Софа – потому что я ее люблю. И вижу теперь, что в сущности, никого не любил. То все была водица, а это настоящее вино. Я был сегодня у нее. Мне было минутами досадно смотреть

на нее – что весь я в ее власти, во власти моей невменяемой любви. Она говорит, что любит меня; не смею ей не верить. И я сделал то, что наполняет меня величайшей радостью, но что <*неразб.*> величайшей глупостью и подлостью по отношению к самому себе. Я согласился-таки жениться на ней. Я согласился на ее отвратительное условие. Я соглашаюсь на все. Я как будто лишился способности возмущаться. Это ужасное, унизительное для меня и для всякого мущины условие. Что я сделал? Ну разве я могу согласиться? Есть вещи постыдные. Бежать от врага – постыдно. Низкопоклонничать – постыдно. Бить ребенка – постыдно. Взять в жены любимую и не сметь обладать ей – постыдно. Тот, кто делает все это, достоин презрения. Он не мущина – а ничтожество. Что за извращенная женщина, она первая должна презирать меня за то, что я соглашаюсь на это. Я сам буду презирать себя и не посмею посмотреть себе в глаза. Но я соглашусь, потому что люблю ее. Мне в голову приходят самые ужасные предположения. Я не смею высказывать, до того все это грязно. Я верю в самый грязный поступок после того, как она предложила мне это. Я не могу писать больше.

8/IX.

Вернулся домой поздно. Очень устал. Получасовой сон освежил меня. Снова свеж. Весь день на ногах, исходил Бог знает сколько и все с Софой. В 11 встретил ее в порту на вокзале. Исходили Дерибасовскую. Пошли в «Гум» на Пушкинской. Пошли на вокзал. Были Трибунале. Пошли опять в «Гумм». Опять шатались по Дерибасовской. Она вдруг залетела в магазин и вылетела оттуда с мешочком бисквитов. Когда бисквиты были скушаны, она опять влетела в магазин и снова вылетела с мешочком бисквитов. Пошли на Бульвар. Она была такая миленькая, как никогда. Я смотрел на ее загорелую рожицу, и страшно хотелось ее поцеловать тут же на улице. Сидели на Бульваре. Казалось, это конец. Так нет. Я усадил ее в поезд. И сам сел до отхода. И вдруг уехал на Лиман. На Сортировочной сошли и пошли на море. Посидевши на берегу, пошли степью на Лиман. Я остался на вокзале. Она пошла домой и скоро пришла с деньгами, папиросами, с яблоками. Еще час – и я уехал.

10/IX.

Вчера у меня был Боря. Позвал я его познакомить с Софочкой. – «Какова?» – спрашиваю его вчера. – «Изумительно хороша», – говорит. Я смеюсь и доволен. Сейчас утро. Не знаю, что буду делать. Не знаю, что желать. Я – не помешанный. Что за дурак – я думал, что разлюбил ее. Никогда мне это не удастся.

– Вы любите меня? – спросил я.

– Да.

– Вы влюблены в меня? – спросил я.

– Да.

Я знаю, что ненужно бесцельно писать все это, но я пишу, заполняю десятки страниц Софочкой. Она любит меня. Но отчего ж она не хочет этого? У меня несколько предположений. Возможно, что ни одно из них не правильно. Как всегда, самым правильным будет самое простое. А вообще говоря – нет, <*неразб.*>. Кругом меня стена. Куда не ткнусь – стена. Глухая. Что делать? Пускай она делает. А я не хочу – я не могу. Может ли она? Я ей скажу, что не могу, и посмотрю, что она скажет. Раньше она была для меня интересная, красивая, заманчивая, а теперь – милая, бесконечно милая. Само время вдруг стало. Но оно не стоит. Медленно неумолимо ползут дни. Сегодня воскресенье, а в субботу она уезжает. Суббота – страшный день, после которого ее не будет. Я останусь один. Я обещал ей не позже 1 ноября приехать в Киев, взять ее и уехать в Питер. На чем основывался, утверждая это, – неизвестно. Денег нет, и никаких видов достать их – тоже нет. Печально все это. Вдруг просыпается дикая энергия, и я уверен, что достану все нужное, и все будет, как хочу. Из-за нее ничего не пишу. Как долго это будет? Ничего, все устроится. Увижу ее может, сегодня, а, наверное, завтра. Боюсь, не уехала бы из Лимана в город – без того, чтоб я знал об этом.

11/IX.

Вчера был у Багрицкого. Пришел молодой человек. Отрекомендовался: К<*неразб.*>. Литератор из Харькова. Привез мне письмо от Ширмахера (Агатова). Ширмахер зовет в Харьков, можно там отлично жить. Боже мой, повсюду меня зовут! Куда мне ехать: в Питер? В Москву? В Харьков? В Киев? В уезд?

Вечер. В печальных размышлениях. После обеда спустился с горы на ст.[анцию] Пересыпь, чтобы ехать на Лиман. Прихожу – пустой вокзал, поезд уже ушел, больше сегодня не будет. Я кидаюсь в трамвай и доезжаю до Ярмарочной площади. Дальше трамвай не идет. Бегу влево, перелезаю через какие-то запасные пути и достигаю станции «Жевахово». Осведомляюсь: идет ли поезд на Лиман? Если нет – решаю идти пешком. Ура! Через полчаса будет поезд с Одессы-Главной. Сажусь на скамью. Кругом лузгают семечки деревенские барышни, гуляют железнодорожники, молодой <*неразб.*> чекист с надменным прыщавым лицом поминутно вытаскивает огромный наган и втискивает его обратно в кобуру. Я вынимаю из кармана пальто «Сад Эпикура» и читаю. Солнце ласково припекает сзади.

В 5 часов приходит поезд и уносит меня на Лиман. Я боюсь не застать Софочки – может опять она на пляже? Я всегда чего-то зря боюсь. Приехав, схожу – со стороны противоположной вокзалу и через решетки и пруд бегу к Софочке на дачу. Знакомый запах аптеки и бани повергает меня в трепет. Стучу. Голос Клары Ваксман вопрошает: «Кто там?» – «Славин». Она высовывается из двери. Она не может меня впустить. Она моет голову. Софочки нет. Может быть она на вокзале. Лечу на вокзал. Никого. Поезд вытянулся вдоль платформы. Он уйдет через час. Я покупаю семечки. Досадливо грызу их, гуляя по перрону. Где же она? Ох, уеду, не увидев ее. Но издали сквозь деревья продирается что-то красное и белое, торопится, стриженые волосы. Счастье! Она. Она тут. Загорелая. Идем к пруду и там ложимся на моем пальто. Сегодня уже новые разговоры. Необыкновенная покорность. На все согласна. Замуж – да, замуж. Без всяких оговорок и ограничительных условий. То знаменитое условие уже не существует – как будто его не было. Готова ждать меня – годы. Любит меня так, что мне жарко становится. Фу! ничего не понимаю. Одно знаю – уезжает через несколько дней, – и это хуже всего. А я вижу все ясней и ясней, что без нее мне не жить.

12/IX.

С утра – дела. От них к 2 часам дня – несносная головная боль. В 3 спускаюсь на Пересыпь. И – удивительно – поспеваю к поезду. В воротах дачи встречаю Софу. Идем. Гуляем. Хохочем, как одурелые. Завтра она уезжает, наконец, с Лимана

в город. Сидим у нее. Если б она знала, как трудно мне целовать ее, она не делала бы этого. Мне тяжело оттого, что хочу ее. Снова выходим. Я сегодня еще кое-что объяснил ей. Когда же она поймет, наконец? Она такая умная, а этого не понимает. Вот где можно изощрять дипломатические способности. Завтра буду изощрять. Пришли на вокзал. Поезд стоит, готовый к отходу. Вдруг я чувствую прилив необыкновенной ненависти к поезду. Она давно назревала и вот прорвалась. Я решаю не ехать, а идти в город. Я злобно смотрю на поезд и гордо обхожу его. Выхожу на дорогу и, как сказал, направляюсь в город пешком. Софочке смешно и страшно за меня. Она идет со мной. Мы идем, возвращаемся, рядом туда и снова я не могу отстать от нее. Когда внезапно наставшая темнота заставляет меня распрощаться с ней.

Условился завтра встретиться, поднял воротник пальто и бодро зашагал. Темно, дорога пуста и бесконечна. Я один, горько пахнет степными травами. В небе блестящие звезды, я высокий, прямой и серый бесшумно и быстро продвигаюсь сквозь травы, через лужи, минуя камни, поваленные столбы. Вдруг – из мрака с чудовищным лаем вырывается на меня стая собак. Я разгоняю их ужасным нелепым криком, которого сам пугаюсь. Но они снова набегают, особенно страшна их передняя, огромная мохнатая, ее зубы, кажется, светятся в темноте. Еще немножко – они меня разорвут. Я срываю плед и неистово молочу направо и налево. Собаки отстают. Переваливаю площадь и выхожу на Николаевскую дорогу. Прихожу на Московскую ул. Добираюсь до трамвая. Увы! Он стоит темный: тока нет. Я бешусь. Но иду дальше. Еще хороших верст шесть до дома. За мной увязался какой-то старик – попутчиком. Он идет и что-то бормочет. Я большими шагами ухожу от него. Он визжит и догоняет. Вдруг – с лязгом и свистом проносится оживший трамвай. Я вцепливаюсь в поручни и уношусь на нем. Старичок, оставшийся позади в темноте, кричит, как будто его режут. Я в городе.

Только что во двор приехали какие-то киевляне. Вдруг и Софин брат приехал с этим поездом? Если так – возможно, что завтра она еще не переедет в город и – значит – не увижу ее. Что делать?

13/IX.

Дождь меня еще больше убеждает, что сегодня Софочку не увижу. Вчера вечером, возвратившись с Лимана, застал записку от Или (И. Ильфа. – **А. Я.**) и Эди (Э. Багрицкого. – **А. Я.**), зовущую меня на пунш. «Может, именно сегодня зажжется пунш!» – так патетически заканчивается эта записка. Я не пошел, не захотел. Ничего мне теперь не нужно. Лиля Орлова приехала из Питера. Я ее не видел. Я никого не хочу видеть. Ни друзей, ни женщин. Я хочу одну Софочку. Мне больше не надо. Все недоумевают: отчего меня нигде не видно? Где Лева? Куда пропал Славин? Ах, Боже мой, какое мне дело до всех вас! Я возле Софочки, там мне хорошо, я не хочу знать всех вас.

Ночь. Только что вернулся. Конечно, Софочку не встретил ни в одном из назначенных мест. Ясно: она еще на Лимане. И никак невозможно узнать теперь: где она? Поехать на Лиман – а вдруг она в городе либо переезжает. В городе не знаю, где искать ее. Одно остается: зайти к Лёне в «Гум». Но и это неудобно по некоторым соображениям. Сегодня не видел ее – один только день – а как тяжело! Был с Мусей, с Эдей, с Илей. Скучно это. Не пишу ничего.

14/IX.

Сегодня – четверг. Я знаю: <*неразб.*> она уедет и до отъезда уже не увижу ее. Вчера не видел ее целый день, но зато видел целую ночь. Всю ночь она снилась мне. И от этого в душе еще неразошедшаяся нежность. Думаю, – она может и прямо оттуда уехать в Киев.

Ночь. С утра был занят делами и бездельем. Зашел между прочим в «Гум», думал узнать от Лёни, где Софа, но его не застал. Опечаленный прибрел домой. Во втором часу дня сижу за своим столом, дожидаясь обеда, и что-то такое делаю. Вдруг в дворе звонкий голос восклицает: – «Вы mademoiselle Славина?» Сестра из окна отвечает: – «Да». – «Позовите Леву». Я – в окно. Софочка в сером костюме. Зовет вниз. Я влезаю в пальто и в фуражку и слетаю во двор. Оба рады, что видим друг друга. Вчера она пришла на Греческую площадь минутами позже меня. И я жалею, горько! <*неразб.*> – не видел Софочку!

Софья и Лев Славины. 1920-е гг.

Доходим до «Гума» и входим в него. Оттуда возвращаюсь домой, пьяный от радости. Протрезвевши, сажусь в трамвай и качу в установленное место встретить Софочку. На углу Базарной и Канатной скатываюсь с мчащегося трамвая и озираюсь. Я немного запоздал. Вдали маячит серая элегантная фигурка. Она стоит в раздумьи и смотрит вниз, выглядывая меня. Я подхожу сзади. Она оборачивается, я вижу счастливое милое лицо. Мы сидели на Пушкине на бульваре, а потом были в кино, маленьком, грязном, куда нарочно пошли. Потом вернулись на Канатную, в буфете Краснощека пили кефир и грызли галеты. И распрощались у дома тети Хили, где она сейчас живет. Эта ужасная женщина устраивает ей сцены из-за меня. И мне надо опасаться, чтобы она не узнала, что видаю Софу.

15/IX.

Вчера, простившись с Софочкой, зашагал вниз по Еврейской домой. Шел, распахнув пальто, опустив голову. И вдруг в 2 шагах от себя увидел идущих навстречу Раш.[ель] Григ.[орьевну] и Сеню. Я обомлел и сжался. Они шли прямо на меня, эта высокая костлявая женщина и ее несчастный муж. Мы молча разошлись, и я думал, что в темноте они меня не узнали. Сегодня утром приходил к Краснощеку. Вижу, Софочка сидит за столиком. Черт возьми, жизнь хороша! Легкое платьице, загорелая спина, большая панама. Мы пошли на море в «Отраду», по дороге прочли объявление хиромантки, наклеенное на столбе, повернули назад к ней. Старая еврейка «из Сибири» в грязной комнате грязными руками облапила тонкую Софину руку. Она рассказала на чистом одесском языке прошлое, которое в то же время было настоящим и даже будущим. Счастливые дни Софины: вторник и четверг до заката солнца, «когда солнце по географии закатится по шару…». Мы хохотали, как сумасшедшие, и пошли в «Отраду». Оказывается, Раш. Гр. меня вчера таки видела. Софочке – очередной скандал. Опять Краснощек и расстались, условившись вечером встретиться. Но не видел ее вечером. И тоскую. И раздражает она меня, и влюблен. Хочу видеть. Как же завтра увидеть? Не знаю. Сомневаюсь, будет ли мне хорошо с ней в браке. Ненавижу я брак. Боюсь его.

17/IX.

Раннее утро. Ясное. Воскресенье. Я люблю воскресенья. Может быть, это еще от гимназических времен – светлое праздничное настроение. Вчера утром был занят по делам. На Почтамте встретил Лилю, приехавшую из Питера. С ней вместе гуляли. Зашли к Иле. Я не знал, как ухитриться мне увидеть Софу. Утром я думал поехать к Краснощеку, но сказал себе, что это невероятная надежда встретить там Софу. И не поехал. Томился до вечера. Вечером пошел с домашними в оперу, где давали «Евг.[ения] Онегина». Я говорил Софе, что буду в опере, и звал ее туда – она же в этот вечер обещала кому-то быть в Консерватории. Я, идучи в театр, заскочил в Консерваторию. Войдя в зал, обозрел публику, ее не нашел и, огорченный, пошел в театр. Еще до начала спектакля гулял по театру, показывая его сестре. Возвращаясь к себе в ложу, был остановлен капельдинером.

«Вас спрашивала какая-то барышня». Я равнодушно пожал плечами и пошел дальше, но вдруг сразу понял, что это была Софа, бросился вниз по лестнице, выбежал из театра, пустые улицы освещенные электричеством, запоздалые посетители спешат в театр, никого – я вернулся в ложу. – «Была Софа, – говорит мама, – она в амфитеатре». В антракте я встретился с ней, она с подругой Кларой Ваксман. Я проводил ее в Консерваторию, посидел с ней недолго и пошел обратно в театр. Возможно, что она сегодня уезжает. Никогда еще я не видел, что она меня так любит, как вчера за эти коротенькие ¼ часа.

В первый раз я это увидел и поверил – Боже мой! Может быть, она любит меня больше, чем я ее. Она смотрела мне прямо в глаза, мучилась и любила. Она была обворожительно хороша в этом английском костюме и шахматной шапочке. До чего у нас мысль идет одинаково: позавчера я искал ее на Соб.[орной] площади и она меня тоже, и дважды, как я, по сферам и солнечному вращению, – когда я хотел быть у Краснощека – она была там – «потому что я думала, что вы тоже там будете», – говорит Софа. Я – в Консерваторию, она – в театр. Но если она сегодня уедет? Пропаду без нее. Она не верит, что я люблю ее, ей больно от этого. Пускай помучается; я тоже мучился. И мучусь оттого, что не знаю, как устроить, чтоб жить с ней. Мне невозможно счастье без Софы, потому что я люблю ее.

Ночь. Светлое воскресное утро превращается в темную ночь. Идет дождь. И в душе моей ненастье. Любовь моя к Софочке – каторжная любовь. Боже мой, пусть любовь моя будет легка! Я вспоминаю пушкинское: «Ты любишь горестно и трудно…». Это про меня сказано. Мне грустно. А между тем – она меня любит, это так же несомненно, как и то, что я люблю ее.

Сейчас измучен прошедшим днем так, как будто работал без устали с утра до вечера. Утром пошел в буфет Краснощека, где условился свидеться с Софочкой. Ее нет. Сел за столик и потребовал бутылку кефира, мне совершенно ненужного. Хозяйка говорит: «Та барышня уже была, сказала, придет скоро». Хорошо. Я начинаю находить в кефире известную сладость. Входит Софочка. В своем красивом костюме она не может не быть обворожительной. Мы пошли на Ланжерон. Лежали на берегу. Я не знаю, о чем мы говорили. Она напустилась на меня. Я видел злость и презрение. Я был уничтожен. Мне хотелось умереть. С язвительностью иезуита, с упорством женщины, со злобой непримиримого врага она перечисляла все мои слабые стороны, вывернула меня наизнанку и доказала, как дважды на два четыре, что я ничтожный и ненужный человек. Мы ушли с Ланжерона в молчании, под дождем. Я не мог ни говорить, ни думать. Я не видел куда иду. Мы укрылись от дождя в полуразрушенной будке посреди поля. Там я целовал ее без конца. Она лежала у меня на груди. Я чувствовал, что мы любили друг друга, я и Софочка, что идет дождь, что я самый несчастный и самый счастливый человек в мире. Я был как пьяный. Она много говорила, я ничего не понимал. Она меня умоляла приехать в Киев. Я сказал, что не могу сейчас. Она сказала, что достанет деньги. Мы решили жениться (в который раз? и сколько еще раз перерешим). Мы расстались, наконец. Я пошел домой. Вечером она пришла ко мне. Сидела у меня. Миленькая. Смотрела на меня с любопытством, не понимая, что я за птица. Я в душе смеялся над ней. Она забрала мои фотографии и ушла. Я проводил ее до трамвая. Она уехала. Что будет? Хорошее или плохое? Она милая, я люблю ее, несмотря ни на что.

Окончание следует

Сокровища из сокровищницы

326 Татьяна Щурова
«Улыбайтесь, господа!»

Татьяна Щурова

«Улыбайтесь, господа!»

Хочется думать, что герой комедии Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен», которому принадлежат эти полюбившиеся всем слова, отнес бы их также к карикатуре и шаржу – удивительному, не перестающему восхищать виду изобразительного искусства. Сатирическое или добродушно-юмористическое в карикатуре и ее разновидности, шарже, всегда намеренно преувеличено выделяет характерное в событии или в человеке и неизменно вызывает у нас интерес. Мы знаем, что карикатура часто остро публицистически с большой долей иронии откликается на злободневное в политике, сиюминутно значимое для современников. Шарж более добродушен, чаще это забавный портрет, в котором при соблюдении внешнего сходства какие-то черты даются

с нарушением внешнего правдоподобия. Широко известно высказывание советского графика Д. Моора: «Шарж – это не просто плохо нарисованный портрет с длинным носом. Это сумма знаний о человеке, предмете, явлении…». Нужно сказать, карикатура и шарж всегда рассчитаны на наше эмоциональное восприятие.

Как библиограф не могу не посоветовать вам почитать и посмотреть интереснейшие издания по теме, которые сегодня не найдешь в других книжных собраниях страны. Не будем скрывать, приятно снимать с книжной полки в отделе искусств Одесской национальной научной библиотеки редкие издания по истории карикатуры и показывать их новым поколениям студентов и библиофилам всех возрастов.

Например, нашим читателям нет нужды скачивать из Интернета книгу А.В. Швырова «Иллюстрированная история карикатуры с древнейших времен до наших дней» (Спб., 1903), составленную автором по новейшим по тем временам исследованиям. Она отлично сохранилась в ОННБ. В предисловии автор написал: «Перед глазами читателя пройдут

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ

ИСТОРІЯ КАРИКАТУРЫ

СЪ ДРЕВНѢЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ ДО НАШИХЪ ДНЕЙ.

СОСТАВЛЕНА ПО НОВѢЙШИМЪ ИЗСЛѢДОВАНІЯМЪ

А. В. Швыровымъ.

ИСТОРІЯ КАРИКАТУРЫ ВЪ РОССІИ НАПИСАНА

С. С. Трубачевымъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія П. Ф. Пантелѣева. Верейская, 14.

1903.

определенные моменты истории, восстанут все значительные схватки и битвы человечества, промелькнут все людские страсти: горе и радости, победы и поражения, счастье и отчаяние, – так как все это обнимает карикатура… Мы не задаемся целью написать сухой философско-научный трактат о характере юмора в разные века и у разных народов, а просто хотим набросать крупными штрихами картину развития художественной сатиры… Сатирический смех родился чуть не в первый день творения, и будет жить, пока на земле останется хоть один человек. Смех – необходимое жизненное условие – и все эпохи отдали ему дань…». Книга действительно читается как захватывающий исторический роман.

А если вы владеете французским языком, то мы сможем предложить познакомиться с еще двумя редкими изданиями, когда-то привезенными из Парижа графом Михаилом Михайловичем Толстым и переданными им потом в фонды библиотеки. Это очерк истории французской карикатуры XIX века Армана Дайо (Les maîtres de la caricature

française au XIXe siècle. – Paris, 1888) с великолепным иллюстративным блоком и книга известного французского критика и искусствоведа Арсена Александра, автора первой монографии об Оноре Домье, художественного руководителя журнала «Le Figaro» «Искусство смеха и карикатуры» (L'art du rire et de la caricature. – Paris, 1892).

L'ART DU RIRE
ET DE
LA CARICATURE
PAR
ARSÈNE ALEXANDRE
PARIS

Главная мысль, которую можно проследить во всех этих изданиях: карикатура – всегда зеркало эпохи, верно отражающее настроение своего времени. Авторы отмечают, что карикатура получила особенное распространение после изобретения литографии, то есть дешевого способа печатания рисунков. Появилась возможность выпускать периодические издания и карикатурные листки. Например, в Англии с 1841 года стал выходить журнал «Punch». Во Франции Шарль Филиппон основал оппозиционный журнал «Карикатура» («La caricatura»), быстро завоевавший популярность своей независимой антиправительственной позицией. В голове Филиппона зарождались все новые остроумные идеи. Он открыл, например, что голова Людовика-Филиппа имеет сходство с грушей (1831),

и карикатура эта мгновенно приобрела невероятную популярность, а ее автор был привлечен к судебной ответственности за оскорбительные нападки на власть имущих.

Интереснейшая страница в истории карикатуры – творчество выдающегося британского художника и гравера Джеймса Гилрея (1757-1815). Его даже называют главным английским карикатуристом и наиболее влиятельным сатирическим графиком всех времен, оказавшим большое влияние на таких художников, как Гойя, Давид, Делакруа. Яркие гротескные офорты Гилрея, эксцентричные, изысканные, имели огромный спрос. Они выставлялись в многочисленных эстампных лавках Лондона, затем проникали во все уголки Англии, попадали в другие европейские страны. У него были как политические, так и социальные карикатуры. Известно, что Наполеон грозился повесить Гилрея – французский император был одной из излюбленных тем художника. Одна из его «наполеоновских» работ до сих пор считается лучшей по этой теме. Она называется «Пудинг в опасности, или Эпикурейцы за ужином» (1805). На ней премьер-министр Великобритании Питт

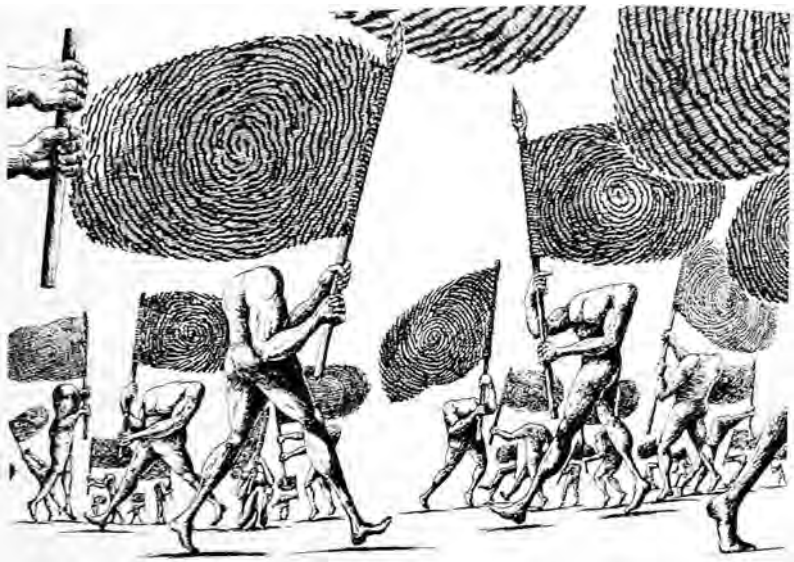
и Наполеон делят мир: Англия отрезает себе мировой океан, а Франция – Европу. На другой карикатуре Наполеон был изображен в роли пекаря, выпекающего новую аристократию из своих родственников и приближенных. Не щадил Гилрей также английских обывателей-модников. Он зло высмеивал денди с их неуемными пристрастиями к причудливой одежде. Давали повод для карикатур и дамы, слепо заимствовавшие фасоны нарядов у француженок, а при этом выглядели нелепо в этих довольно рискованных одеждах.

Среди современных изданий выделяется книга Валерия Нестеренко и Тараса Батенко «Шарж і карикатура в системі графічного мистецтва» (Львів, 2008). Мы получили ее в подарок от одного из авторов. В. Нестеренко в начале семидесятых окончил Грековское училище, а затем Львовскую академию художеств, где теперь является завкафедрой декоративной живописи. Говорит, что не мог не вручить свою книгу в библиотеку, где в студенческие годы провел немало часов. Нужно сказать, что это учебное пособие интересно читать не только специалистам.

Используя обширный материал из истории и «современной жизни» карикатуры и шаржа, насыщая книгу большим количеством иллюстраций, авторы раскрывают жанровый диапазон этого вида графики, представляя веселые доходчивые рисунки или

же приправленные «черным юмором», или философскими размышлениями. Карикатура и шарж также могут нести политический пиар, социальные и бытовые проблемы. Мы это знаем, потому что в свое время читали популярные журналы «Крокодил» и «Перець». Учебное пособие поможет тем, кто овладевает графическим искусством – шаржем и карикатурой, – это сложный и продолжительный процесс «поиска авторского самовыражения». Молодой художник непременно должен постичь азбуку линий, основные техники создания карикатуры и еще очень многое. Авторы книги приходят к интересному выводу: «Смех, вызванный оригинальным жанром – шаржем и карикатурой, – это тихий смех разума, согласованный с бессловесным пониманием души, который возникает в момент созерцания правды».

Свою лепту в изучение карикатуры и шаржа на базе редкой одесской периодики начала XX века внес отдел искусств ОННБ. Напомним, что в 1998 году библиотека выпустила две книжки, которые были встречены читателями с большим интересом и быстро



стали библиографической редкостью. Это материалы к выставке «Вся Одесса в шаржах Линского», где впервые удалось собрать более ста оригинальных рисунков талантливого много одаренного художника и «выловить» из старой периодики редкие материалы о его жизни и творчестве. Миниатюрное издание «Одесский журнал «Крокодил» и его авторы» представил избранные страницы из одесского издания 1911-1912 гг., насыщенного не только юмористическими рассказами и стихами, но и замечательными рисунками талантливых одесских мальчишек, выросших затем в известных художников-графиков. Радует, что эти книги постоянно востребованы исследователями и уже не раз пригодились в их работе. Благодаря постоянным публикациям в альманахе «Дерибасовская – Ришельевская» была составлена антология по страницам старой одесской периодики «Благоухающий пепел» (Одесса, 2009), где почетное место также отведено карикатуре и шаржу.

Путешествие

336 **Феликс Кохрихт**
Landshut – баварская шляпа

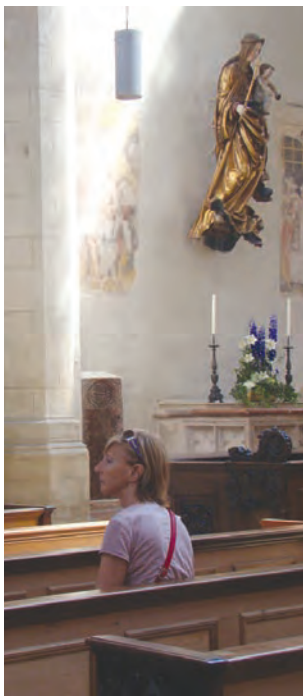
341 **Евгений Деменок**
Ганг

Феликс Кохрихт

Landshut – баварская шляпа

Нынешняя Федеративная Республика Германия – впечатляющий пример современного мощного государства, которое населяют представители хотя и одного этноса, но раннее принадлежавшие к разным государствам, говорящие хотя и на одном языке, но на его различных диалектах, обладающих различной ментальностью. Более того – исторической памятью: не в таком

Hugendubel



уж и далеком прошлом разные княжества, курфюрства и даже королевства, случалось, входили в разные коалиции и даже сражались друг против друга. В первый раз Германия объединилась в 1871 году – каких-то 146 лет назад.

Разумеется, сегодня основные противоречия исчезли, но различия все же остались, в основном в языковой области (произношение), ментальной, фольклорной, гастрономической и, наконец, в анекдотической, если так можно выразиться, сфере, что ярче всего проявляется в провинции.

О том, как протекает жизнь в немецких небольших городах, чем она отличается от ритмов, обычаев и тенденций в земельных столицах, и тем более – других регионах ФРГ, мы уже несколько лет рассказываем в своих заметках. В прошлом номере альманаха героем повествования был Майсен – один из самых знаменитых городов не только Федеральной земли Саксонии, но и всей страны.

Итак, на сей раз – провинциальная Бавария. Мы уже много лет не только путешествуем по этой самой крупной земле ФРГ, но и какое-то время жили здесь, причем в разные периоды новейшей истории – в послевоенные годы, во времена двух немецких государств – ГДР и ФРГ, и сегодня, когда страна в новь едина. 3 сентября 1990 года мы вместе с немецкими друзьями участвовали в посадке памятной рощи в честь объединения ФРГ и ГДР в одно государство. Случилось это в маленьком южном баварском городке Фельдкирхен-Вестергам, вблизи Мюнхена, куда мы привезли одесских джазовых музыкантов и художников на творческие встречи с их немецкими коллегами. Недавно мы побывали в северо-восточном регионе этой федеральной земли – в городе Ландсхут. Знаменательно, что он гораздо раньше, чем Мюнхен,

побывал в статусе столицы Баварии – в то время, когда здесь правил могучий род князей Виттельсбахов. Именно они и возвели над Изаром мощную крепость Траусниц, в которой сегодня снимаются голливудские исторические блокбастеры. От ее стен начинается красочное действо – Большая ландсхутская свадьба, полюбоваться на которое приезжают туристы из многих стран.

Особый статус города, основанного в 1204 году, отражен и в его имени – Ландсхут, что можно толковать и как Шляпа страны, и, как поскромнее, Шляпа Баварии.

В Германии множество превосходно сохранившихся провинциальных городков, которые претендуют на статус «самых» – в той или иной номинации, но официально получают его далеко не все. Так вот, Ландсхут признан не только самым красивым, но и единственным в стране, в котором гармонично соседствуют постройки двух великих периодов в градостроении – Средневековья и Ренессанса. И в этом мы убедились сразу же, как только вышли из здания вокзала и отправились к крепости.

Мы привыкли, что суровое Средневековье и праздничный Ренессанс находятся в историческом и эстетическом противоречии и уж никак не составляют пример гармонии, но в Ландсхуте готические дома и ренессансные дворцы являют единый архитектурный и ландшафтный ансамбль, удостоенный статуса памятника ЮНЕСКО.

Вряд ли снимки, сделанные нами – любителями, передадут этот неожиданный феноменальный эффект, но, поверьте, и работы известных фотохудожников не в полной мере будут ему соответствовать. Полагаем, что ощутить его в полной мере можно, лишь окунувшись в жизнь, неторопливо текущую на улицах и в домах Ландсхута, который знаменит еще и тем, что здесь побывал во время странствий легендарный миннезингер Тангейзер – герой оперы Рихарда Вагнера, ставшей символом немецкого романтизма.

Удивительным образом некий флер воспоминаний о далеком прошлом, некая романтическая приподнятость присущи… Нет, вовсе не всем жителям старинного города, а лишь их прекрасной половине. В то время когда деловитые и надежные мужчины Ландсхута собираются по вечерам в пивных – уменьшенных

копиях легендарного прототипа мюнхенского многозального Хофбройхауса, молодые женщины и вовсе барышни безотказно несут им славное баварское бочковое пиво. Они разительно отличаются от столичных колежанок – и более изящной статью, и умеренной корпулентностью, что позволяет им принести за раз не 8-10 маасов (литровых кружек толстого стекла) с Вайсес (дивного пшеничного!), а лишь 4-6, что никак не нервирует постоянных посетителей, а дает им еще одну возможность полюбоваться землячками, чьи прапрабабушки пленили мужественного и сладкоголосого Тангейзера.

Что до местной кухни, то она – типичная баварская: сытная, питательная, несколько грубоватая, но, во-первых, как говорила моя бабушка, приготовлена на чистом коровьем масле, а во-вторых, недорогая, как и все в провинции… Порции огромные, и по блюду на человека (в том числе и на ребенка) заказывают разве что коренные жители и японцы. Перечислять меню

не стану: оно лаконично, как сосиска, и необъятно, как жареная кабанья нога…

Из пивной мы неторопливо отправились к собору Святого Мартина, который, как и весь город, обладает статусом «самого». Его колокольня в 133 метра признана самым высоким сооружением подобного рода, созданным из кирпича.

Баварские католики, в отличие от прихожан других традиционных конфессий, населяющих Германию, приходят в храмы не только по большим праздникам, но и в будние дни. В церквах Ландсхута мы старались не тревожить молящихся, среди которых были и молодые люди. Впрочем, это, как и по всей Германии, нынче присуще только провинции…

И напоследок – два анекдота на одну излюбленную в Германии тему – о Пиве. (Именно – с большой буквы.)

Вот услышанный в саксонском Майсене.

Экскурсионный автобус приближается к культовому мюнхенскому пивному ресторану, из окон которого доносятся громкие рулады духового оркестра и голоса подпевающих ему завсегдатаев. Экскурсовод объявляет: «Сейчас мы будем проезжать мимо самого знаменитого места Баварии – Хофбройхауса!». И тут же раздается голос гостя столицы – саксонца: «А почему, собственно, обязательно – мимо?».

А вот тот, который нам рассказали в баварском Ландсхуте.

Богобоязненную старушку, которая за всю долгую жизнь не пила спиртного, наконец-то уговорили попробовать пиво. Она сделала маленький глоток и после долгого раздумья сказала: «Странно, но этот напиток так напоминает мне вкус лекарства, которое уже лет тридцать принимает мой муж, разумеется, по совету врачей…».

Не правда ли, в капле пива отражается разница в ментальности провинциалов двух соседних общностей одной страны. Практичность и быстрота реакции саксонцев и мечтательность и склонность к раздумьям баварцев.

Впрочем – бывает и совсем наоборот.

Фото автора и Татьяны Вербицкой

Евгений Деменок

Ганг

– Индия – это сердце мира. Ее контур напоминает сердце. Поэтому сюда и приезжают те, кто хочет развить свою духовность. А Америка – это желудок мира. Вы посмотрите на карту. Их интересуют только деньги.

Зрелая блондинка Света уверенно откинулась на спинку стула.

– Мы собираемся ехать на север, в Ришикеш. Будем заниматься йогой, – сказала Анжела, стройная юная брюнетка, не отпуская руки своего такого же юного мужа. – Мы сегодня купили очень красивую ткань для костюмов, в которых будем заниматься. Решили сшить себе одинаковые костюмы, у нас же медовый месяц!

Группа из десяти человек сидела во дворике отеля «Madhuban» в Джайпуре и обсуждала свои планы, резко изменившиеся после того, как гид и проводник Валера доказал свою полную несостоятельность. Решили разрабатывать маршрут самостоятельно, друг друга не держаться, разве что в Агру ехать всем вместе.

– Так ты за этим сюда приехал и меня притащил? – раздраженно спросила София у Питера уже в номере. – Развивать свою духовность вместе с пергидрольными блондинками? Скажи еще, что мы завтра тоже поедем выбирать ткань для костюмов.

– Соня, не передергивай. Я не собираюсь ни к чему тебя принуждать. Но в Ришикеш поехать хочу. А там и до резиденции далай-ламы недалеко.

Он почему-то боялся сказать ей, что приехал в Индию потому, что давно зашел в тупик в поисках себя. Себя, смысла, пути движения. Боялся, поэтому уговаривал ее поехать

за экзотикой. Которой пока никак не наблюдалось – дорога из Дели в Джайпур в точности напоминала дорогу из Херсона в Николаев, а джайпурский автовокзал, на который привез их поначалу гид Валера, невозможно было вспоминать без содрогания. Мало кому понравится, когда голодные дети зубами грызут стекло автомобиля, а их родители стаскивают в это время с крыши твой чемодан.

Агра оказалась ужасной. Еще в Джайпуре водитель тук-тука – это первые друзья и собеседники любого туриста в Индии – предупреждал, что в Агре преимущественно мусульманское население, поэтому там грязно. То, что где-то может быть грязнее, чем в Джайпуре, Питер и София не могли себе представить. Водитель, однако, оказался прав.

Тадж-Махал скрасил впечатление, но тоже оказался отнюдь не таким красивым, как на картинках. Выйти же оттуда без сувениров оказалось невозможным – наглые загорелые до черноты мальчишки не отпускали до последнего. Казалось, они просто издеваются над большими белыми людьми.

После Агры они остались вчетвером – Питер с Софией и Игорь с Наташей. Друзья, художники.

Маршрут в Ришикеш был таков. Поездом из Агры в Дели, там пересадка на другой поезд, идущий в Харидвар, а уже оттуда – машиной в Ришикеш. Билет в вагон первого класса с кондиционером взяли заранее. Однако в день отъезда водитель тук-тука, ставший уже приятелем, выпив по традиции бутылку рома перед поездкой, сказал:

– Сегодня туман. Ваш поезд задержится часа на четыре. А может, и на шесть.

Никакого тумана Питер с Софией не заметили и потому сочли слова водителя неудачной шуткой. Тем более что ехать до Дели было всего два часа, стыковка была довольно короткой, и любое опоздание поезда ставило под угрозу всю поездку.

Вокзал в Агре напоминал цыганский табор. Прямо на перроне лежали и ели целые индийские семьи, многие мужчины – прямо в костюмах и галстуках. Завидев белых, на друзей набросились появившиеся словно из-под земли дети. Игорь взял оборону – важно было сохранить багаж.

Питер вышел в центральный зал. На табло с расписанием появилась надпись о том, что их поезд опаздывает на два часа.

– Черт, – выругался вполголоса Питер.

– Если вам понадобится помощь, обращайтесь, – скупо бросил невысокий индус, подпиравший колонну. Он ковырялся палочкой в зубах и производил впечатление человека, который решает вопросы.

Питер презрительно окинул его взглядом и направился к перрону.

– Я буду на этом же месте, – негромко сказал индус.

Когда Питер вышел на перрон, он увидел прибывающий поезд из Бомбея, опоздавший на восемь часов. Друзья увидели вагон первого класса, из окон и дверей которого гроздьями свисали люди. Одни выпрыгивали из поезда прямо на ходу, другие на ходу же забрасывали в него свой багаж. Все напоминало кадры из фильма «Ташкент – город хлебный», который он видел в детстве.

Ужас отразился на лице Софии.

– Подождите минуточку, – сказал Питер и быстрым шагом направился в центральный зал.

Индус был на том же месте. На табло изменилось время задержки – теперь уже четыре часа.

– Нам нужно попасть в Харидвар. И у нас пропадают билеты на поезд.

Индус оживился.

– Значит, так. Идемте со мной, сначала вернем в кассе ваши деньги. После этого поедем к моему другу, он организует вам поездку.

Все вместе заняло полчаса – заполнение форм на возврат денег на хинди, поездка к другу в маленькую затхлую комнатку, где пахло сыростью – как почти везде в Индии, а на экране допотопного телевизора бесконечно танцевали и пели бессмертные герои индийских мелодрам. Наконец приехал джип.

– Поедете с комфортом, – сказал человек, решающий вопросы. – Вот вам подтверждение вашей оплаты.

Он отдал Питеру клочок бумаги, на котором была нацарапана сумма и написан телефон.

– Этот номер – на всякий случай. Наш человек будет ждать вас на автовокзале в Дели, там пересядете на другой джип. Если его вдруг не будет, позвоните по этому номеру.

– И это все? – недоуменно спросил Питер, глядя на бумажку. – А печать, подпись?

– Так вот же подпись, – индус показал Питеру едва заметную закорючку. – Этого достаточно.

Человек в Дели действительно ждал. Питер так и не понял, приснилось ли ему, или было правдой то, что он увидел на автовокзале, – ночь, под мостом в пыли рядами лежат сотни мумий, замотанных с ног до головы в белые простыни.

Потом оказалось, что это были живые люди, устроившиеся на ночлег.

В Харидвар приехали на рассвете. Заселились в отель, упали спать. Часа через два Питер проснулся – ему не терпелось увидеть город.

Над городом властвовал Ганг.

Ганг поразил Питера с первой минуты. Его мощное стремительное течение завораживало, унося с собой. Вдоль всей набережной Харидвара из воды выглядывали железные прутья – подобие ограды, которая казалась слишком ненадежной. В других местах вместо прутьев были железные цепи. Их предназначение Питер понял, увидев мужчин и женщин, с головой погружавшихся в воду священной реки на каменных ступенях гхата Хаар-Ки-Паури. Совершая омовение, они крепко держались за прутья, как за поручни, – не будь их, течение снесло бы в секунду.

Как они могут спать, когда рядом такое?

Он бросился назад в гостиницу – будить Софию и друзей.

За завтраком он ежеминутно подгонял их. Наконец все вышли на улицу, оттуда – на набережную.

Ганг поразил всех.

Друзья пошли по гхату, не переставая удивляться обилию паломников, совершающих омовение, и пытаясь их фотографировать. После нескольких возмущенных взглядов они оставили эту затею.

Чуть выше по реке, за поворотом, течение было не таким сильным. Прямо в воде стояли фигурки святых. Разноцветные, разной

высоты, они напоминали плохо сделанных кукол; некоторые, впрочем, были маленькими шедеврами.

Над рекой парила гигантская синяя фигура Шивы. Ее было видно из любой точки города. Питер быстро пошел к ней, София и друзья пустились вдогонку. Шива отстраненно улыбался; его улыбка напоминала улыбку Джоконды. В левой руке его была тришула, над головой – полумесяц, появившийся после того, как Шива пропустил через свои волосы бурные воды Ганги. Через плечо была перекинута тигровая шкура, а шею, руки и ноги, словно браслеты, опоясывали кобры.

Питер спустился к реке, сел у воды, которая была в этом месте совсем тихой, и погрузился в себя. Границы его «я» стали размытыми, нечеткими, словно Ганг растворил его в себе. Такое бывало в его жизни несколько раз, и каждый раз состояние это было таким сладостным, что из него не хотелось выходить. Время исчезало, пространство не имело значения, а все волнения и страхи исчезали совершенно во всепоглощающем состоянии единства со всем миром.

Друзья ждали его больше часа; наконец он услышал их голоса и нехотя поддался уговорам пойти гулять по городу. Пройдя обратно по гхату, вышли на центральную улицу; поднялись вверх на фуникулере к храму Манса Деви, кормили фруктами обезьян; потом спустились вниз, зашли в несколько ашрамов, довольно чистых и аккуратных; в очередной раз подивились тому, как хозяева кафе моют посуду в грязных тазах, стоящих на земле; вода по тонкому шлангу насосом подавалась прямо из реки. Рядом стирали белье, выжимая его и затем выбивая прямо о землю. Коровы и небольшие поджарые свиньи жевали лежавшие на земле газеты; посредине моста под палящим солнцем спал мужчина, ноги его мешали проезжавшим мимо автомобилям и велосипедистам, которые, однако, спокойно объезжали их, не желая тревожить его сон. И все же Харидвар был удивительно чистым, особенно после Агры – Питер увидел даже, как владелец лавки со сладостями сметал самодельным веником пыль перед ее входом. После Раджастана – невиданное зрелище.

Первый опыт отрешения от действительности случился у Питера в школьные годы. Он много читал тогда о дзене, мгновенном

просветлении – сатори, мечтал попасть в буддийский монастырь, чтобы в медитации или при работе над коанами достичь просветления. Все случилось совершенно неожиданно – родители в очередной раз громко ссорились, Петя безуспешно пытался не замечать этого, и вдруг – слезы потекли из его глаз, весь мир показался прекрасным, прекрасными показались и люди – все без исключения. Ничто не могло омрачить этого ощущения всепоглощающего счастья и наполненности. Питеру казалось, что это состояние длилось долго, очень долго; позже он понял, что прошло не больше пятнадцати минут, но время – величина условная, если оно, впрочем, вообще существует. Потом за годы занятий йогой он переживал несколько подобных моментов, когда время останавливалось, мысли останавливались вместе с ним, все вокруг становилось понятным, прозрачным и очевидным, и даже находившиеся рядом люди не могли помешать его радостному созерцанию.

Вечером опять гуляли у реки. Закат – время для пуджа и Ганга-аарти, церемонии подношения даров богине Ганге. За двадцать рупий можно купить корзинку из листьев банана со свечой и цветами внутри и аккуратно, так, чтобы вода не перевернула ее, опустить ее в Гангу. Свечи быстро уносило течением, их было так много, что вся река напоминала торжественную процессию. София была в восторге. Она прижалась к Питеру, и они долго стояли, любуясь светом и его отражениями в воде. Питер заметил мальчика, с любопытством наблюдающего за ними, – он держался немного в стороне, у деревьев, но следовал за ними неотступно. Наконец решили идти домой – утром выезжать в Ришикеш, нужно собраться и отдохнуть. Питер ждал, когда мальчик попросит денег, и по привычке, быстро появляющейся у белого человека в Индии, полез было в карман – но мальчик, увидев, что они уходят, сам развернулся и пошел в другую сторону.

– Постой, – окликнул его Питер. – Разве ты не хочешь денег?

– Нет, сэр, – ответил тот.

– Тем более возьми – за вежливость.

Питер протянул ему купюру, мальчик взял ее, внимательно посмотрел на Питера почти черными глазами, сдержанно кивнул.

Игорь и Наташа уже нашли офис фирмы, предлагавшей экскурсии и трансферы. Впереди – Ришикеш.

Рано утром на подержанном такси выехали на север. Двадцать километров проехали меньше чем за час. Горы становились все выше; наконец въехали в узкую долину у Ганга, по обоим берегам которого вытянулся город. Подвесной мост, поворот налево, вверх, и наконец – несколько отелей, совершенно европейского вида кафе и – о чудо! – немецкая пекарня. Неслыханное для Индии дело.

На узкой полоске земли у подножия гор сгрудились отели и кафе. «Hill Top Swiss Cottage» был заполнен европейцами, израильтянами и японками. В скромном, но чистом номере был большой балкон с видом на горы. Питер вышел на него, сел на стул и задумался. К действительности его вернул голос Софии:

– Через полчаса внизу урок йоги, мы с Наташей пойдем.

– А Игорь?

– Вроде остается в номере.

– Тогда мы с ним пойдем в кафе, а вы присоединяйтесь к нам.

Через десять минут они уже сидели с Игорем в кафе. Вид с террасы на Ганг был прекрасным, а меню многообещающим – в нем были даже хумус и салат табуле. На поверку ничего этого не оказалось, но порыв хозяев был благородным.

В конце концов взяли пасту и уткнулись в планшеты. Рядом тем же занимались израильтяне и итальянцы.

– Ты видел новое интервью с Савадовым? – спросил Игорь.

– Нет. Не особо его люблю, особенно после «Книги мертвых». Да и живопись не моя, по-моему, она декоративная и слабая.

– Энергетически он очень мощная личность. И задает тренды. Пробует границы дозволенного и иногда переступает их.

– Пусть переступает без меня. Но дай посмотреть.

Питер просмотрел наискосок ответы на вопросы о выставках в Нью-Йорке, Лондоне и Москве, уже внимательнее прочел ответ о том, что происходит в современном искусстве, – тем более Савадов цитировал там Сережу Ануфриева, – и завис на последнем абзаце.

– Что там? – спросил Игорь.

– Отвечает на вопрос о своей задаче в искусстве. Послушай:

«Мы озадачены совершенством. Но себя не обманешь, чтобы быть – произведение должно быть личным. Перефразируя Марселя Пруста: в искусстве нельзя быть лучше другого, можно лишь открыть себя. Хотя этот вариант трагичен, страшно же: а вдруг там ничего нет».

– Лихо, – сказал Игорь.

– Да уж, – ответил Питер.

Он боялся этого больше всего. Того, что поиски себя могут привести к пониманию того, что внутри – ничего нет.

Подошли София с Наташей. Все заказали масала-чай.

– Как тебе Ришикеш, Петя? Какие впечатления? – спросила Наташа. – По-моему, огромный контраст с Агрой и Джайпуром.

– Я наконец счастлив, – ответил Питер. – Я увидел ту Индию, о которой читал и мечтал. Великие учения рождаются среди великих пейзажей. Я здесь хочу попробовать закопаться в себя, понять, кто я такой. Может быть, получится найти то уникальное зерно, из которого выросла моя личность. Надеюсь, я найду его, а не пустоту, о которой говорит Савадов.

Игорь улыбнулся.

– Так что, ты пойдешь с нами утром на йогу? Искать свое зерно? – спросила Наташа.

– Ну ладно, пойду, – ответил Питер. – А потом мы хотим пойти в ашрам «Битлз». Да, Соня? Он уже давно закрыт и заброшен, но, говорят, за небольшую плату сторож пускает внутрь, а энергетика там потрясающая. А вы?

– Будем тупить. Устали. Наверное, сходим на массаж.

– Я видела объявление – тут можно пойти с проводником на трекинг в горы. Завтра им позвоню, – сказала София.

– Отлично, – сказал Питер. – Ну что, пойдем к себе? Хочу немного поработать.

Утром после йоги позавтракали, спустились к реке. Ашрам «Битлз» был на другом берегу. Рядом с подвесным мостом Рам-Джула на небольшом базаре продавали одежду и сувениры. Пройти мимо было сложно, и София купила себе сарафан и – для Питера – длинную индийскую рубаху. Потом не смогли пройти мимо кукурузы. Хорошо, что после этого осталось совсем немного рупий.

Невысокие индийские коровы прогуливались вдоль лотков, разглядывая товар. Ничего съедобного на лотках не было, зато оно было в руках у Питера. Светло-бежевая корова подошла к нему и потерлась о ноги.

– Муся, – сказал он, поглаживая ее по теплому боку.

Муся выхватила у него из рук теплый кочан и моментально проглотила.

– Помнишь, как в Харидваре корова съела весь лук с лотка с овощами, пока хозяин отлучился? – с улыбкой спросила София.

Конечно, он помнил. Пора было идти.

Мост Рам-Джула немного шатался под весом пешеходов. Внизу стремительно нес свои воды Ганг.

На другом берегу было оживленнее. Многочисленные садху в оранжевых одеждах сидели под деревьями и на каменных скамьях. Каждый из них занимался чем-то своим. Кто-то негромко читал вслух священные тексты, кто-то важно курил глиняную трубку, несколько человек тщательно выводили в огромных тетрадях все известные им буквы. Остальные просто сидели с торжественным видом, ожидая милостыни. Вокруг прыгали обезьяны. На одной из каменных скамей меланхолично стояла корова.

Миновав череду лавок и магазинчиков, Питер и София подошли к самому красивому ашраму Ришикеша – Парматх-Никетану. На ступенях у воды сидело множество босых людей, преимущественно белых. В индийские храмы нужно входить босиком. Питер с Софией тоже посидели у воды, прошли под аркой с колесницей Кришны и вошли во двор ашрама. В зелени деревьев утопали беседки, в каждой из которых находились цветные скульптуры, по которым можно было изучать индуизм. Особенно запомнился Хануман, разрывающий свою грудь, внутри которой улыбались Сита и Рама.

София потянула Питера в столовую. Там почему-то пахло хлоркой.

– Ну что, пойдем к «Битлам»? – нетерпеливо спросил Питер.

Ашрам «Битлз» был дальше, вдоль по течению Ганга, за ашрамом Вед-Никетан. На него указывала стрелка на деревянном столбике. Рядом на стене красовался указатель: «Last chance cafe».

– Многообещающее название, – сказала София.

Вокруг почти никого не было. Наконец навстречу вышли две молодые англичанки.

– Скажите, мы идем правильно? Ашрам «Битлз» впереди? – спросила у них София.

– Да, еще немного. Там железные ворота на замке, сторож рядом, постучите или покричите. Он впустит вас за пятьдесят рупий.

Сторожа пришлось звать минут десять. Когда он открыл ворота, на лице его отразилось неприкрытое изумление.

– Вы, наверное, из Японии? – спросил он Софию.

– Нет, а почему вы так решили?

– У вас такие замечательные рыжие волосы! Японки любят красить волосы в яркие цвета.

Питер и София с улыбкой переглянулись, и Питер протянул сторожу пятьдесят рупий.

– Это за одного, – сказал сторож.

Пришлось доплатить, но это того стоило – впереди были настоящие джунгли.

– Помнишь фильм Брайана Кокса о том, как природа отвоевывает свое у цивилизации, и хаос приходит на смену порядку? – спросила София.

Конечно, Питер его помнил.

Ашрам Махариши Махеш Йоги закрылся в 1984 году. С тех пор природа год за годом возвращала свои позиции.

Трудно представить, что ашрам был когда-то самым комфортным в округе, а может, и во всей Индии, домики для медитации были не только кондиционированы, в них даже было отопление, а на территории была своя вертолетная площадка. Хотя – почему трудно? К тому моменту, как в Ришикеш приехали «Битлз», во всем мире трансцендентальной медитацией занималось больше миллиона человек. После этого ашрам разрастался еще почти двадцать лет. Теперь основные его обитатели – обезьяны и пауки.

Питер с Софией шли по дорожкам, остатки асфальта на которых давно уже были взломаны травой и кустами, и разглядывали разбросанные по всей территории ашрама диковин-

ные каменные яйца – домики для медитаций. Практикующие жили на первом этаже цилиндрообразного дома и медитировали на его крыше в яйцеобразной келье. Двух-, трех- и четырехэтажные гостиничные корпуса – одни совсем простые, другие с диковинной каменной резьбой – заросли почти полностью. Одно из зданий показалось менее заросшим и более безопасным; Питер и София осторожно поднялись по бетонной лестнице пустого дома на крышу, подошли к ее краю и сели, свесив вниз ноги. Вокруг не было совершенно никого и царила почти абсолютная тишина, нарушаемая только редким пением птиц и глухим мощным шумом Ганга.

Когда-то этот дом был полон послушников, учеников и просто туристов, сейчас был пуст и заброшен, но атмосфера чего-то неуловимо приятного и даже величественного сохранилась до сих пор. Махариши выбрал отличное место для ашрама. Сложно придумать что-то лучше – ашрам утопал в зелени, высокие деревья давали тень и прохладу. Предгорья Гималаев смотрели прямо на тебя, а Ганг, великий и быстрый Ганг, делал в этом месте поворот, воды его шумели, перекатывая камни и блестя на солнце. Солнце словно играло с водой, и вода, радуясь этому, переливалась и резвилась, устраивая тот праздник, который пузырьки устраивают в бокале с шампанским.

Питер сидел на крыше заброшенного дома, и ему никуда больше не хотелось идти. Не хотелось вставать и даже двигаться. Время снова исчезло. Мысли были четкими и прозрачными. Они лились одна за другой, словно воды Ганга. Он ощущал себя. Ощущал единство с этим местом. А через него – со всем миром, в котором есть великие горы и океаны, реки и пустыни. Он был с ними одним целым и не хотел возвращаться в себя, в свое «я». Состояние блаженства наполнило его, он не хотел его потерять, но оно не удержалось, постепенно ослабело, и Питер стал думать о том, кто же он такой и что есть его «я». Мысли текли плавно, ничто не преграждало им путь – ни рефлексия, ни сомнение. Через несколько минут Питер понял, что его «я» – это просто совокупность знаний, воспоминаний и впечатлений, накопленных им за прожитую жизнь, и что меняться его «я» будет лишь потому, что накопятся новые воспоминания и впечатления. Табула

раса. Чистый лист. Он был чистым листом при рождении. Как Питер ни старался, он не мог нащупать, почувствовать в себе ту вечную, вневременную, бессмертную основу, о которой он так много читал. То самое зерно. У него не было жесткого диска. Только оперативная память.

Больше всего Питер удивился тому, что это открытие его не огорчило. Ну что же, если он – просто сгусток воспоминаний? Так тому и быть, и он ничего не может с этим поделать. Он может лишь постараться сделать так, чтобы новые впечатления, которые станут потом воспоминаниями, стали как можно более радостными и интересными.

София сидела рядом и тоже была погружена в свои мысли. Питер удивился тому, что она молчит уже больше часа и никуда не тянет его, не просит уйти из этого заброшенного места, а она ведь не любит такие места. София любит общество, бурление жизни – и, конечно же, комфорт. А индийский комфорт не совсем соответствовал ее ожиданиям.

И тем не менее, она молча сидела на крыше заброшенного дома и никак не выказывала недовольства или нетерпения. «Неужели она что-то почувствовала? – подумал Питер. – Неужели и ее проняло?»

Наконец София прервала молчание.

– Милый, это просто райское место. Мне очень хорошо тут. Не хочется отсюда уходить, правда?

Питер обнял ее.

Сумерки пришли незаметно. Пора было выбираться из джунглей ашрама. Ворота оказались закрытыми, пришлось долго звать и искать сторожа. Как только Питер и София вышли за ворота из тени деревьев, света вокруг стало ощутимо больше.

Красное солнце уходило за горизонт, отражаясь в воде.

Они шли обратно по набережной и любовались закатом. Прямо у реки очередной гуру в белоснежных одеждах позировал для ролика с проповедью своего учения. Время для съемок выбрали самое что ни на есть удачное – отраженный в воде свет заходящего солнца освещал гуру розовым светом. Снимали сразу на три камеры – один из операторов лежал у ног проповедника, снимая

его снизу, двое других ловили каждое слово, стоя с разных сторон. Чуть дальше с рекламного щита на прохожих строго и проникновенно смотрел его конкурент.

– По-моему, в Индии каждый может основать свое учение и стать святым, – сказала София.

– И ученики всегда найдутся, – продолжил Питер.

– Главное – отпустить бороду. Без бороды учеников не найдешь.

– Ты знаешь, я видел на борде одного без бороды. Правда, выглядел он очень подозрительно, – с улыбкой сказал Питер.

– Ты не хочешь попробовать? – шутливо спросила София. – Бороду отпустить я тебе, так уж и быть, разрешу.

Питер хмыкнул и замолчал.

У Парматх-Никетана на ступенях собралась огромная толпа. Было время пуджа. Послушники зажгли священный огонь, а затем сотни людей опустили в реку тарелочки с лепестками цветов и свечами на них.

Через час Питер с Софией пришли в отель.

– Я посижу на балконе, – сказал Питер.

– Хорошо, я пока зайду к ребятам, – ответила София.

Когда она вернулась, он по-прежнему сидел на балконе. Из темноты, в которой прятались деревья, время от времени раздавались странные, пугающие звуки. Внезапно один прозвучал совсем близко. София вздрогнула, Питер даже не шелохнулся.

– Милый, что случилось? Ты был таким веселым…

– Ты не поймешь.

– Спасибо, ты всегда был обо мне высокого мнения. И все же?

– Савадов был прав. Там, внутри, ничего нет. И это страшно. Еще страшнее то, что пустым могу быть только я, а, например, у тебя внутри – бездна оригинальной мудрости.

– Конечно. Так и есть. Разве ты не знал? – ответила серьезно София и, взглянув на вытянувшееся Петино лицо, громко рассмеялась.

Где-то недалеко что-то ухнуло еще громче.

– Дурачок. Завтра мы пойдем в горы, на трекинг. А сейчас – иди ко мне и отбрось свои глупые мысли. Будем заполнять твою пустоту, – сказала София и взяла Питера за руку.

Они зашли в комнату, плотно закрыли балконную дверь. В комнате пахло чем-то сладким – типично индийский запах. София села на кровать, потянула Питера к себе, потом резко опрокинулась на спину. Он лежал сверху и смеялся.

– Я же говорила – дурачок.

– Только не говори ребятам. Пожалуйста.

– О том, что мы занимались любовью?

– Ты знаешь, о чем.

– Я подумаю, – ответила София. – Выключи свет.

Ах, Одесса

356 **Александр Чоклин**
Эмигранты

363 **Виктория Коритнянская**
История, о том, как 154 раза прабабка Кнопки спасла честь графини Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой

365 **Ася Зиневич**
Колобок

368 **Леонид Зац**
Гарик

370 **Григорий Редько**
Зарисовки

Александр Чоклин

Эмигранты

Ну что еще нового можно написать об эмигрантах? Уже все писано-переписано, сказано-пересказано. Вспомните эмигрантскую классику – удивительного генерала Чарноту, похождения «непотопляемого графа» Невзорова, свирепого злодея Хаджет-Лаше, героев Тэффи, Амфитеатрова, Алексея Толстого, незабвенные строчки Ходасевича, Поплавского, Георгия Иванова, Гиппиус, Бунина, Набокова, потрясающие дневники белых генералов. А сколько замечательных эмигрантов покоятся на Сен-Женевьев-де-Буа или Пер-Лашез в Париже, Сан-Микеле во Флоренции, в святой иерусалимской земле! А «корабль философов», Куприн, Бродский, Ростропович, Барышников? Суперэмигранты. Какие имена, какие люди! Ну что можно интересного сказать на эту тему после Сергея Довлатова, Дины Рубиной, Игоря Губермана?

И все же у многих из нас, ветеранов «большого заезда» конца восьмидесятых – начала девяностых годов, сохранились свои грустные, печальные, смешные, крученые, мудреные истории, байки, анекдоты, придумки и «мишигасы». Когда-нибудь найдутся и из наших рядов правдолюбцы, жизнеписатели и фантазеры, которые пустят гулять по свету новых Невзоровых, Налымовых, Адольфов Задеров и Чарнот. Еще ждет своего летописца дорогой нашему сердцу Брайтон-Бич. Еще скажут незабываемые слова про горячие пирожки из «Интернешенала», про книжки от Камкина, про «Распутина» и «Сандуны». Про магазин «Моня и Миша». Уверен, эмиграция настолько непостижимая штука, что у каждого второго найдется свое заветное воспоминание, которым не стыдно поделиться за бокальчиком «Балтики № 9» и морским салатиком в «Татьяне» или дивными ребрышками молодого барашка в «Апшероне».

Единственно, на что я претендую в этой своей эмигрантской картинке, это то, что она совершенно невероятна и абсолютно правдива. Потому и запомнилась, потому и была пересказана сыну. Он захочет – расскажет дальше, хотя кому это будет интересно еще лет эдак через двадцать?

Итак, наши приключения начались с первых же дней, когда вопреки здравому смыслу и советам знающих людей мы начали эмиграцию не как все нормальные люди, через западные Чопы и Львовы, а решили плыть из Одессы в Вену вверх по Дунаю. Думаете, веселая была речная прогулочка? Свежий ветерок, расслабуха, чудные виды, Европа, а?

Мы и еще пару десятков авантюристов плыли со стариками, малыми детками и непосильным громоздким и полуненужным скарбом на маленьком прогулочном катере на подводных крыльях. Кроватей никаких не было. Поверх сидений положили здоровенные доски, получились симпатичные колымские нары, на которых мы ночевали. Было темно, тесно, неудобно, и не всегда в такой спартанской обстановке можно было нащупать именно свою жену. Но это было еще полбеды. Хуже, что (миль пардон) туалетик был на катере только один, и если кто-то на катере съедал что-то «второй свежести», об этом знал весь катер. Вторые полбеды была лишняя пара-тройка румыно-болгарско-австрийских таможен, которые быстренько превратили наши дембельские чемоданчики в состояние незакрываемое и неописуемое.

Но винить было некого. Сами напросились. При всем при том успевали и на дунайские волны поглядеть, и вальс «Дунайские волны» помурлыкать. Для многих – первая заграница, разевали варежку и глядели по сторонам, Европа жеж!

Вена. Рано утром привезли нас на неближнюю окраину, в Богом забытый мотельчик. Он неслабо напоминал Хиросиму через несколько дней после того как. Все, что можно было сломать, скрутить, снять, сцапать, стырить, с...издить – было так и сделано предыдущими волнами нашего брата-эмигранта. Но хозяйка мотеля стойко переносила все тяготы, расходы и неудобства, ибо за них ей, видимо, нехило платили щедрые еврейские организации, вроде ХИАСа, дай им Бог здоровья. Она уже ничему не удивлялась, да и как добрая душа, похоже, сочувствовала нашему несладкому эмигрантскому раскладу.

Вот о хозяйке немного поподробнее, ибо она чуть попозже стала главной героиней этой истории. Хорошо сохранившаяся дама «околозабальзаковского» возраста, элегантно одевавшаяся и все еще вполне аппетитная, как позже выяснилось, была некогда прима-балериной венского балета. Она объездила полмира, всюду бывала, много и многих знавала и коротала ранний пенсионный век на благодатной ниве отельчиков и мотельчиков. Звали ее Эдит Лейрер. Эдит, если ты жива, прими еще раз наше искреннее эмигрантское «Thank you very much!». Как и большинство австрияков, она отлично говорила по-английски и довольно быстро вычислила нас с женой как сносно изъясняющихся на этом же языке. Мы нередко болтали с ней в свободное от неотложных эмигрантских дел времечко. Про что может говорить венская прима-балерина, хотя и бывшая, с парой полусумасшедших от забот и непонятной будущности эмигрантов? О жизни, конечно.

Мы подружились, насколько это было в той обстановке возможно. Она была рассудительная, не кичливая и много повидавшая жизнь европейская дама. За ней на красном спортивном «феррари» часто заезжал Оскар, по-нашему – ейный «бойфренд». Он до того был высок, элегантен, загорел и седовлас, что наши наиболее чувствительные одесские дамы начинали без нужды суетиться, прихорашиваться, и вообще, как говорят в Одессе, «терять лицо». Красивая была пара.

Эдит как-то раз спросила, чем она может нам помочь. Мы отвечали, что главные проблемы будут в Риме, ибо, по слухам мгновенной и безошибочной эмигрантской почты, виз в Америку больше не дают, и не известно, будут ли. Она обещала подумать. О чем? Чем она, прима-на-пенсии и хозяйка пары-тройки эмигрантских мотелей, могла помочь?

Наступил день отъезда. Мы, напрягая окрепшие от переноски и перепаковки чемоданов мышцы, впихивали в автобусный багажник расшарканный и расхристанный наш скарб. До отъезда оставалось всего пару минут, нам хотелось попрощаться с Эдит, но ее нигде не было. Вдруг во двор влетает спортивная красная. Эдит быстренько обнимает нас на прощание и сует мне клочок бумаги с именами и цифирью. «Если будет трудно, это может вам пригодиться», – на прощанье сказала она.

Трудно нам стало в Риме довольно быстро. Слухи – виз не дают. Никому. Никакие рассказы и легенды о беззаконии, жутких преследованиях, кознях власть предержащих не помогают. Август. Жара. Убогая гостиница на дальней окраине. Трехлетний пацан, старенький дедушка, всего ничего денег. Нужно искать квартиру в Риме. В курортный сезон. С нашими деньгами и с нашим знанием итальянского. Все, что мы знали на благозвучном языке Данте и Петрарки, это «Йо вольо апартаменто», – то есть «Я хочу квартиру». Все как у всех. Ну вы помните!

И тут и я вспомнил про Эдит и ее бумажку. По разгильдяйской своей натуре еле нашел ее в заднем кармане виды видавших шортов. Открыл, и мы с женой обалдели. Четко и внятно было написано – «Витторио Алессандри, министр финансов Италии», адрес и телефончик министерства. Но это было еще не все. Ниже стоял адресок посольства Португалии в Италии, имя и телефон самого «его экселленции» уважаемого посла. Оставалось только стоять и таращить глаза, что мы с женой и сделали.

Признаюсь, мы сильно огорчились от наивности Эдит и ее непонимания нашего эмигрантского момента. Ну в самом деле, при чем здесь итальянские финансы и Португалия? Визы нам нужны, туда, в Америку, а не послы с послицами.

Но вы помните: Рим, август, жара, безденежье, безнадега. Наверное, тогда от этого всего наши мозги были немного размягчены и съехали набекрень. Еще пару дней мы безрезультатно прошлялись по Риму в поисках «апартаменто». Ничего. И вот в один из таких деньков уставшие, голодные и пыльные, мы, не сговариваясь, неожиданно потащились в сторону министерства финансов на Пьяцца-дель-Джезу.

Сначала были вялые протесты с моей стороны на предмет побриться, переодеться, причепуриться и прийти завтра и не в старых шортах. Министр все-таки! Но жена с присущей ей энергией и решительностью быстро подавила бунт на корабле.

И вот она, Пьяцца-дель-Джезу, маленькая очаровательная старинная площадь. Министерство находилось в такой красоты ренессансном особняке, что моя нетвердая решимость повидать посла сейчас уже совсем ослабла. Мы даже почему-то не задавали себе простых и логичных вопросов: а есть ли финансовый

министр вообще сегодня в своем министерстве, а может, он где-то в Европах заседает на важных финансовых сходняках и тусовках? И последний, еще более простой и логичный вопрос, который у нас даже не возник: а кто мы такие, чтобы он, министр, с нами встречался, да и что мы ему скажем? Но я уже неоднократно повторялся: жара, август, жить негде, мозги набекрень.

Как известно, Бог заботится даже о самых малых овечках своих. Его волей министр оказался на месте. В прохладной приемной министерства секретарь в безукоризненном прикиде, долго и не понимая, рассматривал двух странных посетителей. Видимо, мы мало были похожи на столпов финансовой элиты, у которых могут быть дела к самому министру. Мы изрядно растерялись, но все же с помощью языка, мимики, жестов и нахальства дали понять, что у нас архиважное послание господину министру от госпожи Эдит Лейрер из Вены.

Секретарь это все записал и пошел узнавать. Мы себя в этот момент чувствовали наглыми самозванцами, совсем как знаменитые сыновья незабвенного героя революции лейтенанта Шмидта в лице Шуры Балаганова и Михаила Самуэлевича Паниковского. Мы даже слегка поспорили: нас вышвырнут так или кликнут полицию?

Опять-таки, Божья десница прикрыла нас в трудную годину. Минут через десять вернулся секретарь, сияя, как красно солнышко, и повлек нас наверх к самому министру.

Обалденный обставленный старинной мебелью кабинет. Сам министр – тоже «околозабальзаковского» возраста элегантный мужик – шел нам навстречу, широко улыбаясь. «Чем я могу быть полезен друзьям Эдит Лейрер?» Мы, потея, запинаясь и мекая, невнятно изложили суть дела. Мы, мол, очень сильно «вольйо апартаменто», и вообще, виз в Америку не дают и пить хочется.

Министр сказал, что касательно виз он не в курсе дела, не его это, мол, участок работы. А вот насчет квартиры он попробует. Теперь представьте картину маслом – министр финансов Италии и его два помощника в течение минут пятнадцати, не слезая с телефонов, ищут жилье для двух подозрительных типов-эмигрантов!

Лето, Рим, время отпусков. Ничего такого даже министр найти не смог. Это не Россия ведь. Там позвонили откуда надо – и при-

несут на блюдечке даже с голубой каемочкой. Но это, простите, Италия. И другая пикантная, но любопытная мелочь: министр после напряженных телефонных усилий говорит нам: «Сами понимаете, господа, сейчас время отпусков, с гостиницами трудно, позвоню-ка я моему другу министру внутренних дел. Он, правда, сейчас в отпуску и в данный момент играет в гольф, но мне не откажет…».

Который министр внутренних дел, «мент» по-нашему, не отказал. Нам быстро нашли свободный высшего класса номер в фешенебельном отеле «Ритц». Мы тепло поблагодарили обоих министров за заботу и ласку, но скрепя сердце отказались, сославшись на временные финансовые трудности. Не уверен, что сейчас, через столько лет, мы бы осилили мнототысячный за ночь люкс в «Ритце».

Потом секретари долго обзванивали разные департаменты на предмет финансовой нам, эмигрантам, помощи. Наконец один из них торжествующе заявил: «Господа, вы, наверное, не знаете, но есть такая беженская организация. Она вам обязательно поможет. Это ХИАС!». Мы поблагодарили, конечно, но нам ли не знать добрых дядей и теть из ХИАСА после многочасовых очередей к ним на прием? Спасибо им, великое, но больше помочь нам они уже не могли.

Мы были обласканы, напоены кофе и прохладительными напитками и провели у министра не 10 минут, как сказал вначале секретарь, а добрых полтора часа, в течение которых министр нередко и с видимым удовольствием повторял: «Ах, Эдит, ох, Эдит». На прощание он дал нам свою бизнес-карточку и еще одну, присовокупив: «Это карточка моего друга, торгового атташе США в Италии, быть может, он поможет вам с визами».

Приободренные опытом, на правах уже законных чад лейтенанта Шмидта мы на следующий день двинулись к торговому атташе США в Италии. Он тоже долго рассматривал нас и попытался выяснить, откуда мы, босяки, знаем министра финансов. На что мы небрежно заявили, что являемся близкими друзьями его близких друзей из Вены. Он записал наши фамилии и обещался нам помочь с визами, опять-таки, заявив, что это совершенно не его «field».

Мы так никогда и не узнали, помог ли он в самом деле. Прожив короткое время вместо «Ритц»-отеля в неплохой совсем квартирке в очаровательном прибрежном городке Неттуно, что под Римом, мы благополучно прошли интервью и получили визы. До португальского посла мы так и не добрались. Уже не нужно было.

Перелет вы все помните: аэропорт Леонардо да Винчи – аэропорт имени Джона Фитцджеральда из семейства Кеннеди.

Америка, вторая наша родина, раскрыла нам свои объятья.

Проста мораль этой простой, но правдивой эмигрантской истории. Конечно, не ради нас напрягался министр финансов Витторио Алессандри. Ради бывшей своей милки, пассии, зазнобы, называйте как хотите, Эдит Лейрер.

Ради памяти об очаровательной женщине, в которой, видимо, было нечто такое, что подвигло его после стольких лет помогать чужим странным полусумасшедшим людям. А мы были просто, как говорят французы, «постильон ламур» – почтальонами любви.

Можно представить, как министр финансов, играя в гольф с министром внутренних и прочих дел, с послами Португалии и разными торговыми атташе, рассказывал им смешную байку о двух сумасшедших эмигрантах с их маленькими и странными проблемами.

Но, может, закрыв глаза, он увидел рядом великолепное гибкое тело прима-балерины с той давней поры молодости. Как говорил Данте, это была «любовь, что движет солнца и светила».

О чем это я? О жизни, конечно…

Нью-Йорк

Виктория Коритнянская

История, о том, как 154 раза прабабка Кнопки спасла честь графини Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой

Из цикла «Кнопкины сказки»

– Наша 154 раза прабабка кошка Мари была любимой кошкой Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой, – начала Кнопа. – Говорят даже, что она вела свой род от кошки-француженки Жюли, которую привез из Парижа в Одессу сам герцог Ришелье. Мари жила вместе с Елизаветой Ксаверьевной в одной комнате, спала с ней в одной кровати и ела из собственной золотой миски. А еще наша прабабка была единственной, кто имел право сидеть на коленях у графа Михаила Семеновича.

По вечерам Елизавета Ксаверьевна обычно занималась рукоделием, а Мари, свернувшись клубочком у нее на коленях, принимала послеужиновый сон. И вот как-то к Елизавете Ксаверьевне стал приходить мужчина. Он был не очень красив.

– Как крыса? – испуганно перебил Кнопу Максик.

– Нет, как летучая мышь, только с ногами, – ответила Кнопа.

– И крыльями? – недоверчиво воскликнул, широко открывая глаза, Максик.

– Нет, без крыльев. Он же человек! И вообще, ты будешь слушать или нет? – строго спросила сына Кнопа. – Так вот, – лизнув несколько раз лапу, чтобы успокоиться, продолжила она, – Этот мужчина приходил к Елизавете Ксаверьевне каждый день. Он садился на стул у ее кресла и подолгу читал стихи. А однажды он стал на колени и признался ей в любви. Елизавета Ксаверьевна ахнула, но осталась сидеть на месте. И мужчина с мольбой в голосе проговорил:

– Мадам, давайте отложим вашу кошку, – при этом его руки схватили Мари за спинку и потянули к себе.

– Александр Сергеевич, голубчик, я прошу вас, оставьте Мари в покое, – томно ответила ему Елизавета Ксаверьевна, тоже схватив Мари за спинку.

– Прошу вас, прекрасная Елизавета Ксаверьевна, – молил ее мужчина, продолжая тянуть кошку.

– Помилуйте, нас может кто-нибудь увидеть… – страстным шепотом отвечала Елизавета Ксаверьевна, не выпуская из рук кошки.

– Пожалейте мою любовь, – заклинал мужчина.

– Ах… – только и могла ответить Елизавета Ксаверьевна.

Прошло уже около часа, а они все еще продолжали тянуть кошку в разные стороны. Елизавета Ксаверьевна вцепилась в Мари мертвой хваткой, поскольку понимала, что Мари сейчас – ее последний бастион на дороге добродетели. Еще несколько минут – и мужчина ослабил натиск: кошка осталась лежать на коленях. Но вдруг произошло непредвиденное. Руки мужчины и Елизаветы Ксаверьевны, все еще державшие Мари за спинку, неожиданно встретились. Замерев на мгновенье, они тут же переплелись в страстном порыве. Схватка возобновилась с новой силой. Руки выделывали на кошачьей спине такие фигуры, что разбуженная Мари – венец терпения и воспитанности, не вытерпев, укусила мужчину за палец.

– Ай! – вскричал мужчина, с ужасом отдернув руку. Подойдя к свече, он стал внимательно рассматривать большой палец правой ладони. – Прекрасно! – воскликнул он. – Ваша мерзкая кошка меня укусила!

– Сударь, вы забываетесь… – с достоинством ответила Елизавета Ксаверьевна, поправляя прическу.

– Черт знает что такое! Имею честь кланяться, мадам, – и мужчина, холодно поклонившись, стремительно вышел из комнаты.

Так Мари – наша 154 раза прабабка – спасла честь графини Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой.

Ася Зиневич

Колобок

Я и дедушку нашел, я и бабушку нашел,
я и дедушку достал, я и бабушку достал.

Вырос колобок в большой толстый колоб, и стало ему тоскливо. Да и тесно в маленькой квартирке. Мама колобка толкала в бок и колобок ее – в бок, все в бок да в бок, вот колобок и убег.

Катится он, катится – сам не знает куда, и думает: «Не сыскать ли мне свою родню? Ох и много ее по всему белу свету! Может, приютит кто меня, приголубит».

Искал-искал по белу свету. Всех спрашивал – мы часом с тобой не родственники? Вдруг видит – серый волк. Достал фотографию – точно: папа! Подкатил к нему колобок и сказал:

– Что ж ты нас, папа, бросил? Я ведь мог и тогда умереть, и потом…

– И сейчас умереть можешь. Чего пристал? Ну, нашел я тогда себе волчицу. А мама твоя была – коза! Только жалобно бекала, мекала, достала она меня! Ну, куснул я ее легонечко – и ушел. А ты чего от меня хочешь? Чё пришел?

Тут он широко распахнул свою пасть и показал большие острые зубы:

– Ну, понял?

– Ха-ха, – сказал колобок. – А я тебе не по зубам. Вот, попробуй!

Схватил волк колобка за бочок, попробовал вонзить в него зуб. А тот и сломался.

– Не-ет! Тебе меня не проглотить! А знаешь, почему? Потому что вы меня с мамой знаете, из чего замесили? Муки-то в доме не было. Замесили вы меня из последних отходов стройматериалов, из песка и щебенки. Никому я не по зубам. И поэтому смело говорю всем только одну голую правду!

– Пошел ты отсюда со своей правдой, – сказал волк, низко опустив голову. И тут сразу стало видно, как он постарел, бедняга. И глаза у него мутные. Пьет, видно, или травку курит.

– Счастливо оставаться, папаша! – сказал колобок и покатил дальше.

Тут видит – скользнуло что-то в траве, и все нутро колобка отчего-то похолодело…

– Шныр-шныр, щщур-убещщур, шшии… племяннишшшек…

– Ой, это ты, тетя! Я смотрю, у тебя ни ног, ни рук. Везде проскользнешь, всех обманешь… Ну рассказывай: хорошо ли тебе живется? Своей бабушки квартиру к рукам прибрала, деда моего вышвырнула. Даже мать собственную обползла – обкрутила вокруг пальца. Всех засунула в сырые подвалы своего дворца. Эх, хорошо тебе, правда?

– А ты не шшшустри, не шшшуми, племянниччек… как бы и тебе в моих подвалах не очутиться… вот я щщас тебя как укушшшу…

– Кусай, кусай, тетенька, дорогая!

Тут она его и куснула. Зуб был острый – так и застрял. А колобок и давай кататься по траве вместе с ней. Чуть не придавил насмерть. Наконец расцепились. Змеиный хвост мелькнул вдали. Но шипение слышалось еще долго.

Пошел колобок дальше. Катит, катит, вдруг слышит шорох на опушке. Из кустов вынырнула рыженькая мордочка. Принюхалась к колобку и говорит: «Ну, внучок, наконец-то ты мне попался».

– Не я попался, бабуль, а ты!

– Ишь ты. Видать, считаешь себя самым умным? Думаешь и меня перехитрить?

– Не буду я хитрить. Буду правду говорить! А ты зубы обломаешь!

– А я тебя есть не буду! Я хитрее поступлю – я тебя из-ве-ду!

Тут колобок на минуту испугался. И сказал:

– Это как? Это значит, ты – ведьма, да? Ведь-ма! А это ты видела?

И тут он вдруг нащупал на своей круглой груди крест – и как сунет ей под самый нос!

– Тут твое колдовство не пройдет.

– Ух! – сказала лиса. – Ну и гад же ты, внучек.

– А кто меня таким вырастил? А кто говорил папе, что мама плохая и что надо от нее уйти! А кто одного дедушку бросил, а второго дедушку извел? А кто вместе с папой у нас квартиру отобрал? Кто? Кто? Кто?

С каждым вопросом лиса становилась все меньше и меньше. И после последнего вопроса она так закрутилась волчком, что взвилась верх и растаяла в воздухе.

– Ну и ведьма, – сказал колобок. – И какая ведьма! Сколько она нам всем крови испортила!

Сел колобок на пенек и горько задумался. Со всеми родственниками посчитался, что теперь-то делать? Куда катиться?

Тут подошел к нему маленький ежик, понюхал и спросил:

– Ты меня не обидишь?

– Нет.

– А отчего это ты пригорюнился?

Колобок ему все и рассказал.

– Да, – сказал ежик. – Известная история. Все только о том и думают, кто виноват в их несчастной судьбе. Полжизни ходят и ищут виноватого. А вторую полжизни не знают, чем жизнь свою заполнить. Послушай моего совета. Ты ведь как ходишь? Ты ведь не идешь, а катишься. Тебе все равно, что есть дорога, что нет. А ты наклонись, присмотрись. Видишь? Везде свои дорожки, тропинки, пути, почти невидимые. Ищи!

– Чего?

– Путь. Только обязательно свой.

Леонид Зац

Гарик

Эта история случилась с моим родственником. Назовем его Гарик. Он родился в Одессе незадолго перед войной. Вскоре после окончания войны семья Гарика вернулась из эвакуации в родной город. Однажды, когда Гарик с ребятами играл во дворе, на него обратил внимание незнакомый человек, как выяснилось потом, преподаватель знаменитой музыкальной школы имени П.С. Столярского.

У Гарика оказался абсолютный слух, и преподаватель убедил родителей, что этого ребенка необходимо учить музыке.

В конце пятидесятых годов, окончив школу Столярского, Гарик решил поступать в Московскую консерваторию. Педагог снабдил его рекомендательным письмом к Великому Музыканту, профессору Московской консерватории.

Приехав в Москву, Гарик созвонился с Великим Музыкантом, и тот назначил ему встречу через несколько дней.

Но в течение этих дней произошло следующее. Будучи в гостях в одном доме, Гарик встретил там Известную Музыкантшу, также профессора Московской консерватории. Когда Известная Музыкантша услышала, что Гарик, который, очевидно, произвел на нее хорошее впечатление, приехал поступать в консерваторию, она предложила, чтобы на следующий день он пришел к ней прослушаться. Гарик пришел. Прослушав его, Известная Музыкантша сказала, что играет он хорошо, и она с удовольствием возьмет его в свой класс. Конечно, Гарик был окрылен таким успехом. А еще через день ему предстояла встреча с Великим Музыкантом.

Прочитав рекомендательное письмо и прослушав Гарика, Великий Музыкант сказал, что доволен его игрой и возьмет его в свой класс.

Гарик, обалдев от такого поворота событий и решив то ли похвастаться, то ли получить какой-то совет, сказал, что днем ранее его слушала Известная Музыкантша и также пригласила в свой класс.

– Ну, что ж, – любезно улыбаясь, сказал Великий Музыкант, – если вас уже пригласила Известная Музыкантша, то, конечно, поступайте к ней. Желаю успеха.

А через несколько дней на вступительном экзамене по специальности Великий Музыкант поставил Гарику «неудовлетворительно». Поскольку его авторитет был непререкаем, никто из членов комиссии спорить с ним не решился.

Два года спустя один наш родственник, кинооператор-документалист, беседовал с Великим Музыкантом. Как бы между прочим он рассказал ему о том, как один способный молодой человек приехал поступать в Московскую консерваторию и не поступил из-за какой-то глупой истории. Разумеется, всех нюансов он упоминать не стал.

Великий Музыкант посмотрел в пространство и философски заметил:

– Да… Сколько талантливых ребят проходит мимо.

Гарик в том же году поступил в Одесскую консерваторию, а потом окончил аспирантуру института имени Гнесиных в Москве. Вот уже много лет он работает концертмейстером одного из европейских симфонических оркестров.

А сколько талантливых ребят проходит мимо…

Бонн

Григорий Редько

Зарисовки

Море

ЗЫБЬ. РЯБЬ и тишина…
На кружево БАРАШКОВ
Ложится спать ВОЛНА
Сегодня чуть пораньше.

Небо

Ночь накрыла чарующей дланью
Струй дождя не смолкающий звон…
Дарит небо разрядом желаний
Всем промокшим РАССВЕТ и…
ОЗОН.

Луна

Корнями клен в траву обулся,
Стряхнул росу и птичек с ветки
И окончательно проснулся…
День наступил и ужаснулся:
Луна еще не спит и СВЕТИТ.

Лес

Здесь воздух обретает вкус.
Нашли в лесу свои права
И крона пышная, и куст,
И разноцветная листва.

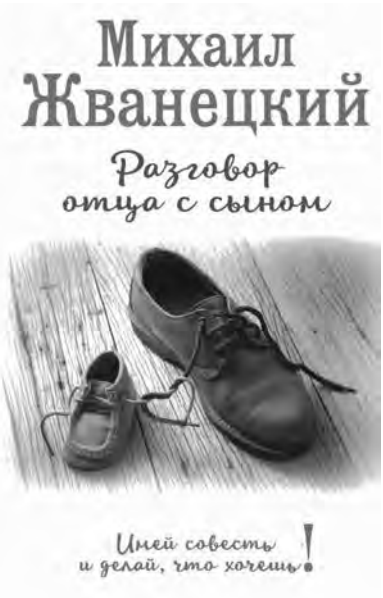
Издано...

372 **Евгений Голубовский**
Книжный развал

Евгений Голубовский

Книжный развал

Издано в Москве



Михаил Жванецкий
Разговор отца с сыном
Москва, Издательство «Э», 2017

Книга коротких эссе. Но мне представляется, что было бы правильнее определить жанр как роман воспитания. Ведь в книге три главных лица – отец автора, сам автор Михаил Жванецкий и его сын Митя.

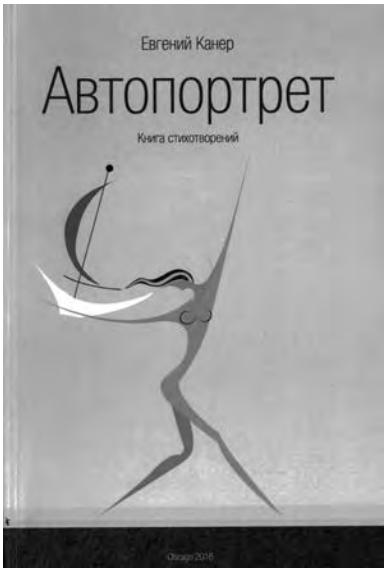
Отец мой – врач мой. Так определяет для себя Жванецкий благотворное влияние бесед с ним отца. Не знаю, как осмыслит Митя Жванецкий беседы отца и деда, но убежден, что для самого Михаила Михайловича вот эти уроки сыну – врачующие. Это не только передача опыта, это релаксация для автора.

На обложке одна фраза: «Имей совесть и делай, что хочешь!».

Как это важно и в наши времена, и во все времена – иметь совесть. Как важно – не наблюдать, а делать. И, наконец, исполнять не то, что заставляют, а то, что хочешь…

Из таких максим составлена эта удивительная книга.

Издано в Чикаго



Евгений Канер
Автопортрет. Книга стихотворений
Чикаго, 2016

Автор – одессит, выпускник ОГУ, географ. Родился в 1942 году, эмигрировал в 1979. Но Одесса живет в нем, в его стихах.

На первой же странице стихи, посвященные одесситу Илье Рудяку. Да, режиссеру, писателю, создателю уникального Дома русской книги в Чикаго, о котором писала в конце 2016 года во «Всемирных одесских новостях» Наталья Бжестовская.

И уже в следующем стихотворении встреча с Одессой:

И, рассмеявшись над собой,
Запеть, как бард на полустанке,
О шустрой девушке блатной –
В одесской юности шальной
Она жила на Молдаванке.

Иллюстрациями к книге послужили картины замечательного одесского художника Александра Фрейдина.

Поскольку эта книга, скорее всего, не попадет в руки широкому читателю, экземпляр, прочитанный мной, подарен автором Всемирному клубу одесситов, то поблагодарю Евгения Канера за прекрасное знание русской поэзии, а в книге переклички с И. Анненским и Б. Ахмадулиной, с Сашей Черным и Ф. Сологубом, И. Бродским и В. Бершадским.

И, конечно же, за верность и любовь к Одессе.

Издано в Киеве

Елена Андрейчикова
Остаться дома в понедельник
Киев, Форс Украина, 2017

Вторая книга рассказов молодого одесского прозаика. Первая вышла в 2015 году в этом же издательстве. Возможно, впоследствии Е. Андрейчикова будет считать ее «полуторной». Она готовила книгу только новых произведений, но издательство, соблазнившись успехом первой книги, приняло решение сделать микс, взяв несколько новых, но включив и старые рассказы.

Чем же привлекают читателя острые короткие рассказы Е. Андрейчиковой?

Точным знанием психологии современной женщины, иронией, умением выстраивать сюжеты. В этой – переходной – книге отчетливо видно, как автор, нашедший себя в коротких рассказах, ищет новые пути.

Думаю, в самом недалеком будущем у Елены Андрейчиковой появится большая проза – повесть, роман.

Издано в Одессе

Яков Шехтер
Второе пришествие кумранского учителя
В трех томах
Одесса, Астропринт, 2016

Известный израильский писатель Яков Шехтер родился в Одессе, здесь начинался его путь в литературу. И сегодня, хоть он уже тридцать лет живет в Израиле, не порывает связь со своим читателем в Украине и России.

О романе, изданном в Одессе, популярная писательница Дина Рубина написала: «Потрясающе увлекательно! Текст проглатывается в один присест, не отрываясь, не поднимая головы». Могу подтвердить, книга написана легким пером, автор строит интригу так, что держит читателя в напряжении сквозь тысячу страниц трех томов.

Кумранские свитки, найденные в пещерах бедуинами, прочитанные историками, открыли миру секту ессеев, в которой, возможно, и зародилось христианство. Чему учили ессеи, что умели ессеи, что это означает для нашего времени – об этом очередная, чуть ли не двадцатая книга одесско-тель-авивского романиста.

Александр Бирштейн
Одесса. Улица Жуковского, дом №
Одесса, Экономия, 2017

Повторю вслед за Пушкиным: «Бывают странные сближения». В этом году Литературный музей и компания «ПЛАСКе» выпускают очередной Одесский календарь, посвященный улице Жуковского, у Александра Бирштейна мы взяли для нашего альманаха путевой очерк – улица Жуковского. И в это же самое время, собрав свои многочисленные рассказы о детстве, юности, прошедших в старом одесском дворе в начале улицы Жуковского, Александр Бирштейн выпустил эту книгу.

Конечно, это художественное произведение, но в нем интонации одесского двора, реальные ситуации, реальные герои.

Скажите, где еще, кроме Одессы, парикмахерскую «Двуликий Янус» могли переименовать в «Двуликий Анус»? И таких примеров не счесть.

Как привлекателен одесский двор для писателей, чувствующих, любящих наш город! Конечно, вспоминаются Аркадий Львов, Михаил Пойзнер. А теперь и книга Александра Бирштейна впишется в пантеон мифа об Одессе.

Ирина Фингерова
Сюр-тук
Одесса, Продюсерский центр «Стеллер», 2016

Ирина Фингерова – молодой автор. Только что окончила медицинский институт, врач. В нашей литературе было много врачей – Чехов, Вересаев, Булгаков, Аксенов, так что есть с кого брать пример.

Эта книга короткой прозы и одновременно книга-игра. И. Фингерова – создатель «Театра ушей», и в этой книге она по-своему экспериментирует. В коротком предисловии

ее книга обращается к читателю, на обложке, над сюр-туком автор размещает зеркало из фольги, как бы заставляя нас задуматься, не о каждом ли из нас эти рассказы.

Кстати, сюр – от сюрреалистического, а тук – попытка достучаться до современного читателя, даже если он носит не водолазку, а сюртук.

Татьяна Федирко
Я не ждала от жизни привилегий
Одесса, Optimum, 2016

Мемуары стали популярным жанром. Читателей интересует жизнь известных людей, их отношение к эпохе, их мысли. Когда-то зачитывались мемуарами Бисмарка, Витте, в наше время мемуарами Хрущева, маршала Жукова, теперь пишут и руководители областного и городского масштаба. Вслед за двумя книгами Руслана Боделана вышла эта книга Татьяны Федирко.

Помню Татьяну Георгиевну заместителем мэра по образованию, культуре, социальным вопросам. Естественно, не знал ее путь – через школу, через профсоюзы. Запомнилось, что она была руководителем, нашедшим контакт с деятелями культуры.

Мне было интересно, что в своей книге автор не сосредоточилась на «аппаратных играх», а рассказала о своей дружбе с замечательными художниками – Адольфом Лозой, Геннадием Гармидером, Валентином Филиппенко, Владимиром Наумцом, Александрой Кадзевич, о помощи энтузиастам, к примеру, Михаилу Кнобелю, об общении с Аркадием Львовым.

Так растет, пополняется «одесская книжная полка».

Содержание

От редакции 3

Михаил Жванецкий
Не верим 5
Переполненная жизнь 7

История, краеведение

Олег Губарь
Путеводитель по пушкинской Одессе 12

Андрей Добролюбский
Гавани дрока и лилий 40

Александр Дмитренко
Городской голова Одессы 46

Владимир Серебро
Семейный архив 63

Инна Арутюнова
Двор на Большой Арнаутской, 61 71

Одесский календарь

Александр Бирштейн
Прогулка по улице детства 76

Проза

Сергей Рядченко
Безумцы 88

Ольга Яблонская
Легенды и сказания о бабе Дине 128

Елена Андрейчикова
Чужие 134

Ефим Гаммер
Нобелевка. 164

Анна Коренева
40 квадратов свободы,
или Завтра будет новый день 169

Игорь Паночишен
Миниатюры 172

Сергей Кравцов, Екатерина Бойчук
Отмычка Соломона 174

Поэзия

Юрий Михайлик
Но там никого нет. 196

Владислав Китик
Как возвратиться на круги свои 201

Валерий Сухарев
Я заблуждаюсь 206

Игорь Потоцкий
Из Мексики – о любви 215

Евгений Ушан
Романтические стихи. 219

Олена Олійник
Навіяне часом 224

Александр Мардань
Я разный, но не всякий 226

Первые шаги

Анна Малицкая
Плацкартное 232

Искусство – жизнь – искусство

Евгений Голубовский
«Не мемуары, а свободная повесть» 236

Вадим Перельмутер
Фрагменты о Пушкине 242

Валерий Шерстобитов
Топчий – певчий из Одессы 265

Валентина Голубовская
«Будут бить поэта Шенгели» 278

Роман Бродавко
Маэстро 285

Евгений Деменок
Вторая одесская гастроль Давида Бурлюка 290

Публикации

Елена Кассель
Андрей да Марья... 298
Публикация Александра Бирштейна

Лев Славин
Страницы дневника 308
Публикация Алены Яворской

Сокровища из сокровищницы

Татьяна Щурова
«Улыбайтесь, господа!» 326

Путешествие

Феликс Кохрихт
Landshut – баварская шляпа 336

Евгений Деменок
Ганг 341

Ах, Одесса

Александр Чоклин
Эмигранты 356

Виктория Коритнянская
История, о том, как 154 раза прабабка Кнопки
спасла честь графини Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой 363

Ася Зиневич
Колобок 365

Леонид Зац
Гарик 368

Григорий Редько
Зарисовки 370

Издано...

Евгений Голубовский
Книжный развал. 372

Литературно-художественное издание

Дерибасовская – Ришельевская

Одесский альманах
Книга 69

Deribasovskaya – Rishelievskaya

Odessa almanac
Book 69

Издается с 2000 года

Координатор проекта «Одесская библиотека» Иван Липтуга

Технический редактор Геннадий Танцюра
Верстка, корректура Татьяна Коциевская

Подписано в печать 27.04.2017
Бумага офсетная PAMO SUPER 80 г/м

FSC
accredited
FSCTrademark©1996
ForestStewardshipCouncil A.C.
FCS-AOC-015

Печать офсетная. Гарнитура Cambria. Формат 60×84/16
Физ. печ. л. 20,75. Усл. печ. л. 19,2
Заказ № .... Тираж 500 экз.

Всемирный клуб одесситов
65014 Одесса, Маразлиевская, 7
Украина
Тел.: +38 (048) 725-45-67

Worldwide Club of Odessits
7 Marazlievskaya Str. 65014 Odessa
Ukraine
Tel.: +38 (048) 725-45-67

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «Плутон»
65023 Украина Одесса, Нежинская, 56
Тел.: +38 (048) 700-42-42

Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»
Регистрационное свидетельство ДК № 3673 от 21.01.2010
а/я 299, 65001 Украина Одесса
Тел.: +38 (048) 7 385 385
E-mail: books@plaske.ua

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

ПОДПИСНОЙ КУПОН-ЗАЯВКА

Настоящим подтверждаю свое намерение оформить подписку:

Фамилия:	
Имя:	
Отчество:	
Адрес доставки:	
Телефон:	
E-mail:	

Стоимость подписки*	12 месяцев	4 выпуска	200,00 грн.

** В стоимость подписки не включаются затраты на доставку изданий.*

Оплата:

❑ безналичный расчет ❑ наличными

❑ кредитная карта ❑ необходим договор

Оплату согласно выставленного счета гарантирую

Дата _____ Подпись _____

Отправьте подписной купон-заявку почтой или факсом по адресу:
Украина, 65001, г. Одесса, а/я 229,
Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»

PLASKE
ПЛАСКЕ

Факс: +380 (48) 7-385-375; 7-287-221;
тел. редакции: +380 (48) 7-385-385, 7-288-288;
0-800-300-30-80 (бесплатно со стационарных телефонов)